Дб
20 т. I
1938 г. П773

А. Е. ПРЕСНЯКОВ

ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

ТОМ I

ДБ
20
П73

9(47)
П73

А. Е. ПРЕСНЯКОВ

ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

ТОМ
I

КИЕВСКАЯ РУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА · 1938

9(47)
П 73

ЯНИЦ

Ф15635

Курс А. Е. Преснякова публикуется впервые по записям автора 1907/8 и 1915/16 гг. Выпуск первый охватывает период до XIII в. Текст подготовлен к печати по записным тетрадям. В приложении даны две статьи автора из журналов: «Задачи синтеза протоисторических судеб Восточной Европы» из «Яфетического сборника», изд. ГАИМК, т. V, 1926 г. и «Вильгельм Томсен о древнейшем периоде русской истории», Академия наук СССР, Очерки по истории знаний, т. IV, Лнгр. 1927, а также сохранившаяся в архиве автора запись его выступления на защите магистерской диссертации «Княжое право».

Гос. Историч. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвент. № 466264
193 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Проф. А. Е. Пресняков — один из крупнейших представителей буржуазной исторической науки XX в., подвергший серьезной критике многое из устарелого наследства буржуазной историографии, исследователь с острой критической мыслью, в последние годы своей жизни — после Великой пролетарской революции — пытавшийся серьезно пересмотреть собственные теоретические позиции в направлении, указанном марксистско-ленинской исторической наукой.

Влияние буржуазной традиции в предлагаемом курсе Преснякова, написанном еще в 1908—1916 гг., сказалось в рассмотрении общественных отношений, прежде всего в системе правовых отношений в духе историко-юридической школы. Яркое отражение получило это в его трактовке «княжого права» во второй части настоящей

ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует*
79	14 сверху	князей	князьям
89	14 снизу	все дал еси едныому	се дал еси единому
96	3 »	relictotorum	relictaturum
98	23 сверху	осуществлен	существенен
137	21 снизу	освещение	освящение
164	15 сверху	нет их кровного	из кровного
177	5 снизу	cixí	oixí'и
178	1 сверху	что, на	что, несмотря на
179	17 »	Лавр. 10;	Лавр. 107;
204	9 »	княжих сил	княжих сел
217	1 снизу	о свободе человека	о свободном человеке
223	11 сверху	что я	то я

А. Е. Пресняков

(см., например, гл. V).

Так же настойчиво стремится он избежать формального юридизма, неизменно подчеркивая условность всякого юридического термина, необходимость перехода к непосредственным реальным отношениям, которые он еще не сумел правильно определить.

Прекрасное знание богатого исторического материала и внимательное изучение конкретного исторического факта дают ему ту прочную реальную базу, опираясь на которую ему и удается не раз преодолеть схематизм буржуазной историографической традиции.

Опираясь на фактический материал, его острый критический ум сплошь

9(47)
П 73

V 15635

Курс А. Е. Преснякова публикуется впервые по записям автора 1907/8 и 1915/16 гг. Выпуск первый охватывает период до XIII в. Текст подготовлен к печати по записным тетрадям. В приложении даны две статьи автора из журналов: «Задачи синтеза протоисторических судеб Восточной Европы» из «Яфетического сборника», изд. ГАИМК, т. V, 1926 г. и «Вильгельм Томсен о древнейшем периоде русской истории», Академия наук СССР, Очерки по истории знаний, т. IV, Лнгр. 1927, а также сохранившаяся в архиве автора запись его выступления на защите магистерской диссертации «Княжое право».

ОТ РЕДАКЦИИ

Проф. А. Е. Пресняков — один из крупнейших представителей буржуазной исторической науки XX в., подвергший серьезной критике многое из устарелого наследства буржуазной историографии, исследователь с острой критической мыслью, в последние годы своей жизни — после Великой пролетарской революции — пытавшийся серьезно пересмотреть собственные теоретические позиции в направлении, указанном марксистско-ленинской исторической наукой.

Влияние буржуазной традиции в предлагаемом курсе Преснякова, написанном еще в 1908—1916 гг., сказалось в рассмотрении общественных отношений, прежде всего в системе правовых отношений в духе историко-юридической школы. Яркое отражение получило это в его трактовке «княжого права» во второй части настоящей книги: правильно очерченные отношения складывающегося феодального строя в его интерпретации оказываются повисшими в воздухе в результате их сведения к правовому положению княжой защиты — hospitium (стр. 183 и сл.). «Княжое право» фактически заменило в его трактовке проблему феодализма. В курсе Преснякова, посвященном Киевской Руси, не упоминается даже термин «феодализм», и выпадает, таким образом, основной стержень, центральная проблема перехода от дофеодального к феодальному периоду. В этом вопросе Пресняков еще целиком во власти первоначальной схемы Павлова-Сильванского, отождествляя феодализм с удельным периодом и начиная его фактически после татарского завоевания. Курсу Преснякова совершенно чужда теория социально-экономических формаций и отсутствует непосредственное раскрытие социального процесса. Особенно страдает этим недостатком вторая часть настоящего выпуска, в которой именно с переходом к феодальному обществу эти вопросы приобретают для нас особое значение. Надо, впрочем, сказать, что в этом вопросе, как и в ряде других, автор не остался стоять на одном месте. Мы видим последовательное развитие его исторических взглядов и уже в позднейшей, оставшейся неопубликованной статье 1925 г. «Феодализм в России» перед ним встает вопрос о «зачатках феодализма в Киевской Руси» (см. приложения к вып. 3).

Но стоит обратиться к существу внутреннего содержания курса Преснякова, и сразу выступает его яркая оригинальность. Отсутствие марксистского метода, правда, не дало Преснякову преодолеть полностью догматизм юридической школы, но вместе с тем особенно вся первая часть его книги проникнута настойчивым стремлением преодолеть ее узость борьбой против «догматического схематизма» (см., например, гл. V).

Так же настойчиво стремится он избежать формального юридизма, неизменно подчеркивая условность всякого юридического термина, необходимость перехода к непосредственным реальным отношениям, которые он еще не сумел правильно определить.

Прекрасное знание богатого исторического материала и внимательное изучение конкретного исторического факта дают ему ту прочную реальную базу, опираясь на которую ему и удается не раз преодолеть схематизм буржуазной историографической традиции.

Опираясь на фактический материал, его острый критический ум сплошь

и рядом разбивает отдельные положения старой буржуазной схемы, расчищая дорогу новому поколению историков-марксистов. Такова данная им острая критика расовых и националистических теорий в проблеме этногенеза славянских народов. Такова его четкая и убедительная критика теории городовой торговой Руси Ключевского. Такова его критика упрощенных трактовок Киевской Руси IX—X вв. как развитого единого государства. Не умея выйти за рамки политическо-правовых отношений, он все же дает определение, удачно характеризующее политический строй империи Рюриковичей: это — «господство одного князя над рядом волостей без внутренней органической их связи в единое государство».

Наряду с богатством фактического материала надо отметить огромную эрудированность автора. В курс Преснякова внесен ряд специальных тем, сведены итоги ряда специальных монографических исследований, мимо которых проходят «школьные» курсы Платонова, Любавского и др.

Указанные достоинства отличают, как уже отмечено выше, первую часть курса, кончая Ярославом Владимировичем, сохранившуюся в позднейшей редакции.

В главе II — О древнейших судьбах восточного славянства — автор удачно объединяет исторический и археологический материал; в общем построении он примыкает к работам А. А. Шахматова, незаслуженно забытым в современной исторической литературе, с которыми знакомит курс Преснякова.

В главах III—V автор развивает свою теорию этногенеза восточного славянства. Здесь он подвергает основательной критике теорию городовых волостей Ключевского (об этом также в гл. VI), построения Платонова, Сергеевича и дает в основном правильную характеристику задружного, вервного племенного строя; здесь же полная сводка всей контроверзы по варяжскому вопросу; такой сводки не было в других университетских курсах.

Особенный интерес представляют главы VI—IX.

В VI главе дан анализ летописных данных по истории IX—X вв., кончая образованием «киевской державы» при Владимире, с попыткой научного восстановления исторического процесса на базе сличения древнерусских и иностранных свидетельств. Здесь дана полная переоценка ряда исторических событий и деятелей (например, анализ междукняжеских усобиц сыновей Святослава и сыновей Владимира). Глава VIII доводит этот очерк до смерти Ярослава.

В VII главе (и частично в VI) дан специальный анализ «крещения Руси» в плане политическом и историко-культурном, в связи с вопросом русско-византийских отношений. Здесь автором учтены интересные исследования А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова, внесен ряд собственных исследовательских выводов и дана интересная трактовка этого вопроса, не известная другим курсам.

Наконец, глава IX дает богатую материалами интересную сводку международных отношений Киевской Руси XI—XII вв. с Востоком и Западом.

Как уже сказано, вторая часть значительно слабее. Здесь автор лишь подходит к своему последующему монографическому исследованию о «Княжом праве». В приложении мы даем неопубликованную речь автора перед диспутом по поводу названной книги, в которой сведены основные выводы автора о социальном и политическом строе Киевской Руси.

Конечно, ряд интересных страниц имеется и здесь. Так, в главе X автор подвергает острой критике родовую теорию княжеской власти и теорию «лествичного восхождения» Соловьева—Ключевского и дает яркую картину внутренней раздробленности в политической жизни Киевской Руси XI—XII вв. Глава XVI содержит ряд наблюдений и замечаний об отдельных исторических явлениях последнего отрезка рассматриваемого периода.

Но понять эти явления он все-таки не может, так как проблема «феодальной раздробленности» в ее социальной обусловленности для него отсутствует.

Из изложенного вытекает с полной отчетливостью значение курса Преснякова. Курс Преснякова послужит полезным материалом для непосредственной научной работы над рассматриваемым автором периодом.

Две последние статьи, приложенные в конце книги, написаны: первая в 1926 г., вторая в 1927 г. Они дают интересное дополнение к методологическим установкам и историографический обзор по одной из основных проблем публикуемого курса — проблеме этногенеза. Они интересны и с точки зрения раскрытия теоретической эволюции самого автора, искавшего сближения с современностью, с задачами нашей советской науки.

* * *

Текст публикуемого курса по истории Киевской Руси, читанного А. Е. Пресняковым в Петербургском университете, сохранился в пяти записных книжках карманного размера, в черном клеенчатом переплете, которыми пользовался А. Е. Пресняков в университетской аудитории.

В 1907 г., под прямым влиянием роста научной требовательности студенческой аудитории, Историко-филологический факультет решил параллельно с ежегодно повторяемым годичным четырехчасовым общим курсом проф. С. Ф. Платонова проводить в очередь программу специальных — не эпизодических, а плановых — курсов по большим отделам общего курса для студентов, избравших своей специальностью историю России.

В рамках этой программы А. Е., будучи приглашен в 1907 г. в университет в качестве приват-доцента, получил специальный курс Киевской Руси, который при двух часах в неделю лекций и двух часах параллельного семинария и провел в 1907/1908 учебном году. Затем последовали такие же специальные двухчасовые курсы Западной Руси и Литовско-Русского государства, а дальше Северо-восточной Руси и Московского государства, прочитанные один за другим в 1908—1913 гг.

Таково происхождение текста курса, распределяемого в настоящем издании по трем темам: 1) Киевская Русь, 2) Западная Русь и Литовско-Русское государство и 3) Северо-восточная Русь и Московское государство. Что касается ближайшим образом настоящего выпуска, то внешняя беда принудила включить в него части двух редакций работы ученого над одной и той же темой. Дело в том, что, выпустив в свет свое «Княжое право», выросшее, по собственному неоднократному свидетельству А. Е., из его первого курса Киевской Руси 1907/1908 г., А. Е. уже явно не мог в дальнейшем удовлетвориться этой первоначальной редакцией и в 1915/1916 г. сел писать его совсем заново; первоначальный текст, обогнанный рядом научных публикаций в промежуточные годы, был заброшен. Курс 1915/1916 г. был написан им начисто (чернилами) и без какой-либо оглядки на формулы и подходы 1907/1908 г. и, можно сказать, наверное служил А. Е. вспомогательным средством в преподавании в последующие революционные годы, так как третьей редакции курса в рукописном наследстве его мы не имеем. И вот както в начале 20-х годов им был потерян портфель с частью (повидимому, одной записной книжкой) курса Киевской Руси второй редакции, — обстоятельство, о котором А. Е. не раз с досадой упоминал. По перепечатываемому в настоящем издании докладу А. Е. в ГАИМК в 1925 г. можно судить до известной степени, как и в каком направлении шла у А. Е. эволюция в трактовке тематики его курса в последующие революционные годы.

Таким образом, при издании курса Киевской Руси пришлось иметь дело с двумя редакциями —первой 1907/1908 г., сохранившейся полностью в трех записных книжках на 530 страницах, и второй 1915/1916 г., не доходящей до конца, в двух записных книжках, где уместилась лишь первая половина курса, кончая княжением Ярослава Владимировича, на 244 страницах авторской пагинации.

Естественно, предпочтение отдано второй редакции, перестроившей первоначальный материал курса на основе учета последних историографических фактов. Эта вторая редакция обрывается в настоящем томе на стр. 143, и дальше воспроизводится текст первой редакции. Частично развитая в отделе II

«Княжого права», эта первая редакция сохраняет свое значение по ряду вопросов, не вошедших в схему диссертации А. Е. Первой главой печатается вводная лекция 1907 г., не нашедшая себе отражения в записи 1915/1916 г.

В целях сохранения за настоящим изданием *историографического* значения, авторский текст сохранен, по возможности, в полной неприкосновенности. Необходимо подчеркнуть, что он не предназначался автором для печати.

Что касается техники издания, то указанная комбинация текстов воспроизводится здесь с возможной точностью, за исключением раскрытия многочисленных словесных сокращений и нескольких поправок явных описок как в цитатах, так и в собственном изложении автора, отметка которых каждый раз внесла бы только ненужную внешнюю пестроту. В примечаниях, по возможности, оформлены и дополнены все ссылки на литературу и источники, которые, зачастую кратко и суммарно, помечал себе А. Е. в тексте в скобках. Разбивка на главы сохранена авторская. При ее крайней суммарности введенные в оглавление подзаголовки имеют целью облегчить пользование курсом А. Е. Преснякова как при справках, так и при изучении специальных моментов охватываемого им периода истории России.

Н. Рубинштейн

ТОМ I

КИЕВСКАЯ РУСЬ

ГЛАВА I

МЕСТО «КИЕВСКОГО ПЕРИОДА» В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ «РУССКОЙ ИСТОРИИ» [1]

Обычное, шаблонное заглавие моего курса «Киевский период русской истории» требует объяснения и оправдания. Та общая схема — тоже обычная, традиционная, — на которую оно как бы указывает, несомненно требует некоторого пересмотра и теоретического освещения. Я назвал ее традиционной: она имеет свою историю. Происхождение этой схемы связано с той работой историко-политической мысли, которая совершалась в сознании московских книжников XV в. Жизненной задачей этих книжников было теоретически осмыслить и исторически оправдать рост Московского государства и осветить те широкие притязания, с которыми оно выступило во времена Ивана III. Рассматривая государство как «вотчину» государеву, они и в основу своей исторической теории, слагавшейся под давлением помянутой публицистической потребности, положили династическую или, точнее, генеалогическую точку зрения. Стремление московских собирателей земли русской к созданию объединенного национального государства «всея Руси» в теории книжников оправдывалось их династическими, вотчинными правами на все наследие рода Рюриковичей. И московский великий князь представился прямым наследником киевского, предъявляя на Киевскую Русь свои исторические права.

Учение о «наследственных» правах московского правительства на киевщину было натянуто и искусственно, по крайней мере, с точки зрения генеалогической. Но и речь у московских книжников шла не столько о фамильном, сколько о политическом наследстве на «от прародителей вотчину» московских князей. Проводилась «идея тожества и наследственной связи московской и киевской государственной власти». Представляя себе киевское великое княжение монархией наподобие Московского царства, московские книжники удельное время объясняли как время смут и распадения, вызванного ошибочной политикой великих князей, деливших землю между младшими князьями, и, отодвигая его на задний план, получали внешне стройную схему единой истории русского государства, на-

[1] Вступительная лекция к курсу 1907/1908 г., прочитанная 17 сентября 1907 г. В курс 1915/16 г. не вошла.

чавшейся в Киеве, продолжавшейся в Москве. В основе схемы — утверждение исконного единства русского национального государства и толкование его распадения как случайного, ненормального явления.

В хронологический промежуток между падением Киева и возвышением Москвы вдвигалась фигура владимирского князя как носителя общерусской власти, и тем достраивалась до конца, ставшая традиционной, схема истории русского государства с периодами киевским, владимирским, московским.

Такова политическая подпочва, на которой выросла наша схема. Позднейшая историография XVIII и XIX вв. сильно от нее зависела, да и до сих пор зависит. Жизнь прибавила период петербургский, научная разработка выдвинула значение некоторых эпох, например, удельной или смутного времени, теснее связала XVII в. с XVIII, чем с временами Ивана Грозного, передвинув на столетие назад понятие «перелома», связанное с именем Петра Великого. Но все эти — очень важные сами по себе — частичные изменения общей конструкции едва ли разрушали влияние и даже господство старой схемы. То, что в ней есть случайного, ненаучного, особенно ярко сказывается теперь, когда рядом с так называемой «общерусской» историей выросла в целую богатую отрасль нашей исторической науки история Западной Руси, Литовско-Русского государства. Вы знаете, вероятно, каким скудным, случайным придатком обзор истории Западной Руси является в наших общих курсах, если только вовсе из них не исчезает. Пример первого имеем в курсах покойного К. Н. Бестужева-Рюмина и С. Ф. Платонова [1]. Московские же историки проходили, так сказать, мимо Западной Руси. У Ключевского, у Милюкова вы истории Литовско-Русского государства и литовско-русской культуры не найдете в обзоре русской истории и очерках по истории русской культуры [2]. История Западной Руси выделяется при специализации занятий в особую самостоятельную дисциплину, связанную с историей Руси Московской не более и скорее менее, чем с историей не только Литвы, но и Польши.

Вот эти элементарные факты историографии привели к постановке ряда существенных вопросов, как о месте, занимаемом так называемым Киевским периодом в общей системе русской истории, так и о законности самого понятия единой «русской истории» и тем более истории единого русского народа.

Обращусь опять-таки к некоторым явлениям нашей исторической литературы.

В «Очерках по истории русской культуры» П. Н. Милюкова отсутствует Киевская Русь со всем складом ее политических, социаль-

---

[1] *К. Н. Бестужев-Рюмин*, Русская история, т. I, СПБ 1872; т. II, вып. I, гл. I — IX, СПБ 1885; т. II, гл. X,—в «ЖМНПр.», № 7 и 8, 1887; *С. Ф. Платонов*, Лекции по русской истории, изд. 9; изд. И. Блинова, СПБ 1915.

[2] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, М. 1906; то же, т. II, М. 1906.

ных и культурных отношений. И это не случайность: «На протяжении семи веков, от IX до XVI, прежде чем Москва создала хотя какую-нибудь связь между окраинами России, по мнению Милюкова, каждая отдельная область жила своей отдельной исторической жизнью и переживала особого рода местный процесс, не похожий на процессы других областей». Итоги исторической жизни восточного славянства до эпохи образования Московского государства представляются Милюкову крайне элементарными, своего рода преддверием к более широкому течению государственной и национальной жизни в рамках возникшего на северо-востоке Великорусского государства. Этим и история Киевской Руси IX—XII вв. низводится на уровень узкоместного процесса, наравне с исторической жизнью любой области в так называемый удельный период.

Такое представление о древнерусской истории тесно связано с той конструкцией, какую у Милюкова получила история русского «национального самосознания». Тот склад воззрений на свою национальность, какой сложился у московских книжников на рубеже XV и XVI вв., Милюков согласно своим общим социологическим воззрениям считает первичным, исходным пунктом этой истории, отсюда и начинается ее изложение.

Таким образом, так называемый Киевский период оказывается если не совсем вне, то, по крайней мере, в своеобразном преддверии общей системы русской истории, построяемой у Милюкова, в сущности, на основах традиционного отождествления русской истории с московской, великорусской, постепенно разрастающейся по мере роста государства во всероссийскую, имперскую, если можно так выразиться. Схема упрощена отсечением ее первого члена, но едва ли принципиально переработана. Русскую историю в собственном смысле этого слова оказывается возможным в школе Милюкова строить, в сущности, без Киевского периода. Эволюционная связь между ним и позднейшими периодами истории России, которая сводится для средних веков к истории Руси московской, порвана. Это Милюков и выразил в таком тезисе: «Можно сказать, что русская народность, достигнувшая значительных успехов на юге, на севере должна была начать всю историческую работу сначала».

Милюков в своем отрицании связи между историческими процессами, совершавшимися на юге в IX—XIII вв. и на северо-востоке в XII—XVI вв., не стоит одиноко. Вот, например, что говорит другой историк московской школы, Сторожев, в предисловии к сборнику «Русская история с древнейших времен до смутного времени». «Днепровская Русь — древнейший период нашей истории, не хронологически только, но и реально очень далекий от последующей истории *собственно России*, выросшей из удельного княжества Северо-восточной Руси. Русь днепровская и Русь северо-восточная — две совершенно различных исторических действительности». Называя древнейшее прошлое днепровской Руси «совершенно особым и *законченным* историческим процессом», Сторожев отмечает и особую *этнографическую* причину этой обособленности южно- и се-

верно-русской истории: «историю той и другой Руси создают не одинаково два различных отдела русской народности» [1].

Так, разрушая традиционное единство схемы русской истории, современная историография приходит к вопросу об этнографических основах русской исторической жизни — спорность представления о единстве так называемой «русской истории» вела неизбежно к более глубокому вопросу о единстве русской народности.

Сам по себе этот вопрос не нов, и он имеет свою литературную историю, начало которой восходит к 60-м годам прошлого века и даже ко времени более раннему — к разыгравшейся в 50-х годах полемике между Погодиным и Максимовичем о том, кто, южане или северяне, были «россы» по преимуществу, кому из них принадлежит по преимуществу древняя киевская русская история и заслуга основания русского государства и национальности. В 80-х годах этот спор возгорелся с новой силой между проф. Соболевским и украинскими учеными [2].

Особенно резко с украинской точки зрения поставил вопрос львовский проф. Грушевский [3]. Сделав весьма ценную попытку цельного изложения истории украинского народа с древнейших времен, Грушевский отрицает генетическую связь между «киевским периодом» и историей Северо-восточной Руси. «Киевское государство, — говорит он, — право, культура были созданием одной народности — украинско-русской; владимиро-московское — другой, великорусской». Сопоставляя отношения двух половин древней Руси с отношением Рима и Галлии, Грушевский говорит о рецепции киевского права и культуры великороссами, считая Владимиро-Московское государство не преемником Киевского, а выросшим на своем корню.

«Киевский период» у Грушевского получает новый смысл сравнительно с традиционной схемой «русской истории»; он перешел не во Владимиро-Московский, а в Галицко-Волынский — XIII в.,

---

[1] «Русская история с древнейших времен до смутного времени», сб. статей под ред. В. Ж. Сторожева, вып. I, М. 1898, стр. XVIII.

[2] *Венелин*, О споре между южанами и северянами насчет их россисма, «Чтения Московского общества истории и древностей российских», 1847; *М. П. Погодин*, Записка о русском языке, «Известия императорской Академии наук», т. V, 1856; *М. А. Максимович*, Филологические письма к М. П. Погодину, «Русская беседа», 1856, и Ответные письма к М. П. Погодину, там же, 1857; «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», Киев, т. II, где помещен отчет о прочитанном в 1883 г. в Обществе А. И. Соболевским докладе: «Как говорили в Киеве в XIV —XV вв.» и прения, в которых против Соболевского выступали В. Б. Антонович и ряд других представителей украинской науки. Подробности см. *М. С. Грушевский*, Киевская Русь, т. I, СПБ 1911, стр. 469 и сл.

[3] *М. С. Грушевский*, Очерк истории украинского народа, 2-е изд., СПБ 1906; Звичайна схема «русскои» історії й справа рационального укладу історії східнього словянства, «Статьи по славяноведению», под ред. В. И. Ламанского, СПБ 1904; История Украини-Руси, т. I, II и III, 2-е изд., Львов 1904—1905; т. IV, Львов 1903; т. V, Львов 1905; статьи в «Записках Наукового товариства имени Шевченко», т. XIII, Львов 1896; т. XXXVII, Львов 1900; т. XXXIX, Львов 1901.

потом в Литовско-Польский — XIV—XVI вв. и оказывается первым отделом не русской истории вообще, а истории украинского народа.

Навстречу этой точке зрения идет ряд исследований, выясняющих связь социально-политических отношений Литовско-Русского государства и его права с киевскими традициями. Труды Любавского, Максимейко, Ясинского как бы дополняют и уясняют общую конструкцию Милюкова, устанавливая непосредственную преемственную связь между исторической жизнью древней Киевщины и Литовской Руси [1]. Многое, добытое на этом пути изучения, несомненно составляет существенное приобретение исторической науки. Но если так, то не имеем ли мы перед собою действительно задачу строить схему и теорию двух различных исторических процессов — истории великорусской и украинской?

Более обоснованный и обстоятельный ответ на этот вопрос может быть дан только в конце такого курса, как предполагаемый мной. Но я считаю необходимым теперь же установить некоторые точки зрения, которые, быть может, помогут нам разобраться в нем.

Раз вопрос переносится на этнографическую почву, то и ставится он так: говорят, русская история есть история русского народа. Что понимать под историей русского народа? Что разуметь как содержание самого понятия «русский народ?»

Я не знаю, что вы ответили бы на эти вопросы. Думаю, что не ошибусь, предположив, что многим из вас самые вопросы покажутся очень простыми. На самом деле они очень сложны. Мы и в разговорной речи и в литературе постоянно встречаем выражения: народ, народность, нация, национальность в довольно-таки разнообразных значениях и оттенках значения, то как синонимы, то — нет. Точнее и даже резко разграничены выражения, означающие определенные общественные направления, как «национализм» и «народничество», или качественные признаки — народный, национальный.

Часто сказывается в нашем деле первородный грех исторической науки — отсутствие четко и критически установленного содержания в смысле общих понятий, какими оперирует историк. Так и тут: в употреблении терминов народность, народ, нация мы постоянно встречаемся с колебаниями их значения, свидетельствующими о неустойчивости целого ряда понятий. Я, конечно, не могу

---

[1] *М. К. Любавский*, Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута, М. 1893; его же, Литовско-русский сейм. Опыт истории учреждения в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства, М. 1900; *Н. А. Максимейко*, Источники уголовных законов Литовского статута, Киев 1894; его же, Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г., Харьков 1902; его же, «Русская Правда» и литовско-русское право, «Сб. статей по истории права, посвященных М. Ф. Владимирскому-Буданову», Киев, 1904, стр. 382—395; *М. Н. Ясинский*, Закупы «Русской Правды» и памятников западнорусского права, «Сб. статей по истории права, посвященных М. Ф. Владимирскому-Буданову», Киев, 1904, стр. 430—465.

вдаваться в теорию исторических понятий. Ограничусь несколькими замечаниями о тех из них, с какими мне сейчас приходится иметь дело и притом с чисто практической целью — условиться о значении тех терминов, какие приходится и еще придется употреблять в моем изложении.

Речь идет о «русском народе», его единстве или отсутствии этого единства. В чем же может или должно состоять это «единство»?

Обыкновенно первое, что приходит в голову при таком вопросе, это единство крови, породы, антропологического типа и языка. В основе антропологических особенностей каждого народного типа лежат его расовые особенности. Большое значение им в наше время приписывают такие писатели, как Гобино, Чемберлэн и их сторонники [1]. Но среди историков — и, я думаю, правильно — господствует довольно скептическое отношение к значению не только рас в вопросе национальном, но и племенного происхождения. Антропология давно и твердо выяснила, что на земном шаре вообще, а в Европе, быть может, особенно мы напрасно стали бы искать более или менее чистых рас. Единство французского народа нисколько не нарушается тем, что его этнографическая основа — сложное сплетение кельтических и романских, германских, иберийских и даже семитических элементов. Оставляя в стороне вопрос о единстве русского народа как величину еще искомую, напомню общеизвестный факт сложного этнического состава, например, великорусской народности из элементов славянских, финских, тюркских, монгольских, с позднейшей примесью различных западноевропейских и западнославянских элементов. Теперь часто трунят над рядом иностранных фамилий в составе русского народа. Но обрусевшие в ряде поколений немцы, евреи, поляки, конечно, действительно принадлежат русской, а не какой-либо иной народности. Основные антропологические признаки — строение костяка, длинно-или короткоголовость, цвет волос и т. д. — так перемешаны в среде любого из современных европейских народов, что установить общий, хотя бы в самых общих чертах, антропологический тип для каждого из них совсем невозможно. Точных, научных, определений народности по признакам антропологическим быть не может.

Более твердым признаком народности часто представляется нам язык. И представление это опирается на такие очевидные факты, что, казалось бы, тут мы имеем признак бесспорный. Но не надо забывать столь же несомненного факта, с одной стороны, существования крепкого единства швейцарского народа, говорящего на трех языках или, наоборот, существования двух народов — датского и норвежского, говорящих на двух филологически весьма мало различающихся наречиях, гораздо меньше, чем малорусский язык от

---

[1] *Gobineau I. A.*, Essai sur l'inégalité des races humaines, 4 vol., Paris 1853—1855; *Chamberlain, Houston Stewart*, Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts, 2 Bdd., 14 Auflage, München 1922; его же, Arische Weltanschauung; Auflage, München 1916.

великорусского. Среди наречий единого германского народа можно найти такие, которые отличаются друг от друга едва ли меньше, чем славянские языки или наречия между собой. А язык голландского народа есть незначительная разновидность platt-deutsch, которым говорят многие «чистокровные» немцы.

Но если мы в самом деле откажемся от антропологических признаков и от языка как средств для различения и определения народности, то что же нам останется? Современная литература (т. е. буржуазная литература начала XX в. — *Ред.*) по этому вопросу пробует подойти к понятию народности с двух других сторон: психологической и политической.

Народность или национальность — оба слова употребляются безразлично — есть явление «культурно-психологическое», и притом явление, которого реальным носителем является не народ, не племя, не этническая группа, а человеческая личность. Это — свойство личности и притом не природой ей данное, а выработанное исторически в культурной эволюции. Принадлежность личности к данной народности, или, как вернее было бы сказать с этой точки зрения — принадлежность данной народности тому или иному лицу — есть явление его, этого лица, отчасти бессознательной, отчасти сознательной психической жизни. Бессознательными элементами этой субъективной народности, если можно так выразиться, являются те психические навыки, какие с детских лет прививаются человеку влиянием той национальной среды, в которой он растет, развивается и живет. Факторы этого влияния крайне разнообразны. Родной язык сам по себе уже несет ряд психологических явлений, представляя собой целую сокровищницу определенных представлений и понятий, навыков мысли и тонов чувства, образов и символов, глубоко воздействующих и притом незаметно, бессознательно на духовное развитие. Бытовой склад жизни, в котором не меньше, чем в языке, веками сложившихся и медленно изменяющихся элементов, взращенных данной национальной средой, также неизменно, глубоко и прочно влияет на это психическое развитие. Прибавьте влияние национальной литературы, исторических преданий, традиционных симпатий и антипатий и получите приблизительный, достаточный для иллюстрации психологического явления личной, субъективной народности комплекс факторов, ее создающих. Я бы только прибавил оговорку, что язык — весьма важное, но не обязательное, как показывает пример Швейцарии, или не основное, как видно на примере датско-норвежских отношений, условие выработки народности в культурно-историческом процессе. Какой из многих факторов создания народности является основным, это решается ходом истории той социальной группы, которая постепенно вырабатывается в народность. Но наряду с факторами, вырабатывающими «народность» лица и его бессознательной жизни, стоят и явления сознательной жизни, акты сознания и воли. Но эти последние настолько в действительной жизни тесно связаны с политической стороной вопроса, что лучше их и указать, сперва выяснив эту сторону.

В отличие от слов «народность», «национальность» термин «н а ц и я» и в нашей и в западноевропейской литературе начинают употреблять в особом техническо-политическом смысле. Венгерцы говорят о своей нации, господствующей над народностью хорватов. Хорваты не без успеха стремятся стать из народности нацией, приобретя известный круг самостоятельных государственно-политических прав. Немцы себя называют нацией, признавая познанских поляков только народностью. Поляки стремятся стать нацией в полном смысле слова, стремясь к государственной автономии, или считают себя нацией, временно утратившей политическую самостоятельность, так сказать нацией в ненормальном положении. «Нацию без стремления к государственной жизни невозможно себе и представить», — говорит один немецкий писатель. Итак нацией называют народность, создавшую для себя государственную организацию. Но исторически такое определение не точно. Множество исторических фактов говорит о том, что государства возникали раньше, чем населявшее их территорию население слагалось в действительную нацию.

Для того чтобы это последнее явление произошло, необходимо, чтобы в общественной жизни совершился культурно-психологический факт, который можно назвать возникновением национального самосознания или лучше — национальной воли. Воля к общей политической жизни, стало быть, явление коллективной психики данного населения, есть основная черта как личной, так и общественной «народности» или «национальности» на той ступени исторического развития, когда создаются нации.

Я сказал, что государства часто возникают раньше наций. Теперь эти слова понятны: для того, чтобы говорить о существовании «нации» в указанном смысле слова, необходимо предполагать или иметь налицо в населении данного государства известный уровень сознательного отношения к политической жизни и определенное направление коллективной политической воли. Вот почему напряжение национального чувства и так называемое национальное самосознание прямо пропорциональны политической самодеятельности народа и, стало быть, развитию у него политической свободы.

Вернемся к нашей исходной задаче — определению понятия народа, народности, нации. Мне кажется, что у нас вместо обычного определения получается, пожалуй, объяснение, почему это понятие принципиально по существу неопределимо. Оно, как и многие исторические понятия, развертывается при анализе в эволюционный ряд — от расового инстинкта через субъективную народность к политически сознательной нации. Вы, может быть, скажете, что эти явления, которые я пробую уложить в эволюционный ряд, разного порядка, и не только сменяют друг друга в историческом развитии, но и сосуществуют. Отчасти такое замечание было бы и справедливо. Тут эволюция не простая, а сложная. Более элементарные и первоначальные явления, участвуя в развитии, неся его, так сказать, переживают эволюцию, входя в ряд все новых и более

сложных сочетаний с другими факторами жизни, входя в состав новых, более сложных явлений, не уничтожаясь, но отступая по жизненному своему значению на второй, третий и т. д. план. Таков характер эволюции многих социальных явлений (например, семья — род — племя — община — государство).

В заключение этих общих рассуждений мне хотелось бы отметить значение в этой национальной эволюции, кроме упомянутых культурно-психологических факторов, еще особенно два, так сказать, внешних, объективных: *территорию* и *государственную организацию*. Изучение влияния природных географических условий на жизнь человеческих обществ сложилось почти на наших глазах в особую научную дисциплину — антропогеографию. И одним из ценных ее приобретений нельзя не назвать выяснение роли т е р р и т о р и и в образовании народностей и наций. Сама природа, говорят нам, как бы начертала известные формы территорий, предназначенных для единства культурно-исторического и социально-политического населения, их занявшего. Это предначертанное природой единство обусловливается естественным единством географических и климатических, а потом экономических и далее социальных условий быта, а с другой — международно-политической стороны,— так называемыми естественными границами государств в виде моря, горных кряжей, больших рек. В таких географически индивидуальных районах скрещиваются, смешиваются элементы разных рас, в них оседая, живут общей жизнью хозяйственной и культурной, наконец, спаиваются при соответствующих обстоятельствах в политическую организацию, в государство. Это последнее часто, даже обыкновенно возникает раньше, чем его можно в полном смысле слова назвать национальным. Оно, говоря словами С. М. Соловьева, в начале только «хирургическая повязка» на теле, еще лишенном внутренней сплоченности, внутренней связи. Как внешне-объединяющая форма оно помогает охваченным ею одному или нескольким племенам или народностям, частям разных племен или народностей, выработаться в нацию, воспитаться к сознательной общей жизни.

Если мы подумаем над этими вопросами и примем во внимание вышесказанное, то и самый спорный в нашей историографии вопрос о единстве русского народа и русской истории примет несколько иной характер и получит несколько иное значение. Указание на разноплеменный состав населения и на различие исторических судеб тех или иных его элементов сам по себе не разрешает вопроса. Да и само решение этого «вопроса» из прошлого переносится скорее в настоящее и будущее. Вернее, явления, которых он касается, развиваясь в многовековом историческом процессе, представляют собой одну из тех сторон исторической жизни, которые мы наблюдаем в непрерывном процессе изменения и движения то более, то менее интенсивного, с моментами то задержки и регресса, то ускорения и прогресса и которые именно потому так трудно определить, что законченности в них нет и по существу быть не может.

В грубой своей безусловности и утверждение и отрицание единства русского народа в его целом является, таким образом,

ненаучным и некритическим. В исторической же действительности прошлое — до XI—XII вв. включительно — и позднейшее время — XVII—XIX вв. — так тесно принадлежат одинаково к истории обеих ветвей русского народа или обоих народностей русских — великорусской и украинской, что без ущерба для полноты и правильности научного изучения, без измены исторической правде разрывать изучения их судеб нельзя. Что касается последних трех веков, то нет основания называть как государственную, так и духовную жизнь России великорусской. При несомненно доминирующем значении в ней великорусского элемента слишком глубоко, содержательно и важно было значение в ее развитии украинского народа, его культуры, его дарований. В XVII, отчасти и в XVIII вв. им следует даже приписать в некоторых отношениях руководящую роль в созидании общерусской культуры. С другой стороны, и в тот период, XIV—XVI вв., когда обе половины русского славянства резко разошлись в своих политических и культурно-исторических судьбах, наблюдаем ряд явлений, указывающих, что сознание национального единства долго поддерживалось оживленным взаимодействием и сношениями, лишь постепенно замирая и ослабевая под влиянием исторических условий, для того чтобы возродиться позднее.

Вот те теоретические и научно-практические соображения, которые заставляют меня сохранять понятие «единства русской народности» в его историческом развитии, еще не оконченном, а Киевский период рассматривать, как пролог не южнорусской, а общерусской истории, которая для следующей эпохи распадается на два самостоятельных, равносильных и параллельных отдела: историю Западной Руси и историю Руси северо-восточной. Фактическое обоснование этого воззрения, конечно, приходится оставить на долю обстоятельного изложения и анализа исторических данных.

* * *

Для Киевского периода решающее значение в данном случае имеет полное отсутствие признаков, которые позволяли бы сказать, чтобы между южноруссами и северноруссами тех времен существовало сознание племенного и национального различия. Вражда киевлян и новгородцев, киевлян и суздальцев проявляется не в иных и не в более резких формах, чем, например, соперничество в борьбе владимирцев и ростовцев во время усобиц между сыновьями Андрея Боголюбского.

Вывод из сказанного: нельзя ставить понятие данной определившейся национальности в начале исторического процесса и самое явление национальной, самобытной индивидуальности, рассматривать как носителя, как основу исторической жизни в так называемой национальной истории. Наоборот, выделение восточнославянских племен из общей массы племен славянских, начало их культурно-исторической индивидуализации и постепенного объединения в новую народность и составляет первый вопрос курса древнерусской

истории. Как сложное и живое явление народность возникает, развивается, строится в течение всей исторической жизни народа непрерывно, без конца, или гибнет с концом исторической жизни данной страны. Возникает она и растет на почве различных, скрещивающихся и перемешанных расовых и племенных элементов, обыкновенно, впрочем, с преобладанием одного из них, у нас восточнославянского.

Эта восточнославянская основа позднейшей русской народности и ее различных элементов требует поэтому особого рассмотрения [1].

---

[1] Конечно, при этом не предполагается представление о «чистоте» расы или племени славянского в ту «доисторическую» эпоху, когда они впервые выступают на сцену. Напротив сложные передвижения племен, скрещивания рас и т. п. в длинном ряде веков на той территории, где мы должны искать предков исторического славянства в глубочайшей древности, не позволяют допускать такой мысли. (*Прим. автора.*)

ГЛАВА II

ДРЕВНЕЙШИЕ СУДЬБЫ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА[1]

Киевская Русь — исторический термин для обозначения вполне определенного крупного явления в истории восточного славянства: политической организации этого славянства с центром в Киеве, как она сложилась в X в. и просуществовала до средины XII в. IX и начало X в.— период образования этой организации; вторая половина XII в. — время ее распада. Кроме этого внешнего признака — политической организации, связанной с центральным значением Киева, — так называемый Киевский период русской истории обособляется и определяется рядом других: единством особого момента в этнографической и языковой истории восточного славянства, резко отличного от предыдущего («доисторического») и последующего («удельного») периодов, единством социально-экономических признаков («примитивно-торговое государство») [2], общественного строя и права, духовной культуры (в области церковной жизни, письменности, искусства), наконец, в территориальных (колонизационных) условиях и международных отношениях (южная ориентация).

В общем ходе русской истории Киевская Русь имеет огромное значение как период выработки всех основ позднейшей национальной жизни, как бы далеко ни разнилось позднее дальнейшее развитие этих основ по разделении населения Киевской Руси на новые культурно-исторические типы малороссов, белоруссов и великороссов. Киевская Русь впервые выработала из этнографического материала восточнославянских племен историческую народность. Эта восточнославянская основа русской народности и ее различных элементов, все более обособлявшихся в дальнейшем ходе исторической жизни, требует особого рассмотрения. Осложненная рядом иноплеменных примесей, эта основа была слишком сильна и определенна в Киевской Руси, чтобы не определить навеки судьбы и характер всей восточноевропейской исторической жизни пошедшими от нее антропологической наследственностью и традициями определенных форм народного племенного быта и элементарной

---

[1] Гл. II — VIII принадлежат курсу, читанному в 1915/1916 г.

[2] Термин «примитивно-торговое государство» выдвинут В. В. Святловским: «Примитивно-торговое государство как форма быта», (СПБ 1914 г.).

культуры. Традиции Киевской Руси в политической и общественной жизни, в письменности и искусстве, в народном быту и праве были тем культурно-историческим фондом, на котором выросла историческая жизнь и северной и юго-западной Литовской Руси, видоизмененные и осложненные рядом новых и разнородных элементов.

Восточное славянство — ветвь великого славянского племени, одной из крупных частей так называемого индо-европейского племени. Сложная история выделения славянства от прочих индоевропейцев, попытки охарактеризовать «праславянский» период, т. е. период единого доисторического славянства, лежат вне кругозора истории, по отсутствию каких-либо исторических источников для изучения такой глубокой древности. Это в полном смысле слова — времена доисторические. То немногое, что более или менее можно узнать о судьбах и жизни славянства в те времена, добывается трудом не историка, а языковеда. Сравнительное языкознание пытается установить путем сравнительного изучения славянских языков самый факт праславянского единства, выяснить звуковой и морфологический характер праславянской речи, наконец, элементы праславянского словаря, а с помощью рассмотрения того запаса слов, которые считает возможным приписать древнейшей эпохе общеславянского племенного быта, намечает с помощью понятий и предметных представлений, на какие указывает этот «праславянский» словарь, общие черты этого племенного быта в его хозяйстве, общественном строе, верованиях, а также определяет, хотя бы предположительно, территорию «славянской прародины» по составу слов, относящихся к миру флоры и фауны.

Сравнительное языкознание идет и дальше; путем такого же изучения всех индо-европейских языков подходит к попыткам реставрации существенных черт общей индо-европейской древности. Историку приходится пользоваться выводами этой науки, хотя и с крайней осторожностью ввиду гипотетичности этих выводов, а часто и их спорного значения в разногласиях самих языковедов [1].

Нам и незачем углубляться в эти вопросы. Если я о них помянул, то лишь с одной целью: напомнить, что восточное славянство, вступая на путь своего особого исторического бытия, несло в своей среде некоторое наследие многовековой племенной жизни в языке, обычаях, приемах хозяйства и формах быта. В процессе этой непрерывной и многовековой жизни историк только пытается уловить момент, с которого может получить некоторые, более конкретные

---

[1] *Крек*, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte; *Niederle*, Slovanske Starozitnosti, I-II, Praha 1902—1904; русский перевод: *Нидерле Л.*, Славянские древности, т. I, «Происхождение и начало славянского народа», Киев 1904; *E. Meyer*, Geschichte des Altertums, B. I, Stuttgart 1910; *М. Грушевский*, Киевская Русь, СПБ 1911; *А. А. Шахматов*, Очерк древнейшего периода истории русского языка, «Энциклопедия славянской филологии», вып. II, ч. 1, СПБ 1915, *А. Л. Погодин*, Из истории славянских передвижений, СПБ 1901.

данные о так называемом доисторическом славянском быте, которые явились бы предпосылкой для понимания тех явлений исторического времени, которые изучаются по древнейшим историческим источникам. Некоторый, хотя и то очень еще слабый свет падает на славянское прошлое с той поры, когда славянские племена входят в соприкосновение с культурными народами Южной Европы — с римлянами и греками. Французские археологи отличают доисторическую древность от протоисторической, под которой разумеют эпоху, для которой уже имеются такие иноземные литературные свидетельства об изучаемом племени, хотя от него самого не дошло еще никаких прямых исторических свидетельств. Протоисторическим периодом в истории славянства можно назвать время так называемого «расселения славян», т. е. эпоху распада доисторического славянского единства, выделения из него отдельных ветвей славянства — западной, восточной и южной и их постепенного расселения по тем местам, где затем и протекает их историческая жизнь.

Что же приходится нам принять как данное из всей этой далекой славянской древности, как минимум сведений, которые будут исходной точкой для характеристики восточного славянства накануне той исторической жизни, которую мы можем далее изучать уже своими историческими методами и по своим историческим материалам? Весьма немного, но это немногое небесполезно. Прежде всего данные сравнительного языкознания указывают на знакомство еще праиндо-европейцев с начатками земледелия, на значительное его развитие в славяно-литовскую эпоху, а тем более в эпоху праславянскую. Расселение славян было не движением кочевой орды, а переселением оседлых племен, живших земледельческим хозяйством, лесными и водными промыслами. С другой стороны, развитая терминология семейно-родственных отношений у индо-европейцев указывает на господство у них в глубочайшей древности патриархальной семьи как основной ячейки их социального быта. Эти черты устраняют возможность, а стало быть, и надобность рассмотрения вопроса о переходе славянских племен от кочевого быта к оседлости, а также от каких-либо примитивных форм родового быта, поглощавшего так называемую индивидуальную семью, к формам быта семейно-общинного. Теория «родового быта», сыгравшая столь крупную роль в развитии русской исторической науки,—ценная и весьма интересная глава в русской историографии, но имеет лишь историческое значение для нашей современной науки. Далее, существенным делом было бы определение так называемой «славянской прародины», если бы этот вопрос был разрешен специалистами-языковедами достаточно определенно и бесспорно. Однако на деле он вызывает немало разногласий. Определение территории, откуда началось «расселение славян», имеет свою цену потому, что до некоторой степени помогает представить себе направления самого расселения и те соприкосновения или столкновения с иными племенами, которые пережиты славянами на их «прародине» и в эпоху «переселений». Рассмотрю несколько этот вопрос, пользуясь новейшим трудом А. А. Шахматова. «Очерк древнейшего периода истории рус-

ского языка» (вып. II в «Энциклопедии славянской филологии») и другими его статьями[1].

Весьма сложен самый вопрос о так называемом доисторическом «единстве», или праединстве целых групп племен и народов, которые в историческое время представляются особыми, отдельными друг от друга, хотя и «родственными». Однако сравнение взаимных отношений, например, между современными славянскими языками с их же взаимоотношениями в древности показывает, что, по мере развития раздельной исторической их жизни, они все дальше расходились от прежней сравнительно большей близости. Древнейшие из письменных памятников русского, польского, болгарского языков наглядно показывают, насколько эти языки были ближе друг к другу, чем теперь. Изучая древнейшие общие черты языков и отделяя их от все нараставших позднее отличий и особенностей, сравнительное языкознание и реконструирует их общий праязык (праславянский, праиндо-европейский). Так получается генетическая схема происхождения новых языков из древнего их языка, их родословное дерево. Однако самое представление о таком праязыке вызывает ряд недоуменных вопросов.

Прежде всего такое представление о едином языке связано с двумя другими: об определенной, не слишком обширной территории, на которой жило говорившее им племя; а во-вторых, о некоторых формах общей жизни, т. е. о единой племенной организации. Без этих условий едва ли возможно себе и представить единство языковой жизни племени, обособленной от других и вырабатывавшей у него особенности фонетики, морфологии, синтаксиса, вообще живой речи, общей для всех его частей. А. А. Шахматов настолько отчетливо это сознает, что пишет так о выделении славян из праиндо-европейцев: «Обособленность славян зависела, конечно, прежде всего от обособленности их территории, а также и от возникновения среди них такого культурно-экономического центра, который поддерживал единство племенной их жизни». Эти обстоятельства делают для лингвиста весьма важным определение, в соответствии с «праязыком» и этой «прародиной», где жило данное «праплемя». Решение этой задачи идет у А. А. Шахматова таким путем. Значительное сродство между такими древнейшими чертами в языках славянских и балтийских (литва, латыши, пруссы), которые всю их группу отличают от других индо-европейских языков, заставляет признать, что славяне и балтийцы жили все вместе, составляя одно балтийско-славянское племя, уже отделившись от иных родственных племен. А первоначальной территорией собственно балтийских племен представляется, по общему признанию и исследователей глубочайшей древности, приблизительно та самая, какую заселяют литовцы и ла-

---

[1] «Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen» («Archiv für slavische Philologie», B. 33—«К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях» («Известия императорской Академии наук», 1911. После составления курса вышла последняя, в известной мере итоговая работа акад. *А. А. Шахматова*, Древнейшие судьбы русского племени, изд. «Русского исторического журнала», Петроград 1919.

тыши. Древнейшими соседями балтийцев были финны, так как не только в западнофинских языках (ливы, эсты, водь, сумь), но и в восточных (мордва, черемиса) немало слов, заимствованных из языков балтийских и притом в такой форме, какая в этих языках существовала в глубокой древности, а затем изменилась. А, с другой стороны, в финских наречиях немало заимствований из языков древнейших, индо-иранских и иранских (скифо-сарматских), т. е. финны должны были долго быть соседями тех иранцев, которые господствовали некогда в черноморских степях. Эти соображения заставляют А. А. Шахматова помещать древнейшие поселения финнов между мирами балтийской и черноморской культуры и полагать, что бассейны Березины, северного Днепра, Припяти, Оки и верхнего Поволжья были заняты в древности финнами. Прародиной балтийцев признается бассейн Немана; из всех народов Европы они больше кого-либо могут считать себя автохтонами. Группа прибалтийских племен, которая, отделившись от общего славяно-балтийского корня, стала предком славянства, жила первоначально, по Шахматову, в бассейне Западной Двины. Отсюда их поселения тянулись к бассейну «великих озер» Ильменя, озера Нево (Ладожского), но главным центром их племенного и культурного единства было Балтийское побережье. Поддержку этому представлению А. А. Шахматов находит в значительном влиянии на праславянский язык соседства германцев; в славянских языках указывают ряд слов, заимствованных из германских наречий еще в общеславянскую эпоху. Продвигая так называемую «норманскую» теорию в глубь доисторических времен, А. А. Шахматов готов самое отделение славян от балтийцев приписать скандинавам: «Разъединение славян с балтийцами могло создаться именно на почве культурно-экономической; северная часть Прибалтийского края, бассейн Западной Двины, благодаря скандинавам могла стать в иные условия сравнительно с южной его частью, бассейном Немана, которая тяготела к германскому Повислинью», а скандинавы сюда проникали не только морем и с устья Западной Двины, но и сухим путем, так как нынешняя Финляндия, заселенная в те времена бедным лопарским населением, давно оторвавшимся от общего финского корня, стала рано привлекать выходцев со Скандинавского полуострова. «Море» — общеславянское слово и свидетельствует о древнем знакомстве славян с морской стихией.

Пусть это только весьма гипотетическое построение. Пусть оно вызывает сомнения, главным образом, столь северным положением славянской прародины. Его большим достоинством нельзя не признать определенность представленной картины и попытку связать лингвистические наблюдения с историко-географическими, культурными и политическими отношениями. Задача берется во всем ее объеме, во всей ее сложности и получает определенное решение, гипотетическое, по условиям всякого вывода из скудных данных о доисторических временах.

Однако, признавая «первой славянской прародиной» бассейн Западной Двины, А. А. Шахматов не тут ищет «исходного пункта

славянских движений». Еще в эпоху общеславянской племенной жизни, славяне передвинулись в Повислинье, которое А. А. Шахматов называет «второй славянской родиной». Ранее этот край был занят германскими племенами. Но они его покинули в стремлении к югу. Богатая природа и культурная жизнь греко-римского юга производили неотразимое впечатление на северных варваров, как только они о нем узнавали. Ведь вся ранняя история и германских и славянских племен ярко окрашена этой тягой к богатому югу. А торговые интересы издавна протянули нити торговых путей в глубь северных стран с культурного юга. Вспомним хотя бы геродотовых гелонов — жителей торгового пункта в земле будинов — вероятных предков восточно-финских племен, эти гелоны, по словам Геродота, первоначально были те же эллины, выходцы из торговых колоний, поселившиеся среди будинов; одни из них говорили на скифском языке, другие на эллинском. Меха пушных зверей, которыми так богаты были леса северной и средней России — главная приманка иноземцев. На запад торговля ими шла через германцев-скандинавов. Известно значение балтийского янтаря в древнеримской торговле (Плиний). Тацит знал финнов, с которыми римляне непосредственно не встречались, под этим германским их названием. Втянутые постепенно в оборот сношений с римским миром, германцы бурно потянулись к югу. В III и II вв. до н. э. бастерны или опалы вышли из Привислинья на южные течения Днестра и Днепра — до Нижнего Дуная. Во II в. н. э. по их следам пошли готы. Повислинье открылось для новых поселенцев. Славяне спускаются к югу — в бассейн средней и верхней Вислы. Нижнее ее течение занято пруссами. Двинское побережье Балтики занято латышами, а теснимые дальнейшим движением славян финны отходят к северо-западу — к Финскому заливу (эсты) и озерной области, а другие начинают отступать на восток.

Передвижение в Повислинье окончательно решило дальнейшую судьбу славян. Они втянуты в охватившее всю Европу племенное движение — так называемое великое переселение народов, которое началось еще до христианской эры и не может быть ограничено поздними явлениями IV и V вв. Это первое передвижение привело славян к первым встречам с финнами, которым затем на ряд веков суждено было отступать перед славянской колонизацией или подчиняться поглощению славянами, сходя на роль этнографического материала новых восточнославянских народностей. Что славяне влияли на финнов еще в общеславянскую эпоху, показывают финские слова, заимствованные у славян еще без типичного восточнославянского (русского) полногласия: varpu (воробей), taltta (долото), värtrino (веретено) и т. п.

В Привислинье на славян уже повеяло южной культурой. Они втягиваются в южные торговые сношения, в которых господствовали предприимчивые греки. В общеславянскую эпоху усваивают они греческое слово καράβιον в форме κοραβja (корабль) в отличие от своих ладей и насадов. Первое передвижение нарушило внутреннее равновесие славянской стихии. Остановка в Привислинье была

Инв. № 466264
193

длительным моментом в южном движении славян. Но эта остановка перед препятствием — германские и частью кельтские племена занимали с юга дальнейшие пути — заставила славян расколоться. Часть славян двинулась из Привислинья в бассейн Одера и Эльбы, вытесняя отсюда остатки германского населения, бо́льшая часть которого ушла в юго-западном направлении. Это движение и было началом распада славянства: от него откололась западная группа славянских племен, колонизовавшая земли по Одеру и между Одером и Эльбой вниз по этим рекам — до Балтийского поморья включительно, и вверх — в будущие чешские, малопольские, моравские, словинские земли. В V в. южные пути еще закрыты движением и господством гуннов. Только распадение царства Атиллы (ум. в 453 г.) устранило эти препятствия. В конце V в. предки восточных и южных славян, еще не разделившиеся, покинули Привислинье и потянулись в Дунайскую равнину. Это время общей жизни восточных и южных славян характеризуется рядом особенностей, сближающих русский язык с южнославянскими (болгарским и сербским) в отличие от языков западнославянских (выпадение *т*, *д* перед *л* — вел из ведл; переход *к*, *г*, в *ц*, *з* — цвет, звезда).

Дальнейшее движение в южном направлении вызвало в силу неизвестных нам причин раскол этих славян на две части — южную и восточную. Византийские писатели VI в. — Прокопий Кесарийский и Маврикий — различают среди враждебных Византии славян два племени — одно называют склавинами (словене), другое — антами, считая границей между ними реку Днестр. Прокопий («О готской войне») сообщает о войне между ними в 30-х годах VI в. и о победе словен над антами. Отожествление этих словен с южными славянами, которые втянуты в борьбу с Византией и колонизацию Балканского полуострова, антов же с восточными славянами можно считать общепринятым в научной литературе (подробнее «Антский вопрос» у Грушевского, надо остерегаться его увлечения готским историком Иорданом) [1]. Отбитые своими югославянскими родичами от дальнейшего движения на Балканский полуостров, анты потерпели неудачу и в попытках овладеть наследием остготов — черноморским побережьем. В черноморских степях кочевали остатки гуннских орд — кутургуры и утургуры; в средине VI в. их покорили авары, турецкое племя, явившееся из Средней Азии. Этих аваров поминает старая «Киевская летопись» под именем обров и повествует о притеснениях, какие от них пришлось претерпевать части восточных славян, именно племени дулебов. Киевский книжник вспомнил о них по поводу войны с аварами императора Ираклия (610 г.), о которой прочел в своем византийском источнике, и рассказывает, что: «Си же Обри воеваху на словенех и примучиша дулебы, сущая словены, и насилье творяху женам дулебским: аще поехати бяше Обрину, не даяше впрячи коня, ни вола, но веляше впрячи 3-ли, 4-ли, 5-ли жен в телегу и повезти Обрина, и тако мучаше Дулеби. Быша бо Обри телом

[1] *М. Грушевский*, Киевская Русь, т. I, СПБ 1911, стр. 203—218.

велики, а умом горды, и бог потреби я, и помроша вси, и не остася ни един обрин, и есть притча на Руси и до сего дне: погибоша аки обре, их же несть племени, ни наследника» [1]. Происхождение этого «известия» выяснено Вестбергом [2]. В истории авар, собственно, нет и места для сколько-нибудь длительного их соседства в местностях, заселенных восточными славянами. Все, что мы знаем о встрече этих славян с аварами, — это известие Менандра, который продолжил хронику Агапия за годы 568—582 о разгроме антов аварами, которые грабили славянскую землю и забирали невольников. Исторической чертой народного предания, сохраненного летописью, могло бы быть разве воспоминание о жестокости авар к порабощенным пленникам (оно могло сохраниться, например, в песенной форме вроде позднейших песен о неволе татарских полоняников). Но возможно и другое, что рассказ этот забрел в нашу летопись книжным путем из западнославянского ее источника, где шла речь о притеснениях аварами чешского племени дулебов в духе рассказов об этом латинской хроники Фредегария.

Как бы то ни было, аварская сила закрыла на время Черноморье от восточного славянства. А когда авары ушли дальше на запад и заняли земли старого гуннского царства, в черноморские степи проникли по их следам болгары. Где-то в Поволжье тюркское племя болгар, увлеченное из Азии в Восточную Европу, повидимому, еще гуннским движением (это та же группа подвластных гуннам тюркских племен, части которых составляли орды кутургуров, утургуров, оногундуров), было разорвано на две части, из которых одна двинулась к северу и основала свое царство на среднем течении Волги и нижней Каме (камские или волжские болгары), а другая, увлекаемая подчинившими ее аварами, потянулась к западу, в 80-х годах VI в. достигла нижнего Дуная, выбилась из-под аварской власти в начале VII в. и господствовала в черноморских степях до смерти хана Курта (Куврата), т. е. до 40-х годов VII в. При таких условиях Черноморье до средины VII в. было закрыто для восточнославянской колонизации. «Естественно предположить, — пишет Шахматов про эту эпоху, — что, потеряв нижнее Поднепровье и черноморское побережье, анты продвинулись несколько к северу и заняли лесистые местности между Днестром и Днепром, северную часть нынешней Подольской губ., Волынь и северную часть Киевской». Свидетельства движения восточных славян к северу вверх по Днепру, Днестру и Бугу А. А. Шахматов видит в названии Десной двух рек — левого притока Днепра и левого притока Южного Буга. Эта временная концентрация восточнославянских племен (антов) в определенной и не слишком обширной территории запечатлелась выработкой в их языке некоторых характерных особенностей, отличающих русский язык во всех его разветвлениях от западно- и южнославян-

---

[1] Летопись по Лаврентьевскому списку, 3-е изд. Археографической комиссии, СПБ 1897, стр. 11. Дальше цитируется сокращенно: «Лавр.»
[2] «ЖМНПр.», февраль 1908, стр. 394—397.

ских языков: в истории русского языка этому историческому моменту судеб восточного славянства соответствует, по определению А. А. Шахматова, «общерусский период», когда русский язык, еще «до начала своей исторической, засвидетельствованной памятниками жизни», успел утратить носовые звуки, развить полногласие, смягчить согласные перед гласными переднего ряда (зима, дело), изменить *tj*, *dj* в *ч*, *ж* и т. д. и вообще сложилась типичная восточнорусская фонетика. Следующая эпоха — расселения восточных славян — принесет распад языкового единства на несколько разошедшихся в своем развитии наречий, а единства племенного — на обособленное бытованье отдельных племен, живущих «особе», каждое по своим обычаям и законам «отець своих» и преданиям, каждое по своему «нраву», как изображает их старая летопись. Только к этому моменту можно отнести и известные указания на эпоху, когда жизнь восточного славянства сосредоточивалась — задолго до возвышения Киева — вокруг одного племенного центра. «Всего вероятнее, что таким центром была Волынь, Волынская область, — замечает А. А. Шахматов, — здесь сложились те силы, которые не замедлили перейти в наступление, как только это позволили окружающие условия». А. А. Шахматов разумеет, очевидно, знаменитое известие араба Масуди (писал в 20-х годах X в.) о племени валинана, которое, по его словам, «прежде, в древности, имело власть над другими», так что «этому племени подчинялись все прочие племена, ибо власть была у него». Известие Масуди, повторенное затем в сочинении Ибрагима Ибн-Якуба (по Масуди), использовано В. О. Ключевским в параграфе его курса о военном союзе восточных славян на Карпатах под предводительством князя дулебов, причем, по неожиданному мнению Ключевского, «сомкнула восточных славян в нечто целое» какая-то «продолжительная борьба с Византией» ![1] Тексты Масуди и Ибн-Якуба соблазнительны упоминанием о валинана (хотя в рукописях читаем ряд других форм: влинбаба, вальмана, вальмая), а смущает оно тем, что если взять тексты целиком, то получается вовсе мудреная картина. Дело в том, что Масуди еще перечисляет подчиненные волынянам племена: астрабана, дулаба, бамджин, менгабан, сарбин, марава, харватин, сасин — ряд имен, часть которых вовсе непонятна, а другие — сербы, моравы, хорваты — вызывают представление о каком-то общеславянском царстве. А Ибн-Якуб, пересказывая и дополняя известие Масуди, говорит о последовавшем распаде этого царства, из которого, по его представлению, выделились Болгария, Чехия, Польша и Поморское княжество. Если придавать значение известию о бывшем когда-то господстве волынян над группой славянских племен, то остальное построение арабских писателей придется признать результатом смешения ими этих смутных преданий, дошедших до них, с позднейшим представлением о великоморавской державе, хотя тоже по крайней мере преувеличенным. Несмотря на всю эту путаницу и крайнюю ненадежность арабских сообще-

---

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, 2-е изд., М. 1906, стр. 125.

ний, историкам трудно отказаться от этих «валинана», с одной стороны, потому что общий ход развития восточного славянства требует предположения о пережитом им в доисторические или протоисторические времена периоде объединения в стране, где Волынь — естественный центр, как это справедливо указал и А. А. Шахматов, а с другой — потому, что в соотношении древнейших племенных и территориальных имен юго-западной Руси есть черты, поддерживающие эту гипотезу. Старая летопись сообщает, что «дулебы живяху по Бугу, где ныне велыняне», а в другом месте говорит о «бужанах, зане седоша по Бугу, после же велыняне». Попытка А. А. Шахматова [1] истолковать эти выражения летописца как указание на племенные передвижения, при которых волыняне—племя, пришедшее с юга, вытеснило дулебов или частью ассимилировало их, а бужан признать особым племенем — жителями бассейна не Южного, а Западного Буга,—мало разъясняет судьбу этих имен. Грушевский только в слове «дулебы» признает племенное имя, а два других — «велыняне» и «бужане» производит от городов — Велыня или Волыня, который существовал как незначительный городской пункт Волынской земли еще в XIV в., и города Бужьска (ныне Буськ в Галиции, на верхнем течении Западного Буга). В смене имен Грушевский видит следы политической истории, память о древнем центральном значении Бужьска, затем Велыня, подобно тому как позднее племенные имена полян, северян вытеснялись политическими терминами Киевская, Черниговская земля — кияне, черниговцы и т. д. [2] Толкование Грушевского имеет то преимущество, что объясняет и то, почему, несмотря на переход центрального, стольного значения к городу Владимиру, земля навеки сохранила имя Волыни, Волынской земли, чем она выделяется изо всех земель древней Руси, именуемых всегда по главному городу. Аналогию видим в устойчивости названия Суздальской земли, когда стольное значение давно перешло к городу Владимиру Залесскому.

Таковы соображения, которые, кажется, позволяют признать в картине, нарисованной А. А. Шахматовым, удачную попытку реконструкции последнего доисторического момента русской древности, накануне нового периода в расселении восточного славянства.

Этот новый период в истории Восточной Европы открывается образованием Хазарского царства на нижнем течении реки Волги. Хазары — опять новая волна турецких племен, которых из века в век бросало на Европу колоссальное азиатское движение народов. Еще при жизни болгарского хана Курта (Кувратa) — около 635-641 гг. — они начинают теснить болгар с востока. По смерти Курта, при его пяти сыновьях, болгары разбились на пять орд; одна из них с ханом Аспарухом перешла около 660 г. за Дунай, подчинила

---

[1] В статье «К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей», «ЖМНПр.», № 4, 1879.

[2] *М. С. Грушевский*, Киевская Русь, т. I, стр. 247 и сл.

славянские племена по нижнему течению Дуная и до Балкан и положила тем основание славянской Болгарии. Разгром болгар хазарами (в 70-х годах VII в.) очистил от них черноморские степи. Часть ушла на запад в Паннонию, часть к северу в Камскую Болгарию, часть подчинилась хазарам, утратив племенную особенность, их остатки — «черные болгары» летописи — в IX — X вв. находятся у Азовского моря. Однако на этот раз произошло нечто иное, чем простая смена одних турецких кочевников другими. Хазары оказались значительно восприимчивее к новым формам культуры и создали крупное государство со столицей в городе Итиль на Волге. Столетия на два хазарская сила заперла «ворота народов» — равнину между южными отрогами Урала и северным берегом Каспийского моря, обычный путь азиатских орд в Европу.

Огромно значение Хазарского царства в ранней истории восточных славян. Замирение Черноморья и всей Восточной Европы обеспечило им пути мирной колонизации. Международное культурно-экономическое значение Хазарии втянуло их в богатый новый мир культурных отношений. Хазарская столица быстро выросла до роли крупного центра международной торговли. Сношения с Азией, с турецкими племенами, кочевавшими на востоке, с Камской Болгарией, столица которой Великие Болгары — своего рода форпост хазарской торговли с племенами Сибири и северных областей, занятых финнами, с скандинавским миром — на северо-западе, а на юге — с населением Кавказа, среди которого жили ценные элементы старой иранской культуры, Персией арабского халифата, Малой Азией, греческим побережьем Черного моря и Византией,— ставили хазар в центре скрещения разнородных культур и на перекрестке нескольких артерий мировой торговли. Хазарские отношения вводили славян в соприкосновение прежде всего с турецким и арабским мирами, и оба имели большое значение для славянской жизни. Среду азиатских кочевников — «варварскую», по терминологии древних эллинов, — не следует представлять себе примитивной, первобытной. Это — своеобразная среда сложного быта и посвоему яркой «варварской» культуры. И эта культура производила подчас сильное впечатление на просвещенных греков и латинян, влияла на них, вызывала даже подражание. Набеги и торговля знакомили степных хищников с богатыми культурами Китая, Средней Азии, Персии, Малой Азии, Византии. Привлекала их внешняя блестящая сторона старых восточных цивилизаций и то, что, кроме пленников, они ценили в добыче, это изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни, пестрые ткани — шелк, парчу, ковры, ткани бумажные и льняные, разнообразную утварь и оружие, богато украшенные. Варварские владыки степей поражали и увлекали греков роскошью и яркостью красок своего быта. «Варварские» уборы сильно влияли на византийские моды. Эти очарования Востока объясняют яркость красок, золота, парчи, столь характерную для византийского убранства и византийского искусства. На той же «варварской» почве выросло арабское искусство,

возведя его элементы на высокую степень художества. В увлечении Византии Востоком был, конечно, и политический расчет. Добиваясь подчинения окрестных варваров своему влиянию, Византия приноравливалась к их понятиям и вкусам, стремилась поражать их и привлекать собственной пышностью; для этого она сплошь и рядом брала у них мотивы «варварского» орнамента их утвари, их предметов религиозного культа, конского и людского убора и возвращала их им же в культивированной, художественной форме. Творилась в этом обмене новая восточная международная культура. Византия черпала восточные элементы не только у «варваров», но еще больше и плодотворнее из общего с ними источника — в культурах Средней и Малой Азии, Сирии, из центров стародавней и самобытной жизни азиатского востока. Торговые караваны шли из Индии и Китая через турецкий мир к Волге и дальше в Черноморье, к Киммерийскому Босфору. Изделия из серебра, золота, стекла и драгоценных камней, блюда, чаши, монеты проникали с персидско-арабского юга через среду кочевников к народам Сибири и северным угро-финнам. Так слагался на рубежах Европы и Азии особый и сложный культурный мир — греко-восточный. Об этом говорит не одна только археология. Богатый запас поэтических преданий — эпоса и лирики — у турецких племен, пережитки иранских и иных мотивов культурного Востока создавали параллельные явления и в области духовной культуры; Хазарское царство втягивало славян в общение с этим азиатским миром, давая их расселению защиту от разрушительных сил Азии, а их народному хозяйству открывало далекие торговые пути.

Еще важнее была доступность движения в Черноморье. Проникая в черноморские области, славяне вступали на территорию давних культур в их многовековой смене. Элементы древнегреческой культуры занесены сюда издавна ионийцами, колонизаторами черноморского побережья. А ведь самые быт и творчество малоазийских ионян были издревле пропитаны восточными, азиатскими элементами. В этих древних элементах греки, достигшие исключительной высоты культурного развития, легко находили общую почву для сближения с «варварами», для понимания их верований и вкусов, для влияния на них. Проф. Фармаковский дает яркие указания на культурную роль греков в варварской среде скифов и сарматов, суть которой та же, что позднейшего византийского влияния, например, в художественной и стильной обработке стародавних мотивов народного искусства, особенно того «звериного стиля» в орнаменте, который был когда-то полон религиозной символики, да и позднее оплодотворял яркими образами народную поэзию (сказки, былины) и живет затем вековой жизнью и в русском народном искусстве [1]. Конечно, все это вопросы прежде

---

[1] *Б. В. Фармаковский*, Архаический период в России, в «Материалах по археологии России», издаваемых Императорской археологической комиссией, № 34, СПБ 1914, стр. 15—78.

всего археологии и истории искусства. Но их широкое освещение в трудах русских археологов раскрывает широту и сложность скрещения культур на юге России, богатство того наследия, которого элементы вошли оплодотворяющим началом в ранние и в позднейшие наслоения культуры древнерусской[1].

Сношения с греками не только проложили морской торговый путь отсюда на юг — в Средиземное море, но прокладывали и дальнейшие пути на север и на восток из черноморских колоний. Создавалась прочная традиция торговых путей и торговых сношений. Заложенная в скифо-сарматские времена, она то ширилась и крепла, то ослабевала, чтобы затем снова возродиться при смене разнородных племен в Черноморье. Во II в. н. э. сарматское племя, аланы, господствует в Черноморье, но в конце этого II века и в начале III нашествием готов они вытеснены за Дон к Кавказским горам. Остатки их живут до наших дней на Кавказе — осетины, древней Руси известные под именем ясов. Готы во время своего господства в Черноморье в свою очередь подчинились сильному влиянию греческой культуры; их морские набеги на берега Малой Азии и черноморское побережье Балканского полуострова — первая страница в многовековой борьбе севера и юга за господство на Черном море — создают тоже своего рода традицию военно-морских предприятий, которая живет затем в походах Руси на Малую Азию и Византию, да и далее — до казацких морских походов XVII в. и русско-турецких войн. Знакомство готов с черноморской скифосарматской культурой и новые влияния греческого юга и азиатского востока (Кавказ, Малая Азия) дали плодотворный толчок успехам готского быта и искусства. «Готские древности» — крупное культурное явление в жизни всего германского и вообще западного мира.

В оценке готского наследия для славянской культуры (восточного славянства) наша археологическая и лингвистическая литература еще полна колебаний. Вопрос этот также имеет более широкое значение, как и вопрос об отношении восточно-славянской древности к тому великому наследию греко-восточного мира, одним из внешних знаков которого было распространение «звериного стиля» в орнаменте, к культурному течению, которое при посредстве готов широко распространилось в Западной Европе. Эта готская культура имеет большое значение для археологии и вообще культурной истории Западной Европы: на ее основе слагается тот стиль «варварских древностей», который господствует в Западной Европе с III по VII в., развиваясь все сложнее, а со времен Карла Великого ложится, переплетаясь с новыми веяниями от

---

[1] «Русские древности в памятниках искусства, издаваемые гр. И. Толстым и Н. Кондаковым»: вып. 1 — «Классические древности южной России», СПБ 1889; вып. 2 — «Древности скифо-сарматские», СПБ 1889; вып. 3 — «Древности времен переселения народов», СПБ 1890; вып. 5 — «Курганные древности и клады домонгольского периода», СПБ 1897; *Н. П. Кондаков*, Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода, т. I, СПБ 1896.

традиций латинского антика и Византии, в основу так называемого романского стиля, первого оригинального художественного стиля Западной Европы. Что же касается восточного славянства, то наряду с попытками выдвинуть и подчеркнуть связь его древнейшей культуры с готским наследием [1] стоят выводы Н. П. Кондакова, который указывает по поводу «греко-восточного стиля», тесно связанного с древностями кочевых орд, на «бедность» в древностях Киевской Руси в первое время, всякой орнаментации из мира животных, при «преобладании геометрических форм и растительного типа украшений». То же и для специально «готских» древностей: «Как будто вся эта характерная орнаментация была пронесена мимо и не дала отпрысков на север от Киева». Н. П. Кондаков пришел на основании археологических наблюдений к вопросу: не приходит ли славянское население в Черноморье «с северо-запада»? и притом сравнительно поздно, «уже после окончательного ухода с Днепра готов и других союзных с ними племен» [2]? — вопрос, на который, как мы видели, А. А. Шахматов дает утвердительный ответ, опираясь на данные иного порядка, помимо археологического материала. К тому же заключению приходят и наблюдения языковедов: слова, указываемые как заимствования у готов, во-первых, могли быть взяты славянами в большинстве и из других германских языков, а во вторых, относятся к словам, заимствованным в общеславянский язык, т. е. могли попасть к славянам еще до переселения готов в Черноморье. Специально восточнославянских «готизмов» нет. Готское господство в Черноморье — лишь один из моментов его исторической жизни, создавшей традицию путей и сношений, которая жила из века в век, переходя от народа к народу по мере их смены на этой территории. Как известно, настоящий охват восточных славян, более глубокий и плодотворный, влиянием сложной культуры греко-восточного типа Н. П. Кондаков относит к позднейшему времени — к истории Суздальской Руси [3]. И самых готов пережили, как пережили и длинный ряд их предшественников, греческие и малоазийские связи Черноморья.

Таковы общие историко-географические черты и культурно-исторические традиции обширной Восточноевропейской равнины, которая с VII в. открылась для нового колонизационного движения восточного славянства. В его среде не замедлила возродиться старая тяга на юго-восток по проторенным путям к Черному морю. Это колонизационное движение привело к заселению частью восточных славян среднего Днепра, где археологические судьбы Киева указывают на давнее значение этого пункта.

---

[1] *А. Л. Погодин*, Киевский Вышгород и Гардарики, «Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», т. XIX, кн. 1, СПБ 1914.

[2] *Н. П. Кондаков*, Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода, т. I, СПБ 1896.

[3] «Русские древности в памятниках искусства», вып. VI: «Памятники Владимира, Новгорода и Пскова», СПБ 1899 и «О научных задачах древнерусского искусства», «Памятники древней письменности», СПБ 1899.

Раскопки В. В. Хвойко в 1893 г. обнаружили следы весьма древних поселений с костями мамонта, бивнями мамонта, орнаментированными насечкой, поделками из кремня; это признаки жилья каменного века, притом эпохи палеолита; затем идут остатки неолитического жилья [1]. Географическое положение Киева, господствовавшего над путем вниз по Днепру и над переправой за Днепр, создало значение его, лишь унаследованное славянским его населением. Отсюда часть восточного славянства перекинулась за Днепр — на Десну, Сейм и Сулу, часть пошла дальше к югу, заселяя пространство между Днепром и Южным Бугом и вниз по Днепру до моря и до устья Дуная.

Начавшееся движение в среде восточных славян вызвало глубокий разрыв их прежних племенных связей; часть их втягивается снова в круг северных прибалтийских интересов. Движение славян к югу, в Привислинье, и дальше на юг сдвинуло, как было уже упомянуто, финнов на север и северо-восток. Затем «опустение Привислинья», покинутого славянами, открыло путь к «обратному» движению на восток некоторых ветвей западного славянства, которое притом не остановилось в Привислинье, а захватило верховья Днепра и перекинулось в бассейн верхних течений Оки и Волги. А. А. Шахматов признает радимичей ляшским племенем, поправляя известное заявление летописи, что де радимичи и вятичи были «от ляхов», лишь в отношении к вятичам (согласно с другим местом летописи — только радимичам приписывается происхождение «от рода ляхова»). Подтверждение этому мнению А. А. Шахматов видит и в данных языка — смешение *ц* и *з*, *з* и *ж*, *с* и *ш*, в говорах западновеликорусских. Явление это, родственное так называемому польскому «мазурканью», Шахматов объясняет тем, что северная часть восточных славян встретилась в своем поступательном движении со среднего Днепра к северу «со значительными ляшскими поселениями, распространившимися, быть может, еще в VII — VIII вв. на восток от исконно польской территории». Эти «ляхи были поглощены русской волной, но, смешавшись с северноруссами, дали им некоторые свои звуковые особенности» [2]. Признав, как было упомянуто, господство скандинавов на Балтийском море явлением глубокой древности, А. А. Шахматов в них видит элемент, вызывавший и далее брожение и ряд организующих племенную жизнь концентраций в прибалтийских краях. Тут «прибрежные племена становятся данниками скандинавов, основывающих торговые и политические центры для эксплоатации страны

---

[1] *В. В. Хвойко*, Каменный век среднего Поднепровья, «Труды XI археологического съезда», т. I, стр. 736—812; его же, Киево-кирилловская палеолотическая стоянка и культура эпохи Мадлэн, «Археологическая летопись южной России» № 1, 1903; *Ф. К. Волков*, Искусство мадлэнской эпохи в Украине, «Археологическая летопись южной России» № 1, 1903; см. подробную библиографию вопроса: *М. Грушевский*, Киевская Русь, т. I, СПБ 1911, стр. 19.

[2] *А. А. Шахматов*, К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры, «Русский филологический вестник» № 1, стр. 1—12, Варшава 1913.

и управления покоренными племенами везде, где это предписывается торговыми и экономическими выгодами». Влечет их великий водный волжский путь, который вел через области, богатые мехом пушных зверей, в торговые центры камских болгар и хазарского Итиля. Издавна представляется знакомым для скандинавов путь в глубь материка вверх по Западной Двине (на значении этого пути особенно настаивал польский историк Шелянговский) [1].

Торговля скандинавов с арабами — давняя. Находки арабских монет в Скандинавии начинаются с монет 698 г. Даже первоначальную дорогу скандинавов в Византию Шелянговский ведет через землю хазар, по Волге и Дону в Азовское море.

Эта предприимчивость скандинавов, продолжает А. А. Шахматов, захватила и ляшские племена в бассейне верхнего Днепра и, наконец, втянула в торговые и промышленные интересы Балтийского мира часть восточного славянства. Северная их часть отделилась от общего корня и «направила свою колонизацию по пути, расчистившемуся для ее экономических интересов, к истокам Днепра и далее к западу, северу и востоку по течениям рек, сближающимся своими истоками с началом Днепра».

Тут севернорусcы разбились на две ветви, одна из которых пошла по течению Западной Двины, заселяя ее бассейн без разрыва со своим юго-восточным базисом: «это кривичи, которых мы в историческое время застаем в Смоленске, Полоцке, Витебске, Пскове». «Другая, также не отрываясь от своего южного базиса — верховьев Днепра», заняла север и северо-восток: это словене, которых затем видим в Новгороде, на Белом озере в верхнем Поволжье. Это движение севернорусcов прижало плотнее литовские племена к их балтийскому побережью и прорезало клином финские поселения, разорвав, например, исконные связи эстов с восточнофинской мордвой, близких друг другу по языку и культуре.

Описанные движения резко разбили восточное славянство на две большие группы племен — южноруссов и севернорусcов. Но часть восточного славянства не примкнула ни к той, ни к другой. Уже переход северян за Днепр, в бассейн Десны и Сейма и в Посулье указывает на некоторое отклонение славянской колонизации от южного направления. Его возможно объяснить притягательной силой путей, шедших в бассейн Дона и Азовского моря — в мир хазарской торговли и восточной культуры. Отдельная волна переселенческого движения и пошла в этом направлении и проникла на восток далее, чем северяне, сохранившие связь с южнорусской ветвью восточного славянства; это — восточноруссы, по терминологии А. А. Шахматова, которых древнейший центр — северное Подонье, а поселения в бассейне Дона спускаются по его течению до Азовского моря и, захватывая древнюю Таматарху, превращают ее в русскую Тмутаракань. Это вятичи, только позд-

[1] *Szelagowski*, Najstarsze drogi z Polski na wschod wokresie bizantynsko-arabskim, 1909.

нее сдвинутые напором печенегов в конце X и в XI в. назад к северо-западу, в бассейн Оки, вверх по Донцу и вниз по южным притокам Оки.

Восточноруссы целиком вошли в круг влияния и господства хазар. Предание сохранило воспоминание о даннической зависимости от хазарского хана (кагана) и южноруссов: «Козари имаху дань на Полянех и на Северех и на Вятичех по белей веверице от дыма»,— в то время как «имаху дань варязи из замория на чюди и на словенах и на веси и на кривичех». Таков первый исторический факт, с какого киевский летописец начинает свое повествование [1].

[1] Лавр., стр. 18.

ГЛАВА III

ПОСЛЕДСТВИЯ РАССЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Ближайшим результатом расселения восточных славян был распад их былого племенного единства. В области истории языка, по замечанию А. А. Шахматова, «расселение на обширной территории (особенно в примитивных бытовых условиях, когда невозможно сколько-нибудь тесное общение между группами населения, разбросанными на широких пространствах) ведет неминуемо к разрушению единства в языковой жизни раздробившегося племени и создает несколько новых жизней на месте прежней, отошедшей в историю». «Единство между древлянами и словенами, угличами и вятичами существовало уже только в прошедшем». На диалектическом расхождении говоров отражается общая разрозненность племенной жизни: «Имяху бо обычаи свои и закон отець своих и преданья, каждо свой нрав».

Мы, конечно, не знаем наречий и говоров древнерусских племен. Но сравнительное изучение позднейших наречий — великорусского, украинского и белорусского — показывает, что в составе их особенностей есть ряд таких, которые характеризуют говоры, вошедшие в состав этих крупных групп наречий, притом так, что есть черты общие у украинской речи с южновеликорусскими говорами (в отличие от северновеликорусских), или одинаково характерные для украинских и белорусских говоров. С другой стороны, при ряде типичных общих черт, говоры, вошедшие в состав каждой из трех крупных групп наречий, отличаются столь существенными особенностями друг от друга, как, например, оканье и аканье в Великороссии и т. п. Словом, наряду с отличиями, которые и создают представление, вполне определенное и устойчивое, о языках или наречиях великорусском, украинском и белорусском, — вскрывается ряд иных, которые, так сказать, спутывают классификацию русских говоров по этим трем группам. Эти черты русской диалектологии могут быть только наследием предыдущей эпохи, иного, чем современное, диалектического расчленения восточных славян, которое затем, при новых передвижениях племен, было сбито, смешано и привело, поскольку древние черты сохранились в связи с дальнейшим языковым развитием, к той пестрой диалектической картине, в которой исследователь выделяет отдельные черты более древней диалектологии, чем современная. Отдел

о «древнерусских наречиях», пожалуй, наиболее оригинальная часть нового труда А. А. Шахматова. Выделив ряд черт, которые приходится отнести за счет диалектов внутри «общерусского языка» доисторических времен, А. А. Шахматов группирует свои наблюдения в указанном направлении так, что получается некоторая характеристика южнорусского, восточнорусского и севернорусского наречий, не совпадающая с позднейшими особенностями малорусского, белорусского и великорусского языков.

Разрозненность племенного быта шла, однако, и глубже. «Особе» жили отдельные племена южно- и севернорусские. Это суждение древнего киевского летописца подтверждается данными русской археологии. Попытка А. А. Спицына охарактеризовать «расселение древнерусских племен по археологическим данным» выясняет, во всяком случае, значительную пестроту в погребальных обрядах и в материальной культуре, как она сложилась в древностях восточных славян с IX — X вв. (по определению А. А. Спицына). Что до попытки определить по сходству основные группы (племенные), Спицын приходит к характеристике трех групп: 1) юго-западной (волыняне, поляне, древляне, дреговичи, причем и вещи северянских курганов «ближе всего напоминают предметы курганных насыпей юго-западной группы»), 2) северной (новгородцев и кривичей — псковских, полоцких и смоленских) и 3) восточной, в которой характерных черт и определенности не получается, так как Спицын пытается ее сложить из радимичей, вятичей и тех же северян [1]. Археологу приходится оперировать с данными курганных древностей, которые он сам относит к XI в., когда уже значительно осложнились взаимоотношения племен и их культур все крепнущим влиянием киевского центра, да и племенными передвижениями — именно в восточной группе (вятичи).

Все эти вопросы до крайности осложняются вопросом о том значении, какое следует приписывать летописной этнографической карте восточного славянства. И лингвисты и археологи прикидывают к ней свои наблюдения и систематизируют их как комментарий к «несторовой географии».

А. А. Спицын, кроме того, исходит из представления об этих племенах как «этнографических единицах», говорит по их поводу о «единстве по крови» как исконном понятии для классификации древних племен. Однако он справедливо замечает: «Достойная удивления по ширине и определенности картина расселения древнерусских племен, нарисованная Нестором, имеет, однако, существенный недостаток, — совершенное отсутствие исторической перспективы. Наш летописец не знает, в какой постепенности заселяли эти племена страну, не отмечает, как они группируются по этнографической близости, какие из них наиболее сильны и какие слабы...» Летопись дает простое перечисление племенных названий по местностям, как они установились в практическом употреблении

---

[1] *А. А. Спицын*, Расселение древнерусских племен по археологическим данным, «ЖМНПр.», август, 1899.

у киевлян XI в.» Читателю статьи А. А. Спицына остается неясным, почему иначе и не могло быть. Ведь эти «племена», во всяком случае, не что-нибудь глубоко исконное в смысле «этнографических» единиц и их сродства по крови, а продукт расселения восточнославянских племен, едва ли уже выделившихся друг от друга в эпоху «общерусскую», в эпоху «общеславянского единства». Конечно, и в ту пору относительного «единства» восточнославянской племенной жизни существовали племенные подразделения и диалектические отличия отдельных частей восточного славянства. Но ничто не дает нам основания утверждать, что эти древнейшие черты племенной диференциации совпадали не то что с позднейшими отличиями великорусской, малорусской и белорусской народностей, но и с теми, какие сложились в эпоху расселения и в Киевский период. Племенная диференциация, как она слагалась в период IX — XII вв., явилась результатом расселения и тех условий, в какие попали части восточнорусского племени, разошедшиеся вширь и вдаль по территории Восточной Европы.

Заслуживает пристального внимания та критика вопроса о древнерусских племенах, какую находим в «Лекциях по исторической географии» С. М. Середонина [1]. Середонин настаивает на том, что «некоторые так называемые «племена» в действительности обнимали лишь население известной местности, а вовсе не составляли союзов родственных» (т. е. кровных этнических групп). Наиболее южные племена — улучей и тиверцев — Середонин отказывается признать двумя различными племенами. Имя улучей засвидетельствовано и Константином Багрянородным — ultini. Имя это разно читается: угличи, улучичи, улици, ульци, лучичи. Выступают они в летописи вместе с тиверцами — до неразличимости: «уличи и тиверьци седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви, бе множество их, седяху по Днестру оли до моря»; Олег «с уличи и тиверьци имяше рать», а иногда названы либо те, либо другие, словно оба имени заменяют друг друга или одно покрывает другое (Свенельд покорил уличей, Игорю подвластны тиверцы). Имя тиверцев поясняется словами «иже суть толковины», значение которых тоже неясно. Середонин заключает, что, всего скорее, «уличи — общее наименование племени, а тиверцы — частное, точнее обозначающее улучей, которые «жили по Днестру, Тирасу или Тире». Обычно полагают, что оба имени — топографические. Побережье между устьями Днестра и Днепра называлось у славян «Угол», откуда греческое название этой местности — ογγλος — и название угличей; тиверцы от реки Тиры (?). Славянское население этого юга, откинутое на заре русской истории назад к юго-востоку, оставило надолго следы своих поселений — «оли до моря и до Дуная», с которыми мы еще не раз встретимся в истории Киевской Руси. Но имена угличей и тиверцев так быстро потеряли реальное значение, хотя и «бе множество их», что книжник-летописец начала XII в. не имел о них

[1] *С. М. Середонин*, Историческая география, посмертное издание, Петроград 1916.

отчетливой традиции. Рано исчезает и племенное имя «дулебов», быть может, поглощенное политическим именем волынян?

Топографический характер носит имя «полян». Книжник-летописец, первый «исследователь» русской древности, полагал, что: «Словене пришедше седоша по Днепру и нарекошася поляне», — «зане в поли седяху». Однако центр их — Киев, а вокруг Киева было не поле, а «бяше лес и бор велик». Поляне сосредоточены на «горах Киевских», на высоком и лесистом берегу Днепра. Середонин полагает, что название «полян» они получили позднее, «когда выступили к югу от Киева в X — XI вв.» Это заключение кажется малоубедительным. В X в. берет верх имя русь, затем кияне, и Середонин, кажется, напрасно не хочет признать имя полян более древним, а тот топографический парадокс, который он справедливо подчеркивает, — результатом сдвига полян к северу из занятого ими — с опорой тыла на Киев — более южного «поля», сдвига, вызванного, вероятно, теми же причинами, что и сдвиг к северо-западу угличей и тиверцев, т. е. напором угров, а затем печенегов. Однако замечание Середонина, что мы «не имеем никаких данных, указывающих на существование особого полянского племени», что это не этнографическое, а «местное» название, тем более заслуживает внимания, что, насколько знаю, и археологии не удалось при всем желании определить какой-либо тип «полянских» погребений. Топографический характер носит и имя древлян — «зане седоша в лесех». По данным археологии, одна культура курганов объединяет полян, древлян, волынян. Но, с других точек зрения, древляне выступают довольно обособленно, однако едва ли эта обособленность этнографическая, племенная. Середонин очень метко замечает, что такое название возникло в противоположность «полю» и антитеза «древляне» — «поляне» ярко отразила раздел населения на две долго боровшиеся группы. Очень возможно, что начало этой борьбы обусловлено упомянутым движением полян к северу. Летописец сохранил предание, что когда-то, в старину, вскоре по основании Киева легендарным эпонимом его Кием, «были обидимы поляне древлянами»; «примучивали» древлян и Олег, и Игорь, и Ольга, причем древляне выступают организованной силой со своими князьями, не то славянского, не то варяжского происхождения. Тут, видимо, несомненна «племенная» организация, но политического и местного характера, а не на этнографической, сколько-нибудь ясно выраженной основе. Хорватов, поминаемых летописью в числе восточнославянских племен, Середонин выкидывает со счета, предполагая, что тут лишь отголоски времени, когда, быть может, западнославянская колонизация заходила на восток от Карпат, так что лишь «местность сохранила имя народа, некогда в ней жившего», а занята она угличами-тиверцами, быть может, и древлянской колонизацией, вызванной напором на древлян киевской, полянской, силы.

Топографично также имя «дреговичей»: от дрягва, дрегва — болото, трясина. Указания летописи, давно смущающие нашу историческую географию, помещают их в широких границах между

Припятью и Западной Двиной. Археологи считают «дреговичские курганы» XI в. довольно хорошо выясненными, хотя в общем их древности весьма близки к волынским. Эти «дреговичские» древности не доходят до бассейна Западной Двины; уже по среднему течению Березины, по замечанию А. А. Спицына, «дреговичские курганы видимо смешаны с кривичскими», а по Сожи, вероятно, с радимичскими. Коренная область дреговичей — бассейн Припяти. Дреговичи, по Середонину, не «особое племя» в строгом этнографическом смысле слова, а население особой местности к северу от древлян.

Бассейн верхнего течения Западной Двины — уже область кривичей. Название это считают литовским, так как литвины русских вообще называли kreevo (что само по себе, конечно, ничего не доказывает). Терминология книжника-летописца дает рядом племенное имя кривичи и политическое или топографическое полочане, по имени кривичского центра, Полотска; но термин кривичи шире и он ближе означает восточную ветвь племени «иже седят на верх Волги и на верх Двины и на верх Днепра, их же град есть Смоленск». «Кривичьей» и позднее называлась, однако, преимущественно Полоцкая земля, хотя несомненен «кривицкий» характер населения и земель Смоленской и Псковской. И тут не столько «литовское» происхождение имени, на чем настаивает Середонин, сколько общая совокупность данных позволяют признать, что он прав, говоря: «кривичи» не было именем того племени, которое переселилось с юга на Западную Двину, а стали кривичи кривичами после и вследствие расселения на новых местах, сплотившись, вероятно, вокруг своего полоцкого центра, откуда колонизовали землю Смоленскую и Псковскую. Курганные древности XI в. в общем подтверждают культурное единство всех этих кривичей.

Для северноруссов ильменского бассейна даже летописец не сохранил особого племенного имени, они «прозвашася своим имением» — словене, а обособляющее их имя — политическое — новгородцы. Курганные древности обособляют их от кривичей. Середонин полагает, что «в бассейн Ильменя славяне перебрались раньше, чем ими было усвоено имя кривичей». Радимичей можно с А. А. Шахматовым рассматривать как восточнославянское племя, обособившееся на этнографической подпочве прежних ляшских поселений; их курганные древности выступают особым типом рядом с кривичскими и дреговицкими, с которыми перемешиваются в бассейне реки Сожа. Подобно вятичам, они резко отдельно выступают в позднейшей киевской традиции среди общей массы восточнославянских племен. Радимичи и вятичи всего ранее и прочнее втянуты в круг хазарской власти и хазарского влияния, а вятичи, собственно, в течение всего Киевского периода оставались почти вне течения общерусской жизни, а вступили определеннее в ее русло уже как этнографическая основа рязанских и иных южновеликороссов.

Наконец, северяне — выступ южнорусской колонизации за Днепр на восток, в бассейн Десны и Сейма, сохранили связь с за-

днепровскими родичами и плотно входят в состав Киевской Руси. И курганные древности северян «ближе всего напоминают предметы курганных насыпей юго-западной группы» (Спицын). Колонизуя Посулье, Посеймье, северяне растянулись на границах степи. Их особый характер и особые судьбы определились поселением в данных местах, а видеть в них этнографическую единицу, определившуюся в общерусской прародине, у нас нет никаких оснований.

Так рассмотрение тех представлений, какие мы можем иметь о древнерусских племенах, перечисленных в летописном обзоре, не только не противоречит шахматовскому определению состава восточного славянства по расселении из северно-, южно- и восточноруссов, но в общем вполне его подтверждает. Нет основания признать за этими «племенами» сколько-нибудь коренное, определенно выраженное значение особых этнографических единств. Они — продукты группировки населения по определенным местностям, частью вокруг определенных культурно-политических и, вероятно, культурно-экономических центров. Такая группировка, конечно, должна была привести к усилению тех или иных этнографических и культурных, а в дальнейшем и языковых (диалектических) отличий, но сама-то эта группировка возникла в процессе расселения в VII — VIII, частью, быть может, и IX в., оказалась недолговечной и неустойчивой, так как дальнейшие судьбы восточного славянства определили поглощение зародившегося племенного быта новыми культурными и политическими влияниями, которые не дали ему устояться, а разрушали и перестраивали на новые лады.

Эти наблюдения по вопросу о древнерусских племенах наводят на определенные выводы относительно самого характера восточнославянского расселения. Середонин ставит вопрос: «Как двигались славяне?» — и отвечает: «Они могли двинуться большими родовыми (я предпочел бы сказать — племенными) союзами; такие союзы прокладывали себе путь среди сравнительно слабо населенной страны до тех пор, пока не находили новых удобных и безопасных мест. Могли славяне брести и в одиночку, отдельными семьями или значительно меньшими группами, чем племена; вся позднейшая, с X по XI вв., колонизация происходит именно этим последним способом, т. е. славяне как бы просачиваются в окружавшую их инородческую среду». Середонин допускает возможность отдельных примеров и первого рода переселений: таковы, может быть, движение угличей на север, передвижения вятичей (Середонин называл и радимичей, но тут речь может итти разве о движении ляшского племени, смешение с которым дало позднейших радимичей). Но полагает, что «главной особенностью славянской колонизации всегда была «ползучесть» ее: сравнительно небольшими группами, часто отдельными семьями славянские племена расползались по великой Восточноевропейской равнине. Вследствие этого постоянно изменялась граница Русской земли, распадались прежние союзы; на их место образовывались новые, которые уже нельзя считать союзами лиц, связанных единством происхождения».

Таким представлением о «главной особенности славянской колонизации» объясняется отмеченная мной недолговечность, неустойчивость племенных группировок, объясняется и самый характер племенных имен, где так ясно преобладают термины либо топографического либо политического происхождения. Объясняется им и многое в древнейшем укладе восточнославянского быта: дробность поселений, преобладание так называемого «задружного быта», незначительность каких-либо следов сколько-нибудь крупных «родовых» союзов, какие, вероятно, существовали в славянской «прародине», а, может быть, и в «общерусском» доисторическом периоде, и либо сохранились, либо заново возникли, например, у южных славян (сербов, хорватов).

Основными результатами расселения восточных славян были: 1) распадение «общеславянского единства»; 2) разрушение какого бы то ни было единства племенной жизни восточного славянства, в частности «разрушение единства языковой жизни раздробившегося племени»: русские племена так далеко разошлись друг от друга, что не может быть речи о единой общей жизни русского языка в IX — X вв. (Шахматов); языковое единство это «существовало уже только в прошедшем», на смену ему явилось развитие местных отличий, все нараставших; «потребовались неимоверные усилия, — пишет Шахматов, — и труды не одного поколения, прежде чем создались такие условия, которые объединили эти племена в одной общей государственной и культурной жизни», а в частности то, что все восточное славянство в своей языковой жизни еще раз пережило ряд явлений, общих всем его наречиям и говорам в XI — XII вв.; «но эти новые объединяющие условия, имея против себя, во-первых, различия, создавшиеся в прошлом, во-вторых, местную обособленность, питаемую разнообразными факторами, уже не могли привести этнографическую, в частности языковую жизнь русского племени, к сколько-нибудь полному единству»; 3) вступление восточного славянства в ряд новых и весьма сложных международных экономических и культурных отношений, которые не замедлили вывести его племенную жизнь на совсем новые пути исторического развития.

ГЛАВА IV

РУСЬ И ВАРЯГИ

В одной из своих статей А. А. Шахматов как-то выразился так: «Русская история начинается спешным отступлением восточных славян перед напором азиатских кочевых орд» [1]. Действительно, к первым страницам этой истории надлежит отнести возобновление «азиатской опасности» в черноморских степях. В начале IX в. движение угров (венгров) потрясло положение юго-восточных и южных черноморских славянских поселений. Угры — ветвь восточных финнов (родственных вогулам и др.), спустившаяся к югу, в бассейн верхнего Дона. Тут долгое общение с хазарами, затем борьба с печенегами ввели их в круг турецкой культуры и сильно их отуречили. В современном венгерском языке исконная финская основа обросла множеством «тюркизмов», как и в народном типе и характере оказалась сильная примесь турецкой крови и турецких влияний. Подчинившись хазарской власти, угры участвуют в хазарских войнах, особенно в напряженной борьбе с печенегами, кочевавшими на восток от Волги, у Яика, в самых «воротах народов». Теснимые узами (торками), печенеги, наконец, прорвали хазарско-угорскую плотину и к концу первой четверти IX в., согласно Вестбергу, потеснили угров с Дона. Угры отступают перед ними сквозь черноморские степи. В середине IX в. видим их в Крыму, затем дальше к западу — за Днепром и в западном Черноморье, где их напором оттеснены угличи и тиверцы на север, вероятно, и поляне (летописец вспоминает о проходе угров мимо Киева, чем остроумно, но едва ли правильно поясняет название Угорского урочища под Киевом). Под 862 г. Гинкмар Реймский поминает в своей хронике уже первое нападение венгров на владения Людовика Немецкого.

Уход угров с Дона — тот момент, к которому А. А. Шахматов относит движение вятичей на Дон, его верховья и вниз по Дону, в области, оставшиеся за хазарами. В 30-х годах IX в. каган и бек хазарские обратились к императору Феофилу с просьбой прислать им искусных строителей для укрепления границы против кочевников. Византийский инженер Petronas выстроил крепость

---

[1] Взгляды А. А. Шахматова сведены в его позднейших работах: «Введение в историю русского языка», I, Птгр. 1916, и затем «Древнейшие судьбы русского племени», Птгр. 1918.

Саркел на Дону в 835 г., причем арабские источники (Ибн-Ростэ) сообщают, сверх того, о целой системе укреплений: хазары, по преданию, дошедшему до Ибн-Ростэ, окружили себя валом из-за опасности от угров (мадьяр) и других соседних народов (печенегов).

Эти события — движение угров и особенно прорыв печенежских орд за Дон — нанесли сильный удар хазарскому владычеству, но не разрушили Хазарского царства. Повидимому, печенеги только обошли с севера ядро Хазарского царства и, тесня угров, прошли по их следам в черноморские степи [1]. В их тылу уцелело Хазарское царство, сохранив под своей властью данниками вятичей и радимичей до времен Святослава. Но события эти должны были глубже изменить положение южного Поднепровья. Угличи, тиверцы, поляне отступают из степи в лесные области. Их зависимость от хазар и раньше едва ли выходила за отношения случайных данников. Теперь они вовсе оторваны от связей с хазарским центром, предоставлены сами себе перед лицом крупной опасности. Угорская буря прошла мимо, на запад. Печенеги остались близкими соседями. Такова обстановка первого момента самостоятельной политической истории Киева — появления на юге новой, варяжской княжеской власти, полулегендарных Аскольда и Дира.

Этот момент приводит нас вплотную к так называемому «варяжскому» вопросу. Отсутствие твердых и несомненных данных для восстановления сколько-нибудь полной фактической истории восточного славянства за IX и начало X в. дало широкий простор разнообразным построениям по вопросу о «происхождении Руси». Появилась «норманская теория», против нее «теория антинорманнистов», а затем пошел ряд «теорий», до самых фантастических. История борьбы этих теорий и их методологический анализ — весьма любопытные страницы в истории нашей науки; но им место в русской историографии, а не в специальном курсе по истории Киевской Руси. Научный результат этой полемики — в выяснении круга источников для древнейшей истории восточных славян и их тщательном анализе.

Для моего изложения исходным пунктом будет тот момент, когда с падением хазарской силы варяжский элемент получает руководящее значение в судьбах Восточной Европы. Но для выяснения этого момента нельзя не отступить немного назад и не оглянуться на праисторию этого скандинавского элемента в восточнославянских отношениях.

Первый книжник, построивший свою «теорию» «происхождения Руси» на соблазн грядущим исследователям, был составитель «Повести временных лет». Он отождествил русь с варягами, счел ее одним из северногерманских племен. На что он опирался? Повидимому, дошла до него какая-то традиция о том, что «русь»—название норманнов. Была ли это своя, туземнославянская, традиция или он почерпнул ее из византийского источника, так как

[1] *Голубовский*, Печенеги, торки, половцы до нашествия татар, Киев 1884.

греки хорошо знали этих россов, мы не знаем; последнее, пожалуй, даже вероятнее. Но дело в том, что эта традиция была, по существу, правильна. Из всех предложенных объяснений самого слова «русь» на научное значение может претендовать только его производство от финского названия Ruotsi, которое обращается в русь при переходе в славянскую речь, по общему фонетическому закону финно-славянских языковых отношений, подобно тому как, например, Suomi перешло в Сумь.

Заимствование названия для скандинавов из финского языка свидетельствует о том, что восточные славяне узнали их через посредство финнов, т. е. в то время, когда сидели на юге, отделенные от прибалтийского края финскими поселениями, стало быть, во всяком случае ранее продвижения севернорусcов в бассейн Ильменского озера. Это указывало бы на VIII в. или начало IX в. Само происхождение финского названия Швеции Ruotsi, а шведов Ruotsalainen, нельзя считать выясненным. Были попытки связать его с шведским словом rodsmen, rodskarlar — гребцы, мореходы (Томсен); рыбачьи артели северной Норвегии и теперь называются Rossfolk. Но Шахматов не считает исключенной возможность, что финны перенесли на шведов название прибалтийских пруссов, знакомых им по древнему, доисторическому соседству. Эти древнейшие выходцы из Скандинавии проникали, стало быть, в среду южного населения, славянского, через финские области и сохранили имя русь на юге, где так их звало местное население. «Русь — это древнейший слой варягов, первые выходцы из Скандинавии, осевшие на юге России раньше, чем потомки их стали оседать на менее привлекательном лесистом и болотистом славянском севере», — говорит Шахматов. Арабам и византийцам эта русь VIII — начала IX вв. известна раньше, чем на юге появляются варяги. Они знают ее в Черноморье и на Волге; эта русь организует своими и славянскими силами знаменитые набеги на Сурож и на Амастриду [1]. Имя руси срастается как политическое имя с южными областями восточных славян, что свидетельствует о ее крупной организационной роли.

Прежде всего этот вопрос о руси должен быть использован для определенных выводов о «доваряжской» эпохе. Как ни малочисленны твердые данные о доваряжской руси, их достаточно, чтобы противопоставить блестящей и прямо гениальной, но крайне неисторической конструкции Ключевского о вполне выработанном строе городов-областей в среде восточного славянства до появления на сцену скандинавских вождей с их дружинами. Эта конструкция, тяготеющая над нашей историографией, едва ли крепче обоснована, чем «призвание князей» Нестора-летописца. Предание о Руси, восстановленное нашим летописцем едва ли не по византийским сведениям, только искусственно связано с исто-

---

[1] *В. Г. Васильевский*, Русско-византийские исследования. Жития св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, СПБ 1893 и в «Трудах», т. III, Петроград 1915, стр. 1—CCXXXVII.

рией Новгорода. Быть может, прав Шеляговский, придавая для древнейшего времени наибольшее значение иным путям «из варяг в греки», чем позднейшие общеизвестные пути через Западную Двину в Днепровский бассейн и Волжский [1].

Как бы то ни было, в начале IX в. политическая жизнь восточного славянства выступает перед нами разбитой на два обособленных мира — южный, русский, и северный, варяжский. Южный втянут в круг византийских и хазарских отношений и под влиянием и руководством руси скандинавской выходит из глуши «племенного» быта на новые пути боевой и торговой международной жизни. А в то же время на севере — «имаху дань варязи из заморья на чюди, и на словенах, и на меси, и на кривичех». Утверждение славян в бассейне Ильменского озера и по Волхову до Ладожского озера вывело их через раздвинутую ими финскую массу на пути непосредственных сношений со скандинавами. Этих скандинавов они зовут уже так, как те сами себя называли, — варягами — varingiar. Так в историческое время звали скандинавы своих сородичей, которые служили дружинниками у русских князей и византийских императоров, от слова var — клятва, скреплявшая дружинный договор службы. Varingi — варяги — первоначально дружины скандинавов, приходившие в среду восточных славян со своими конунгами — викингами — князьями. По мнению Ф. А. Брауна, термин и возник-то в России, откуда перешел и к грекам (βαραγγοι) [2]. Начало движения скандинавов в Россию, на Восток и в Византию Браун относит ко второй половине IX в.; его причина — в политических и социальных переворотах, переживавшихся тогда скандинавскими народами и в частности именно шведами, а также условия восточноевропейской и среднеазиатской торговли, сулившей богатую наживу. «Многочисленные монетные и вообще археологические находки в России и Швеции косвенно подтверждают правильность летописного приурочения начала скандинаво-русской государственности ко второй половине IX в.». Эта формулировка Брауна приводит к заключению, что у него «начало движения скандинавов в Россию, на Восток и в Византию» совпадает с отмеченным в летописном предании началом скандинаво-русской государственности, которое, однако, едва ли было первым моментом этого движения. Я уже упоминал о том, что находки арабских монет в Скандинавии указывают на скандинавско-арабскую торговлю VIII в. Беда в том, что древнейшая шведская история еще темнее, чем наша русская. Письменных источников для нее вовсе нет, даже такого типа, как наша летопись. Скудные сведения добываются путем анализа саг, часто спорного; некоторое знакомство с этим материалом дает К. Ф. Тиандер [3]. Рунические надписи дают лишь поздние сведения о русско-скандинавских отношениях, так

---

[1] *Szelagowski*, Najstarsze drogi z Polski na wschod w okresie bizantynsko-arabskim, 1909.

[2] «Варяги» — в Русской энциклопедии, изд. «Деятель», т. 4.

[3] *К. Ф. Тиандер*, Поездки скандинавов в Белое море, СПБ 1906.

как «обычай ставить надгробные надписи получил в Швеции широкое распространение лишь с начала XI в., когда массовый наплыв варягов в Россию уже прекратился» (Браун). Эти надписи говорят лишь об отдельных авантюристах со времен Игоря до средины XII в. и ничего не дают для того «раннего варяжского периода, когда скандинавы селились в России сплошными группами». След такого поселения Браун видит в Гнездовском могильнике Смоленской губ. (до 500 погребений IX—X вв. на курганном поле версты в 4 длиной; бо̀льшая часть вещей — скандинавские; но есть и чисто восточные, а утварь славянская; господствующее мнение считает гнездовские курганы славянскими, но под сомнением, более крупные курганы). Возникновение «скандинаво-русской государственности» на севере могло дать толчок и опору более широкому «движению варягов в Россию, на Восток и в Византию», но для начальной истории восточного славянства важно было бы хоть несколько выяснить иную стадию отношений — господства скандинавов на Балтийском море, ранний захват ими Финляндии, их движение по Западной Двине, вероятно, и по Висле, которое создало раннюю роль скандинавского элемента на черноморском юге (русь) и в западнославянских землях [1]. Мы видели, что Шахматов отодвигает эпоху этого господства скандинавов на Балтийском море и их организующего влияния на население восточных берегов Варяжского моря ко временам еще «первой», прибалтийской прародины славян. Затем это же скандинавское воздействие усилилось в эпоху, когда славяне передвинулись на юг, распались на три ветви и началось расселение восточных славян. Северноруссы, двинувшись к северу в кривицкие и ильменские области, уже тем самым втягивались в круг скандинавских влияний. Эту концепцию Шахматова очень трудно обосновать историческими и археологическими данными, потому что таких данных очень уж мало. Но историческая география говорит за нее, поскольку дело идет о скандинавах. Традицию торговых путей, далеко проникавших на север в эпоху скифскую, вероятно, и готскую, устанавливаемую на основании отрывочных намеков древних авторов, нельзя игнорировать. Великий волжский путь должен был быть очень древней торговой дорогой [2]. Все это еще область почти что непочатых историко-географических и археологических исследований. Но лишь весьма мнимая научная осторожность говорит за несуществование того, о чем у нас нет прямых свидетельств в письменных и вещественных памятниках. Эти вопросы глубокой древности правильнее считать открытыми.

К IX в. восточное славянство распалось на три ветви — южную, северную и восточную. На юге уже началась группировка южноруссов вокруг Киева в начале IX в.; строится ядро «Русской» земли силами южной руси. На севере — северноруссы объеди-

---

[1] *Szelagowski*, цит. соч.

[2] *T. J. Arne*, «La Suède et l'Orient, в «Archives d'études orientales», v. 8, livre 1, 1914.

няются вокруг Новгорода, хотя по северным преданиям, которые нашли себе место в Ипатьевской редакции «Повести временных лет», частью и в Новгородской I, — не Новгород, а Ладога (Aldoga) была первым центром варяжского княжения.

Усиленная деятельность в чужих странах вообще отличает историю скандинавов IX в. Брожение в скандинавских странах, потрясшее всю Европу походами викингов, началось в средине IX в. под влиянием роста монархической власти в ее суровой борьбе с местными племенными князьями. Особенно острой стала эта борьба в Норвегии при Хальфдане Черном и его сыне Гаральде II Харфагаре (Прекрасноволосом), который закончил объединение Норвегии после битвы при Хафрсфьорде в 872 г. Именно из Норвегии вышло много викингов, вождей дружинной завоевательной колонизации (тогда как позднейшие варяги рунических надписей и Ф. А. Брауна — почти исключительно шведы); не даром сага о Гаральде Норвегию назвала Варангией. Эмиграция норвежцев с их викингами хлынула на Оркадские острова, на Гебриды, в Шотландию и Ирландию; в 860 г. норвежцы открыли Исландию, в 870-х годах начали ее заселять; к 862 г. относится их набег на саксов, в 870 г. начались их поездки в Белое море (в Биармию — Пермь)[1]. В X в. они громят Францию, поднимаясь вверх по рекам, так что в латинской литургии появилось «libera nos, domine, a furrore normannorum»[2]. В XI в. норманны появляются в Сицилии и южной Италии.

В параллель этому западному направлению норманских набегов, развивается варяжское движение на восток и на юг Восточной Европы. Вполне естественно, что в южных известиях — византийских и арабских — варяги, новые выходцы с севера, слились с русью, давно знакомой. Просвещенные арабы и греки легко их отождествляли по языку и типу. Весьма вероятно, что это отождествление отразилось и на воззрениях русского книжника-летописца. Но и византийцы и арабы имя русь связывают с Черноморьем, с южными областями. Арабы и северных варягов зовут русью, хотя знают и в ряде известий ясно указывают на связь имени русь именно с черноморским югом, а в то же время знают, что на север от славян простирается Варяжское море, Бахр-Варанк (Ал-Бируни, 973—1038 гг.), и что «варанк — имя народа, живущего на его берегах». Отсюда перебои их терминологии и некоторая спутанность — не для них, а для нас — содержания их известий, относятся ли эти известия к югу или к северу.

Те события, которые относятся к так называемому «происхождению русского государства», только одна из страниц, хотя и важнейшая, истории деятельности варягов в Восточной Европе. Знаем из арабских источников ряд фактов, где играют роль русь и варяги, которые стоят в то же время вне связи с рассказами нашей лето-

---

[1] *К. Ф. Тиандер*, Поездки скандинавов в Белое море, СПБ 1906; *Bugge-Hungerland*, Die Wikinger, Halberstadt 1906.

[2] «Избави нас, боже, от ярости норманнов».

писи и вне связи с событиями истории Киева. В известиях этих, по указанной особенности арабской терминологии, мы не всегда умеем различить, что относится к южной руси, что к северным варягам [1]. К тому же надо иметь в виду и другую особенность арабской терминологии. Подобно тому как греки «скифами» называли всякое население северного Черноморья, например, готов и позднее русских славян (ср. в летописи: «придоша от Скуфь, рекше от Козар» или «Улучи и Тиверци... да то ся зваху от грек Великая Скуфь»), так и арабы часто называют славянами (сакалиба) вообще северные народы Европы, не гоняясь за точными этнографическими подразделениями. Наконец, кроме этих терминологических причин смешения руси, варягов и славян во многих известиях южных писателей, надо иметь в виду, что варяги проникая на юг, и реально, действительно смешивались с русью, что слово «русь» связалось прочно с организациями, которые пришлой русью созданы в славянской среде, что термин варяги означал у самих скандинавов те их дружины, которые оседали в среде восточных славян. А ведь известия арабов и византийцев идут от тех времен, IX — X вв., когда эти явления стали заметно определяться в восточнославянской стране. В сознании киевского книжника-летописца эти обстоятельства отложились, пожалуй, очень характерно, когда он пишет, что «новугородьчи ти суть людье новогородьци от рода варяжска, преже бо беша словене», хотя знает, что по славянским городам «суть находници варязи», или пишет, что у Олега, когда он с севера на юг пришел, были в войске варяги и словене, а в Киеве — «прозвашеся Русью».

Старшее известие о Руси идет с Запада и относится к 30-м годам IX в. Это рассказ так называемой Бертинской летописи о том, как в мае 839 г. к императору Людовику Благочестивому в Ингельгейм прибыло посольство от византийского императора Феофила с людьми, «qui Rhos vocari dicebant [2], а к Феофилу они прибыли в 838 г., присланные от своего царя, которого называли хаканом. По расспросу оказались они de gente Sueonum [3] и цель прибытия своего объяснили так, что де желают вернуться домой через владения Людовика. Западный император отнесся к ним весьма подозрительно, полагая, что это шпионы. И, кажется, он был прав. Шахматов пользуется этим известием, чтобы сделать вывод, что «...русь в то время сравнительно только недавно утвердилась в южной России и что она была озабочена обеспечением себе связи с далекими родичами». Объяснение же этой руси, что она не отправи-

---

[1] *Д. Хвольсон*, Известия о хозарах, буртасах, булгарах, мадьярах, славянах и руссах Ибн-Даста, СПБ 1869; *Гаркави*, Сказание мусульманских писателей о славянах и русских, СПБ 1870; *А. А. Куник* и барон *В. Розен*, Известия Ал-Бекри и других авторов о руси и славянах — в приложениях к «Запискам императорской Академии наук», т. XXXII, кн. 2, СПБ 1879; *Фр. Вестберг*, К анализу восточных источников о Восточной Европе, «ЖМНПр.», февраль и март 1908.

[2] «которые про себя говорили, что зовутся рос».

[3] «родом шведы».

лась домой прямым путем на север «по причине опасностей, которые угрожали со стороны варварских и свирепых народов», Шахматов принимает за указание на определенный факт, состоявший в том, что «путь по Днепру» для них закрылся из-за вражды восточных славян. Я бы не решился подтвердить эти объяснения, осложненные у Шахматова представлением о целых «полчищах» скандинавов и даже «несметных полчищах северноруссов и финнов, предводительствуемых скандинавами». Эти количественные гиперболы — большой недостаток изложения у Шахматова.

Рассказ Бертинской летописи соблазняет скорее на сопоставление с другими текстами, подтверждающими, может быть, подозрения императора Людовика. Это тексты, важные для истории того пути вокруг Европы из Черноморья на скандинавский север, которого искали руссы в 839 г., выдавая себя за послапцев «хакана». Ибн-Хордадбе, большой знаток торговых путей — по должности начальника почт в Джебале (области древней Мидии), — составил в 80-х годах IX в. свою «Книгу путей и царств», где сообщает, между прочим, о купцах евреях, которые ездят для торговли с дальнего Запада на Восток — либо через Германию и славянские земли в Итиль и далее, либо по «Западному морю» — из южной Франции. А в X в. (976/977 г.) Ибн-Хаукаль сообщает о набеге варяжской вольницы в 969 г. на Поволжье (варяги), которая разграбила Булгар, Хазеран, Итиль, Самандар, а после того «отправилась в страну румов (Византию) и в Андалуз», т. е. в Андалузию, Испанию. Через Средиземное море руссы отправились с богатой добычей восвояси, быть может, для попутной торговли ею; «словами Рум и Андалус Ибн-Хаукаль намечает направление возвратного пути руссов», правильно замечает Вестберг. В 843/844 г., по сообщению Ахмеда аль Якуби («Книга стран», 891/892 г.), руссы напали на Ал-Джезир (Альхесирас — гавань в Гибралтарской бухте) и разграбили Севилью. Эти сопоставления придают, кажется, особую значительность сообщению Бертинской летописи. Оно отметило любопытный момент в истории европейских путей и первые шаги на нем скандинавов. Напомню, что 30-е годы IX в.— это время, когда скандинавский мир впервые раскрывается для Западной Европы, объединенной в монархии Карла Великого и еще сохранившей свои «имперские» тенденции. Из недр франкской церкви выходит первый апостол шведов — Ансгар, который в 830 г. совершил поездку в Швецию, а в 831 г. посвящен в архиепископы гамбургские, и его архиепископия — центр северной миссии. Житие Ансгара упоминает о нападениях норманнов на Курляндию и о взятии ими «славянского города» (по предположению Куника — Полоцка). Из учредительной грамоты гамбургско-бременской епархии (864 г.) видно, что папская курия (Николай I) уже тогда помышляла о распространении ее миссии и пастырской власти на всю Восточную Европу, включая и Русь. Так в этих известиях смыкается тот кружно-европейский путь, который не упустил наметить и наш книжник-летописец: «из Руси по Двине в варяги, из варяг до Рима, от Рима же и до племени хамова» и далее «Ондрею учаще

в Синопии и пришедшу ему в Корсунь, уведе яко ис Корсуня близь есть устье Днепровское и восхоте поити в Рим и проиде в устье Днепрьское, и оттоле поиде по Днепру горе... и приде в словени, идеже ныне Нов город, ... и иде в варяги и приде в Рим... и быв в Риме, приде в Синопию», — две схемы варяжских «периплов» [1].

При таких общих исторических и историко-географических условиях понятно, насколько скандинавские элементы деятельно участвуют в судьбах Восточной Европы. Но целый ряд вопросов, связанных с этим, поддается хоть какому-либо выяснению с чрезвычайным трудом, да и то результаты работы получаются весьма спорные и сомнительные.

Прежде всего, верну на минуту ваше внимание к так называемой Руси. Построение представления о южной черноморской руси явилось первоначально под давлением хронологических недоумений. В старых спорах норманнистов с антинорманнистами (Куник и Погодин против Гедеонова), отчасти и в позднейших (Васильевский-Иловайский) играло роль и то соображение, что русь действует на юге ранее 862 г. — пресловутого года призвания варяжских князей (нападения на Амастриду до 842 г. и на Сурож в первой четверти IX в., 838 г. Бертинской летописи, поход на Византию 860 г.). Важнее — близкая связь имени русь с черноморским югом; оно здесь «туземно», не на севере. Это соображение в связи с лингвистическим объяснением имени русь лежит в основе выводов и А. А. Шахматова. Прикидывая свои построения к историческим событиям, А. А. Шахматов представляет себе, что первое движение скандинавов на юг надо отнести к 30-м годам IX в., — это и была Русь: «под этим именем их узнали и южная Россия и херсонесские греки, и Византия». Вот и все. Попытки построить некоторые представления о черноморской руси по арабским свидетельствам ничего надежного не дают от времен Гедеонова и Куника до недавних статей Пархоменко, и кому охота разбираться в этих попытках, тот пусть исходит из критических этюдов Вестберга [2].

Вторую волну скандинавских выходцев, варягов, А. А. Шахматов относит к середине IX в.: это «утверждение варягов в Новгороде, Изборске, Полоцке, Белоозере и Ростове». Мотив «призвания» не подлежит исторической оценке. Это—мотив литературный, и, как ни слаба работа Тиандера «Скандинавское переселенческое сказание», она дает полезный свод материала, освещающего его как «перехожий» мотив, встречающийся у разных германских племен [3]. Часть северных варягов пошла на юг, к Византии. Шахматов считает удачной догадку книжника-летописца, который, прочитав

---

[1] Лавр., стр. 6—8.

[2] *С. Гедеонов*, Варяги и русь, 2 тома, СПБ 1876; *А. А. Kunik*, Die Berufung der schwedischen Rodsen durch Finnen und Slaven, 2 B-de, S.-P. 1844/45; *Вл. Пархоменко*, Начало христианства на Руси. Очерки из истории Руси IX—X вв., Полтава 1913 (Автор вернулся к этим вопросам в своей последней работе «У истоков русской государственности», Лгр. 924.) *Фр. Вестберг*, цит. соч.

[3] *К. Ф. Тиандер*, Датско-русские исследования, вып. III, СПБ 1915.

у византийцев рассказ о нападении руси на Царьград в 860 г., связал его с именами варяжеских князей Киева — Аскольда и Дира. 18 июня 860 г. русь на 200 судах появилась под стенами Византии, когда император Михаил отсутствовал: был в походе против арабов. Михаил успел вернуться по вестям о новой опасности, и руссы были отбиты. Позднейшие разсказы приурочили сюда сказание о чуде ризы влахернской божьей матери, которое раньше относилось к нападению аваров в 626 г. Рассказ этот — о нападении руси и чуде — попал в наши летописные своды: в Новгородский I — под 854 г., и в Лаврентьевский — под 866 г., тут уже с именами Аскольда и Дира.

Это первое известие о походе руси на Царьград, который произошел после нескольких экспедиций по Черному морю в первой половине IX в. Ему придают особое значение свидетельства, что тогда у руси уже была организованная военно-политическая сила, что поход этот исходил из молодого южнорусского государства. Толкование этих известий у Шахматова стеснено тем, что он сохраняет указание «Повести временных лет», что Аскольд и Дир были варяги. Если строить на этих обрывках определенное представление, я предпочел бы признать их вождями руси (не варягами) и принять другое указание старого книжника-летописца, что варяги и словене назвались на юге русью при Олеге, когда и возникло в Киеве варяжское княжество на смену старому, русскому. Тогда хоть больше времени останется для укоренения имени русь на киевском юге. И 30-е годы IX в.,—может быть, слишком поздняя дата для появления руси на юге: ведь нападение на Сурож относят к первой четверти IX в. Правильнее признать, что нет у нас надежных оснований датировать это явление десятилетиями. Сами предания об Аскольде и Дире дают основание усомниться в их «парности». Текст «Повести временных лет» о их гибели от руки олеговых воев дает основание их разделить: «И убиша Аскольда и Дира и несоша на гору, и погребоша и (единственное число) на горе, еже ся ныне зовет Угорское, кгде ныне Олмин двор; на той могиле (единственное число) поставил (кто?) церковь св. Николу; а Дирова могила за святою Ориною». Ценимое историками известие араба Масуди, что в царство славянского князя ал-Дира ездят с разными товарами мусульманские купцы, сильно подрывается тем, что этого ал-Дира Масуди считает своим современником, а сам он был современником Игоря. Царство ал-Дира, по Масуди, — восточный сосед Чехии Вячеслава, и может быть признано киевским, тем более, что тогда, повидимому, чехи и Краковом владели. Вестберг поправляет имя ал-Дир на Ингир — Игорь, но остается имя, хоть и поставленное не на месте. Таковы шаткие намеки, всего смелее использованные Грушевским, чтобы признать Аскольда — вождем похода 860 г., а Дира — позднейшим князем, жертвой Олега. Какой-либо «точности» сведений тут и не добьешься. Но как бы то ни было в деталях, само известие о походе 860 г. — крупная черта в истории Черноморья и Византии, выступление новой исторической силы. И византийцы это сразу оценили. Патриарх Фотий в по-

слании (окружном) 866—867 гг. представляет последствия этого эпизода совсем удивительно: патриарх заявляет, что не только болгаре променяли прежнее нечестие на христову веру, «но даже и многими многократно прославленные и всех оставляющие за собою в жестокости и злом убийстве так называемые τὸ Ῥῶς, которые, поработив находящихся кругом себя и отсюда помыслив о себе высокое, подняли руки и против Римской державы, — в настоящее время даже и эти променяли языческое нечестивое учение, которого держались прежде, на чистую истинную веру христианскую, с любовью поставив себя в ряд подданных (ὑπηκόων) и друзей наших, вместо того чтобы нас грабить с великой против нас дерзостью, как прежде, и до такой степени разгорелись в них желание и ревность веры, что они приняли епископа-пастыря и святые обряды христиан с великим усердием и ревностью».

Фотий был патриархом цареградским во время набега руси. Он произнес два «слова» по поводу этого нападения, где весьма ярко и патетически изобразил русские зверства; варвары истребляли все мирное население, избивали даже скот и птицу. Рассказ о набеге руси и чудесном их отражении внесен в источники наших летописных сводов — хронику Амартола и Палею. В житии патриаха Игнатия, составленном Никитой Пафлагонянином, сообщаются еще некоторые сведения, относящиеся, повидимому, к тому же набегу: в 860 г. «злоубийственный скифский народ, называемый ῥῶς, через Эвксинское море прорвался в залив, напал на остров Теревинт (у Синопа), опустошил всю местность и все монастыри, разграбил всю утварь и деньги, умертвил всех захваченных ими людей».

На этот раз набег вызвал острую панику, но миновала опасность, и надо было подумать о предотвращении ее повторений. В. И. Ламанский весьма остроумно связывает с впечатлениями 860 г., которые «не могли не заставить задуматься светские и духовные власти Царьграда», последовавшие сношения их с хазарским каганом и миссией св. Константина-Кирилла в Крым и Хазарию — в конце 860, начале 861 г. [1]: Русь втягивалась в тогдашнюю мировую политику. Ламанский считает не случайным совпадение ее набега с арабской войной. Арабы, воюя с Византией, подымали на нее северных врагов. В житии Константина-Кирилла послы от хазар сообщали Византии, что «срацыны» склоняют их к своей вере и союзу, «мир дающе и дары многи стужают». Слишком смелым и вовсе не обоснованным кажется предположение Ламанского, отождествляющего этих «хазар» с русью, а посольство «от руси Аскольдовой», но общая связь отношений, может быть, им верно угадана.

Для Византии остро ставился вопрос о замирении варварского севера. Греки ищут содействия хазар для сдержки руси, но Хазария уже слишком ослаблена прорывом печенегов. Назревает поэтому другой план, другая программа, чреватая крупными последствиями.

[1] *В. И. Ламанский*, Житие св. Кирилла, как религиозно-эпическое произведение, «ЖМНПр.», апрель — июль, декабрь 1903 и январь 1904.

Она отчетливо намечена в «Окружном послании» Фотия. Факты, о которых он говорит, не внушают доверия, если понимать буквально риторически расписанную картину миссионерских успехов греческой церкви на севере. Исторических следов от этих «успехов» во всяком случае не осталось. Но и помимо фактической точности слова Фотия ценны: они намечают характерную для будущего программу. Эта «программа» исходила из средневекового воззрения на империю, как на единое и притом вселенское христианское царство. Поэтому как в западной империи Карла Великого, так и в восточной, Византийской, распространение христианства неразрывно связывалось с расширением пределов самой империи и подчинением ее власти, не церковной только, но и светской, императорской, всех «варваров», которые примут христианство и войдут в состав вселенской церкви. Водворение в варварских странах христианской религии и церковной иерархии подчиняло их культурному воздействию и политическому влиянию Византии. Ее культурно-религиозное миссионерство было постоянно связано с определенными политическими целями. Вся эта церковно-политическая деятельность империи по отношению к варварскому миру на Западе приняла завоевательный характер; там меч прокладывал путь кресту и обеспечивал ему успех, а империя, покоряя разрозненные силы варваров, организовывала их по-своему, втягивала их в свой политический строй и в свою культурную жизнь. Византии такое вооруженное воздействие на варваров востока Европы было не по силам; она еле защищалась от арабов, славян, руссов. Обеспечить по возможности северный фронт империи предстояло, по мысли византийских политиков, культурно-религиозному миссионерству. Но оно могло дать сколько-нибудь определенные церковные и политические результаты только при том условии, чтобы этот варварский мир стоял перед Византией уже организованным, вышедшим из хаоса бурных племенных передвижений. Повидимому, Фотий таким его перед собой и видел, хотя, очевидно, сильно преувеличил самую возможность прочных успехов церковно-политического воздействия на него, преувеличил потому, что представил себе его более прочно сорганизованным, чем оказалось на деле.

Днепровской Руси предстояло пережить еще ряд потрясений, связанных с движением на юг варягов, раньше, чем она сложится в большое восточнославянское государство и войдет в устойчивые отношения к Византии.

Так и немногие конкретные данные и общие соображения склоняют историков к признанию, что к 860 г. уже существовало на юге, с центром в Киеве, русское княжество. В то время, надо полагать, на севере уже водворились варяги — их центральным пунктом была, повидимому, Ладога, затем Новгород.

Проблема образования Киевского государства сводится при таких условиях к вопросу, когда и как пришли в политическую связь юг и север, когда и как объединились под властью Киева все города по великому водному пути из варяг в греки, начиная с Новгорода Великого. Установление этой связи — дело «варягов».

Но о их деятельности наша летопись сохранила лишь неполную, ненадежную, искаженную домыслами и легендами традицию, византийские источники ничего не дают, а арабы много путают. Однако кое-что надо у них взять, что более ясно, отделяя относящееся к Киеву от тех известий о варягах, которые не имеют прямой связи с киевской историей.

Вестберг и Маркварт, изучая арабских писателей, пришли независимо друг от друга к выводу, что те пользовались для ряда известий о руссах и варягах (которых не различали) первоисточником, составленным во второй четверти IX в. [1] Из этих известий; Вестберг удачно извлекает древнейшие сведения о варягах в Новгороде. По помянутому первоисточнику IX в., Ибн-Ростэ, Мукадесси, Гардизи сообщают, что русь живет «на острове, окруженном озером»; отсюда она совершает набеги на славян и живет тем, что от них добывает; своего хозяйства не ведет, пашен не имеет, а на кораблях совершает набеги, захватывает полон и сбывает его болгарам и хазарам, захватывает в земле славян «полезные предметы» (например, меха) и ведет ими торговлю на Волге. Типичная «варяжская» торговля добычей. Но где же этот остров? Его многие крайне натянуто ищут у Азовского моря. Путь варягов — Волга, «река, которая течет к хазарам от руссов и впадает в море Хазарское» (Аль-Бекри), по ней народы, которые живут на ее берегах, везут к болгарам свои товары — меха собольи, горностаевы, беличьи и др. «Остров» руссов, по Вестбергу, тождествен с Holmgard'ом (что значит островной город) исландских саг, а так скандинавы называли Новгород «вероятно потому, что он лежал на острове (Holm), где Волхов выходит из Ильменского озера», — поясняет Томсен [2], а Куник отмечает полуостровное положение Городища, которое легко могло быть искусственно обращено в остров. Эти «руссы» арабов — ильменские варяги; речь идет о «заморских» варягах, которые брали дань, «от мужа по беле и веверици», «а иже бяху у них, то ти насилье деяху словеном, кривичем, мерям и чуди» [3].

Уловили арабы и другой момент, когда разбойничья торгово-промышленная колония варягов стала втягивать в организацию под своей властью местных славян и врастать в их среду: «много людей из славян приходят к руссам и служат им, чтобы этой службой обезопасить себя» (Гардизи).

Эти указания восходят к арабскому источнику второй четверти IX в., притом, быть может, к тому же источнику восходят указания тех же арабских авторов на Киев как столицу славян, резиденцию

---

[1] *Вестберг*, Цит. соч.; *Marquart J.*, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhundert, Leipzig, 1903.

[2] *В. Томсен* Начало русского государства, три чтения, с просмотренной автором немецкой переработки д-ра Борнеманна, перевод Н. Аммона — «Чтения императорского общества истории и древностей российских», 1891, кн. I и отдельно.

[3] «Новгородская летопись по синодальному харатейному списку», изд. Археографической комиссии, СПБ 1888, стр. 4. Дальше цитируется сокращенно — «Новг. I».

их южного князя. Руссов они знают только на севере. Для Вестберга — тут опровержение вообще представления о южной руси, особой от северных варяго-руссов. Для других — только условная особенность арабской терминологии.

И долго позднее видим независимое от юга, от Киева, и неведомое ему значение северного варяжского центра.

Ко второй половине, даже последней четверти IX в. относится знаменитое свидетельство Ибн-Хордадбе о русско-арабской торговле: «Руссы — а они из славянских племен — приходят из отдаленнейших областей Саклаба (страны славян) к Румскому морю и тут продают шкуры бобра, черной лисицы, а также мечи». Государь ромеев взимает с них десятину их товаров (добавление Ибн-аль-Факыха: «а затем идут по морю в Самакарш (Таматарху), город евреев (хазар?), и оттуда возвращаются в славянскую землю»). Это путь к Черному морю — видимо по Днепру — и по Черному морю в Таматарху. Но где же взимается императором ромеев пошлина? Вестберг предполагает в Херсонесе... Это путь руси.

Другой путь: «Или же руссы спускаются по славянской реке (Волге), проходят через Каммедж (одно из названий Итиля), столицу хазар, где владелец страны взимает с них десятину. Отсюда они идут в море Джорджана (Каспийское, специально — его юго-восточная часть) и пристают к любому намеченному ими месту берега. Ширина этого моря 500 парасангов. Иногда они перевозят свои товары из города Джорджана в Багдад. Здесь евнухи из славян служат им переводчиками». Это — южная часть того волжского пути, северная часть которого — от Ильмень-озера до Болгарии и Хазарии — намечена известием о северном «острове» руссов. Это — те «руссы», которых арабские писатели помещают, вполне так же, как наш автор «Повести временных лет», по «великому морю» рядом с саксами и англами (бен-Иосиппон), тогда как знают они и руссов по соседству с венграми и печенегами (Ибн-Якуб). Даже сведения о Скандинавии, Норвегии, арабы излагают как сведения о руссах. В 922 г. Ибн-Фадлан северных руссов-варягов встретил в земле болгар, куда они приезжали с товарами. Деятельная торговля велась скандинавами-варягами по Волге помимо связи с Киевом и после того, как спаялись края Днепровской Руси — Новгород с Киевом. Как днепровский путь из варяг в греки остался доступен варягам, которые ходили через Гардарики в Византию искать выгодной службы и торговых барышей, так и волжский путь не был им закрыт русской княжеской властью.

Нет достаточных оснований связывать с Киевской Русью ряд военных предприятий на востоке, о которых узнаем из арабских источников. Так в 70-х годах IX в. русь нападала на Абесгун (в юго-восточном углу Каспия). Около 925 г., по рассказу Масуди, флотилия руссов на 500 кораблях прошла в Азовское море и вверх по Дону и перебралась на Волгу, а тут, условившись с хазарским ханом о пропуске за обещание половины будущей добычи, вышли в Хазарское море, ограбили Гилан, Табаристан, Абесгун и «нефтяную страну», укрепились на острове близ Баку и вернулись с боль-

шой добычей, но в устьях Волги были перебиты мусульманскими войсками хагана. Ибн-Хаукаль писал в 70-х годах X в., как в 969 г. руссы разгромили Булгар, Итиль и Семендер, чем добили Хазарское царство, потрясенное перед тем победами Святослава, который отнял у них в 965 и 966 гг. власть над вятичами, ясами и касогоми. Эти выступления варяжской силы на Волге, идут ли они с Черного моря или с верховьев Волги, независимы от деятельности киевских князей, с которой насильно их связывают некоторые историки.

Как ни отрывочны, а часто и не совсем ясны, а в толкованиях — спорны все эти известия о деятельности скандинавского элемента в ранней истории Восточной Европы в IX и X вв., они дают один общий результат, который нельзя не признать существенным. Именно — вывод о большой энергии этой деятельности, торговой и боевой; Восточная Европа прорезана рядом путей, по которым варяги проходили то мирно, то бурно, будоража местную племенную жизнь, втягивая местное население в более сложные международные отношения.

За этим полулегендарным и героическим периодом варяжства последовал иной, когда тот же элемент, прочнее оседая на новых местах, получил уже иное значение — не бродила только, а организующей силы. Образование русского княжества было одним из ранних явлений того же порядка, как позднее образование норманского герцогства на севере Франции (911) или норманских владений в южной Италии. И всюду норманны быстро втягивались в местную культуру, становились итальянцами в Италии, французами в Нормандии, ославянивались на Руси.

ГЛАВА V

ПЛЕМЕННОЙ БЫТ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН И ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЛАСТЕЙ

Ранние судьбы восточного славянства так сложились, что прочно его поселения утвердились в лесной полосе Восточноевропейской равнины. Попытки колонизационного продвижения в степную полосу не дали прочного результата. Напротив, «борьба со степью» — с господствовавшими там кочевниками — основная черта исторической жизни южной Руси за длинный ряд столетий с первых же моментов истории Киева.

Лесная область, как известно, в Приднепровье спускалась к югу, захватывая окрестности Киева, про который летописец говорит, что около него был «лес и бор велик». Далее к востоку эта полоса леса постепенно отступала в северном направлении, пока у Волги не подходила приблизительно к устью Камы. Южнее простиралась луговая полоса, плодородная, с частыми перелесками, а дальше к югу — открытые степи. Народный быт восточного славянства определился его связью с хозяйством в условиях страны, обильной лесом и водой лесных озер, болот и многоводных рек. Экономический быт издревле и надолго характеризуется большим значением лесных и водных промыслов — звероловства, охоты, рыболовства, бортничества, наряду с трудным и менее благодарным подсечным земледелием. Эти общие условия в значительной мере определили формы колонизационного процесса и расселения славян на новых территориях. Надо признать с Середониным, что главной особенностью славянской колонизации была ее «ползучесть», что славяне двигались небольшими группами, часто отдельными семьями и небольшими союзами. Во всяком случае, так они расселялись по берегам рек и речек, озер и по лесным «островам». Расселение слишком крупными поселками было невозможно в данной обстановке. Первобытные приемы эксплоатации природных богатств требуют сравнительно значительного пространства для каждого хозяйства. Переселенческие группы восточного славянства должны были занимать округа, весьма широкие сравнительно со своим количественным составом, разбрасывая по ним свои отдельные поселки. Но и каждый поселок не мог быть особенно людным. Однодворное и малодворное (2—3 двора) «село» с прилегающими отвоеванными

у леса новинами-деревнями, бортными и иными лесными ухожьями, «куда топор и соха ходили»,—надолго типичная единица славянского народного хозяйства и поселения. Но, с другой стороны, трудная задача подъема новин в лесных местах, такие промыслы, как охота на пушного зверя и рыболовство, не допускали чрезмерного дробления сил, рассеяния и бытованья так называемыми «индивидуальными» семьями, т. е. малыми семейными группами, — из отца и матери и детей. Условия хозяйства предопределяли не только известный максимум, за который не мог переходить размер поселка, но и определенный минимум рабочих рук, ниже которого трудно было обойтись. Таковы условия, которые поясняют, почему древнейшее расселение в странах такого типа, как лесная полоса Восточноевропейской равнины, не знает людных сел с десятками дворов, а дробные односемейные поселки знает разве как исключение, неустойчивое и преходящее.

Византийцы отметили это отсутствие у славян крупных поселений. Прокопий (VI в.) изображает их жилье в жалких хижинах, разбросанных далеко друг от друга. Но объем этих казавшихся культурному византийцу «жалкими» дворищ определялся бытовыми потребностями сотрудничества и самозащиты. Состав такой группы — из кровной родни, внутренний ее строй — типичен для всей славянской территории и восточного, и западного, и южного славянства, как был он в свое время типичен для германских и кельтских племен, расселявшихся в сходных условиях: это группа из отца с 2—3 взрослыми сыновьями и их семьями, 3—4 братьев на безраздельном хозяйстве, лишь редко, особенно у западных и восточных славян, разрастающаяся шире. Южные славяне знавали и семейную общину свыше десятка мужчин. Объединенные общей жизнью «на одном хлебе», общим хозяйством и работой, они создают и общее имущество, которое принадлежит всей группе, составляя одно имущественное целое. Пока во главе стоит кровный старшóй — отец, перед нами нераздельная «большая семья», патриархальная по внутреннему строю. При нераздельности братской семьи патриархальность исчезает, возникает типичная «семейная община» с общим имуществом. Предполагаемое право каждого члена на определенную обычаем идеальную долю этого имущества, с правом требовать выдела,—вероятно, позднейшая, не первоначальная, черта, продукт уже развивающегося бытового индивидуализма, симптом разложения семейной группы. Но эта черта семейного быта уже налицо в данных, по каким приходится восстановлять характеристику этого быта, и дальше в глубь прошлого историку незачем итти.

Подобные «семейные общины» носили у разных славянских племен разные названия. В древней Руси, повидимому, и не было технического выражения. Применялось слово «род», «племя», употреблявшиеся и в других смыслах, слово «семья», не выделявшее данного типа. Мы говорим условно, книжно: «большая семья», «семейная община». Не было особого термина у поляков и чехов. Говорили bracia nedzielni, bratci niedilni.

У южных славян, где эта бытовая форма сохранила жизненное значение до наших дней, установились термины: куча, дружство, задруга, задружна куча, а для членов ее — задругари, задружни люди. Условный научный термин для всего славянства — *задруга*, слово, которое, однако, по-сербски употребляется и в более широком смысле — сельская община.

Отличительные черты задруги — общее хозяйство, при общем имуществе, состав из родичей не только в одной линии, но и боковых (племянники с дядьями, двоюродные), организация под управлением одного большака, старейшины, домачина, главаря, господаря, газды. Преобладающий объем по количественному составу — небольшой, особенно у западных и восточных славян, что наглядно выражено польским и чешским термином — нераздельные братья, а на Руси типичным в народной поэзии (а также в обычных представлениях о родовых, например, местнических, отношениях) значением трех братьев. Даже у южных славян, по исследованию Новаковича, очень крупные задруги, в несколько десятков душ, — явление редкое, обычно временное, неустойчивое, преходящее. Все это, конечно, зависит от различных местных экономических, а то и политических условий.

Основа семейной общины-задруги в народном быту не столько кровная, сколько трудовая, экономическая. Эта основа, поддерживающая задружную связь взамен первоначальной патриархальной семьи, сказывается особенно наглядно в положении главаря — большего задруги, и в обычных правилах имущественного раздела при ее разложении, окончательном или частичном. Большак — не владелец, а только распорядитель и опекун общего имущества, управитель задруги в ее внутренних отношениях и работе, ее представитель перед внешним миром. Всякое распоряжение задружным имуществом возможно только с согласия всех членов задруги. Отсюда же, естественно, отсутствие завещаний или ограничение завещательных распоряжений лично приобретенным на стороне, вне общего хозяйства (собина, опричнина, например, женское приданое). Под влиянием задружного быта проникает и в патриархальную семью правило, что отец имеет право разделить наследство между сыновьями, но не завещать его на сторону.

Слабость собственно родовых начал в задруге хорошо выясняется крайней неопределенностью порядка преемства в звании и роли большака. Сравнительное изучение задружных порядков у разных славянских народов показывает, что в этом отношении славянское обычное право вообще не выработало сколько-нибудь твердых норм. Надо не упускать из виду, что при этом нет речи о «наследовании» какого-либо имущества, а дело сводится к преемству в распорядительной власти над хозяйством и личным составом семейной общины. Видим в руководящей роли, по смерти «природного» старейшины, отца, либо вдову-мать, либо сына, обычно старшего, но не всегда, а после брата-большего — либо брата, либо сына, но возможен и выбор младшего по общему соглашению членов задруги. Встречается и замена старейшины — даже отца, тем

более иного лица, другим большаком заживо при его старческой или иной какой неспособности.

С другой стороны, характер и внутренний строй задруги весьма наглядно выступают в моменты ее разложения и раздела. Раздел имущества производился не поголовно, а по поколениям. Старшее поколение (например, сыновья родоначальника-отца) — это ближайшие участники в созидании и накоплении дедины-отчины, и она делится между ними поровну, а на долю младшего поколения (внуков) выпадает лишь раздел одной доли на каждую линию (два-три сына одного из братьев-ветчичей могут оказаться равными по доле одному дяде): они позднее вступили в общую работу. Но это касается именно только дедины-отчины, т. е. унаследованного имущества, накопленного при жизни отца. А новоприобретенное делится поголовно как заработанное общим трудом всех наличных членов задруги; тут племянник равен дяде. Хорватское обычное право поясняет принцип подобных правил дележа: «da vsaki trud svoju placu prime» [1] («Полицкий статут»), сознательно подчеркивая трудовое начало в задружном праве.

У нас нет прямых данных для восстановления картины племенного быта восточных славян в доисторические времена. Наши источники позднейшего времени, а свидетельства иностранцев — византийцев и арабов, отрывочны и случайны. Всякие попытки представить себе те или иные черты древнейшего быта будут более или менее гипотетичны. Они опираются на два приема — на заключения от позднейших времен, в быту которых выделяем черты, которые есть основание считать пережитком от далекого прошлого, и на сравнительный метод, выясняющий общие черты народного быта у разных племен, живших в сходных условиях и на одинаковой ступени культурного развития. Сравнительное изучение обычного права славянских народов и, далее, права всех индо-европейских народов укрепило и утвердило научные основы теории задружного быта, которую впервые в русской исторической литературе выдвинул Леонтович [2]. Это его большая заслуга, хотя сам он сделал из понятия задруги весьма ненадлежащее употребление, толкуя как «задругу» даже городское вече Киевской Руси. Сравнительный метод, привлекая к делу большой и разнообразный материал, внес в построение представлений о древнем быте ту научную конкретность, которая необходима для получения реальных научных результатов. Этим определяется устарелость таких построений, как соловьевская «теория родового быта» и аксаковская «теория общинного быта», построенные с чрезмерным элементом чисто дедуктивных приемов, какими создавалась их отвлеченная схема «начал» русского быта и их развития в историческом процессе. Кроме богатого сравнительного материала, задружная теория

---

[1] «Чтобы всякий труд был оплачен».

[2] *Ф. И. Леонтович*, О значении верви по «Русской Правде» и «Полицкому статуту» сравнительно с задругой юго-западных славян, «ЖМНПр.», т. 134, 1867, и его же, Задружнообщинный характер политического быта древней России, «ЖМНПр.», июнь — август 1874.

опирается на ряд наблюдений в области русского народного быта и права исторического времени, начиная с эпохи «Русской Правды» до недавних времен, пока «землеустройство» не разрушило остатков «семейно-общинных» черт крестьянского права.

Но незачем, конечно, вслед, за Леонтовичем и в подражание Соловьеву и Аксакову искать какого-то «основного начала», которым можно бы объяснить все существенные черты древнего славянского быта. Догматичный схематизм старой историографии строил свои «системы» крайне односторонне. Поэтому эта историография уделяла слишком мало внимания другим явлениям племенного славянского быта, для восстановления которых было не меньше данных, чем для построения гипотез о роде, или общине, или задруге как «основных» явлениях древнеславянского быта.

В Киевской Руси в эпоху «Русской Правды» единицей общественного строя, объединявшей группы задруг-дворищ, поселков в более крупный союз, была вервь. Это слово встречается только в «Русской Правде», а в других памятниках письменности отсутствует; это обстоятельство само по себе наводит на предположение, что слово «вервь» уже в XI — XII вв. стало вымирать. Позднейшие эпохи вовсе его не знают, а для соответствующего явления употребляют иные термины: в Западной Руси — копа, на севере — погост, волость. Этимологически слово вервь указывает на кровную, родственную связь. Оно означает эту связь подобно тому, как термин linea — вервь на Западе (французское lignage — родство). Такой смысл имеет слово «вервь» в южно- и западнославянских языках, рядом с «ужа» («ужики», «ближики» — родственники). «Врвные братья» у хорватов («Полицкий статут») — члены кровнородственной группы, которая связана и экономически, делят земельные угодья по врви — линиям родства по отцу. У западных и южных славян мы можем наблюдать довольно ясные следы родственных союзов, более широких, чем «задружна куча»: «братства» у сербов и хорватов (вероятно, и у болгар), которые территориально охватывали несколько сел и владели общими земельными угодьями (лес, пастбища) и состояли из нескольких задруг-куч с их «баштинами», т. е. вотчинами (наследственными участками).

Для эпохи «Русской Правды» у нас нет оснований предполагать на Руси кровной связи между членами верви: они называются не братьями, а просто: людие. Вервь «Русской Правды» уже территориальный, соседский, а не кровный союз. Это наблюдение в связи с одиноким положением слова «вервь» в «Русской Правде» среди других текстов побудило Ключевского (в неизданном курсе «Терминология русской истории») предположить, что «название верви для городского или сельского общества взято не из русского языка, а перенесено с славянского юга». Если и не принять такого предположения, все-таки приходится признать, что родовое, кровное значение «верви» не подтверждается русской бытовой действительностью. Едва ли когда удастся решить с полной определенностью вопрос о том, в какой мере термин вервь свидетельствует о былом существовании у восточных славян кровных союзов более обшир-

ных, чем «семейная община» (задруга). Остается, по аналогии с другими славянскими племенами, весьма вероятным, что такие союзы были в эпоху «общерусскую» на восточнославянской прародине. Но в таком случае переселенческое движение, процесс расселения их частью разрушил, частью переродил в территориальные, соседские союзы. По типу русская вервь, какой мы ее знаем, ближе к чешскому и польскому ополю, иначе — соседству (vicinitas), да и в Сербии видим рядом с братствами «околины», т. е. и у западных и у южных славян, как видно и по самой терминологии, выступают на заре их истории организации территориального характера — соседские общины. Значение и, так сказать, социальная функция этих соседских общин, по существу, та же, что «братства». Это — части племени, занявшие под хозяйство своих дворищ определенную, хотя, конечно, и не строго ограниченную, территорию, или, наоборот (в зависимости от того или иного хода колонизации), объединившие в соседский союз разрозненные дворища отдельных задруг. Эти отдельные хозяйства устраивались враздробь, захватывая под эксплоатацию участки поля и леса путем запашки, закоса, зарубок на деревьях и так создавали свои заимки из «села»-дворища, со всем, что к нему потягло, а потягло — то, куда топор и соха ходили.

По свойствам первобытного хозяйства нельзя представлять себе такие «заимки» в виде устойчивых хуторных хозяйств. Эксплоатация земельных и лесных участков не впивалась в землю, как крестьянское хозяйство позднейших веков, а скользила по ней, хищнически и поверхностно. На низких ступенях экономической культуры не возникало крепкой «власти земли» над земледельцем, ни того отношения к ней, какое мы разумеем под «землевладением». Ведь и хозяйство тех времен, как еще и много позднее, было не столько «земледельческим», сколько промысловым, где пахота — часто лишь подспорье к звероловству, рыболовству и бортничеству. Вне немногих, относительно, участков, более устойчиво закрепленных за отдельными дворищами, лес и пастбища оставались в вольном общем пользовании. Покосы, даже бортные деревья осваивались на время, на хозяйственный период, а затем часто забрасывались с переносом работы на другой период в новое место. И пашня была летучей, подвижной, легко забрасывалась, как только появлялись признаки ее оскудения, из «деревни» становилась «пустошью» и могла стать объектом новой заимки, новых захватов. Все эти обычные черты первобытного экстенсивного хозяйничанья должны были вести к спутанности и неустойчивости междухозяйственных отношений.

Признание соседской общины — прежде всего, некоторая регулировка этих отношений, улаживание и предупреждение возможных раздоров и столкновений, которые неизбежно возникали при ограниченности количества более удобных и легких для эксплоатации участков. Потребность в установлении мирных соседских отношений определяла значение соседской общины. Она вырабатывала в практике соседских отношений основы обычного права для

разрешения возникавших споров, постепенно вводила вольный захват в некоторые рамки раздела угодий, хотя бы на данный хозяйственный сезон, по взаимному мирскому соглашению соседей. Значение соседской общины крепнет при надобности защиты занятой «волости» от более дальних соседей, сгруппированных в другую соседскую, волостную общину. Она выступает союзом взаимной защиты, охраны внутреннего и внешнего мира. Из таких основных древнейших черт соседской общины вырастают в историческое время при дальнейшей эволюции народного обычного права такие явления, как право соседей—волостных людей—контролировать иммиграцию, т. е. появление новых поселенцев на территории волости, право соседской общины на выморочные участки вымершего дворища или даже право ограничивать соседей в распоряжении их своими участками, например, отчуждать их на сторону. В параллель этим чертам позднейшего волостного быта идут другие: ответственность верви (по «Русской Правде») за преступления, совершенные ее членами или хотя бы на ее территории, ее обязанность искоренять в своей среде «лихих людей». Все это — продукты дальнейшей эволюции древней соседской общины, как союза, охраняющего «всем миром» внутреннее равновесие и внешнюю безопасность бытовых отношений. Мы ничего не знаем о формах ее внутреннего строя. По аналогии с другими славянскими племенами, естественно представлять дело так, что у соседских общин были издревле свои старосты, может быть, выборные, а может быть, в древности и «природные», т. е. пользовавшиеся особым авторитетом члены определенных семей-дворищ. Для характеристики этих явлений нам доступны только самые общие беглые схемы, с большой примесью гипотетических допущений. Задача таких «схем» — наметить те древнейшие предпосылки, какие приходится сделать для понимания форм народного быта в историческое время. В наших источниках этот быт выступает уже очень сложным явлением, продуктом долгой и сложной культурной эволюции, «первые» стадии которой лежат далеко за пределами исторического изучения.

Семейная община-дворище и соседская община-вервь, рисуются двумя древнейшими, какие можем себе представить с некоторым основанием, ячейками восточнославянского племенного быта.

Что же можем сказать о еще более широких организациях, объединяющих целые племена, об организациях так называемых политических? Анализ наших сведений и представлений о восточнославянских «племенах» по летописи, какой читаем в «Исторической географии» Середонина, тем и интересен, что сильно расшатывает их определенность. Повидимому, действительно, нет достаточных оснований считать эти племена определенными этнографическими единицами, и весьма сомнительна для большей части из них, особенно для раннего, доисторического времени, какая-либо политическая организация, охватывающая целое племя. А между тем такие «политические» или, по крайней мере, военные организации бывали в славянской среде древнейшего времени. В VI и VII вв., по византийским свидетельствам, славяне выступают в войнах во-

оруженными ватагами внушительного размера под начальством вождей, пользовавшихся большой властью. Маврикий (Strategikon, VI в.) называет их, ρηγες, а Феофилакт Симокатт (Ἱστορικαι, VII в.) сообщает, что «на языке варваров» их звали риксами. Выходит, что это слово, родственное латинскому rex, было туземным в славянских языках, а затем вытеснено заимствованным у германцев словом князь. Это возможно. Слово — общеиндо-европейское (латинское rex, кельтское rig, rigs, санскритское raj—раджа), но, вероятнее, заимствованное от кельтов через готов (готское reiks, литовское rikis, немецкое Reich). Тот же Феофилакт называет славянского вождя племенным (φύλαρχον), а одну славянскую область по имени вождя: η ἀμφι τὸν Ἀρδαγαστον χῶρα. Эти известия относятся к южным славянам. Но византийцы отмечают такие же элементы военно-политической организации и у восточных славян — у антов. Вспомним и построение А. А. Шахматова. Он ведь считает вероятным существование определенного «племенного центра» восточных славян в «общерусскую эпоху» и полагает, что всего вероятнее им была Волынь. Если признать, что термин велыняне политический (по городу Велыню), и отнести сюда известие Масуди о валинанах, которым подчинялись все другие племена, «ибо власть была у них», — придется признать, что восточные славяне задолго до образования в их среде варяжских княжеств прошли через моменты организованного на время войн и даже в более длительной форме политического властвования. Однако позднейшие предания о славянских племенах не сохранили нам даже таких намеков на племенную княжескую власть, которые годились бы для опытов реконструкции восточнославянской древности. Долго служил этой цели древлянский князь Мал с другими «князьями, иже роспасли суть деревскую землю». Но шахматовский анализ летописного сказания о мести Ольги древлянам подрывает эти «известия», ставя их в связь с сложным перебоем народных сказаний о временах уже вполне «варяжских» [1]. Аскольда и Дира можно разжаловать из «варягов», какими их считает летопись, разве для того, чтобы признать их вождями скандинавской «руси». Из восточнославянских племенных князей нам остаются лишь поздние представители: Ходота и сын его, на которых ходил «в вятичи» по две зимы Владимир Мономах в 80-х годах XI в., если это, действительно, были «вятицкие племенные князья». Византийцам VI — VII вв. славяне вообще представлялись αναρχα και μισάλληλα [2], а Прокопий Кесарийский определенно утверждает, что ни славяне, ни анты не управляются единым вождем, а издревле живут в «демократии».

Нет у нас оснований представлять себе какую-либо восточнославянскую политическую организацию, которая объединяла бы сколько-нибудь прочными узами отдельное племя полян или северян, древлян или вятичей в эпоху, ближайшую к их расселению

---

[1] *А. А. Шахматов*, Разыскания о древнейших русских летописных сводах, СПБ 1908, стр. 108 и сл.

[2] «Неподчиненными никакой власти и враждующими между собой».

по Восточноевропейской равнине. Столь же ничтожны данные для вопроса о древнейших восточнославянских городах. Самый вопрос — вполне законен. Оглядываясь снова на других славян мы видим у сербов в центре каждой жупы, объединявшей группы селений, главное укрепленное «городом» село, которое служило крепостью, рынком, местом народных собраний, вероятно, и центром деятельности местных старейшин-жупанов. Такие же укрепленные центры в польском ополе: сюда сходились на собрания опольные старшины. Но для восточных славян данных нет, тем более, что и археология так называемых городищ тут ничем помочь не в состоянии.

Само собой разумеется, что было бы ошибочно заключать от отсутствия сведений к отсутствию самого явления. Старейшины отдельных вервей могли приобретать влияние вне границ своей общины, особенно в боевое время становиться князьями более обширных округов; упоминание во множественном числе о «древлянских князьях» может отражать действительность, подобную той, какую наблюдаем у некоторых литовских племен, например, у пруссов, где на небольшой племенной территории гнездились чуть не десятки племенных князьков, и у литвы и жмуди, где эти мелкие «династы», как их почему-то любят называть историки, стали предками литовской аристократии. Трудно сомневаться, что у восточнославянских племен были и центральные укрепления — селения для защиты от врага, целей племенного культа, торгового рынка. Но отчетливой картины племенного строя даже набросать никак нельзя, вероятно, потому, что следы этого прошлого были под корень сметены новыми формами организации и городского быта, какие принесли с собой в среду восточных славян выходцы из далекой Скандинавии.

Неизбежно, однако, при этом коснуться той картины состояния восточного славянства накануне появления на сцену этих скандинавских «находников», которую в разных вариантах можно назвать общепринятой в нашей ученой и учебной литературе. Основная идея этой картины в том, что «князья-варяги застали везде готовый государственный строй» (Владимирский-Буданов), а именно «союз волостей и пригородов под властью старшего города» [1]. Еще «до начала летописных сказаний», по Владимирскому-Буданову, «славянские племена перешли от чисто племенного быта в быт государственный, земский, т. е. образовали княжения-земли, пределы которых не всегда совпадали с границами племени». У Владимирского-Буданова особенно наглядно выступает происхождение такого представления. Главная причина тут в традиционном пользовании «начальной летописью», т. е. попросту «Повестью временных лет», произведением книжника начала XII в., как чуть ли не документальным источником не только для «княжеских», но и для «докняжеских», «доисторических» времен. Вопрос о том, почему

---

[1] *М. Ф. Владимирский-Буданов*, Обзор истории русского права, 5-е изд., Киев 1907, стр. 11, 14.

сведения книжника XII в. о прошлом IX в. могут быть надежнее, чем сведения о том же книжника-профессора XX в., даже не ставится. Лишь анализ источников «Повести», впервые проделанный научно А. А. Шахматовым, выясняет всю наивность такого приема. Сложнее подход к тому же выводу у В. О. Ключевского. Ключевский ведет происхождение «первой политической формы Руси», т. е. той же «городской области» по двум этапам: 1) «славяне расселялись по Днепру и его притокам одинокими укрепленными дворами. С развитием торговли среди этих однодворок возникали сборные торговые пункты, места промышленного обмена, куда звероловы и бортники сходились для торговли, для гостьбы, как говорили в старину. Такие сборные пункты получили название погостов... Мелкие сельские рынки тянули к более крупным, возникавшим на особенно бойких торговых путях. Из этих крупных рынков, служивших посредниками между туземными промышленниками и иностранными рынками, и выросли наши древнейшие торговые города по греко-варяжскому торговому пути. Города эти служили торговыми центрами и главными складочными пунктами для образовавшихся вокруг них промышленных округов», и 2) эти «главные города областей», «некогда, еще до прихода варяжских князей», «одни правили своими областями». Но потом в них произошла перемена. В IX в. управление городом и областью сосредоточивалось в руках военной старшины, военных начальников главного города, тысяцких, сотских и т. д., выходивших из среды торговой городской знати. «С появлением князей... военное управление городов, по личному составу прежде бывшее, может быть, выборным... теперь стало приказно-служилым, перешло в руки княжих мужей по назначению князя» [1]. Этот процесс закончен, когда возникает вторичная политическая форма — варяжское княжество.

Иначе строит первоначальную картину «политической формы Руси» Сергеевич [2]. Он признал, что нет основания предполагать «родовое единство отдельных племен и условливаемую этим единством политическую их цельность». Древние городовые волости возникли не на племенной основе. Притом, «скрытый от глаз историка процесс возникновения первоначальных волостей совершался, надо думать, медленно, но не мирно, а с оружием в руках». Города возникали по почину «предприимчивых людей». Сергеевич этих людей не считает варягами; это могли быть «смешанные группы из разных славянских племен, а также финны (меря, чудь)». Они стремились, засев в укрепленном пункте, «к расширению своих владений» и к подчинению себе разрозненного населения окрестных земель, создавали «волость», в которой для «береженья» своих приобретений строили пригороды. «Сила, создавшая такую волость, должна была выйти из города». Тут, как вообще у Сергеевича, больше исторического реализма. Набрасываемая им картинка напоминает, например, сообщение арабского источника IX в. о руси, засевшей

---

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, стр. 148—149, 229.

[2] *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, СПБ 1890, стр. 10.

«на острове» (Holmgard'е), чтобы из своего укрепленного пункта господствовать над славянами, а многие из славян приходят к этой руси, чтобы служить ей и тем себя обезопасить. Исторический реализм Сергеевича только выиграл бы, если бы он своих «предприимчивых людей» определил не так расплывчато, а просто признал варягами. Грушевский, в своей «Киевской Руси», весьма осторожно набрасывает изображение, как значительные городские центры могли возникнуть путем естественной эволюции из доисторических укрепленных поселений и стать центрами «земель-волостей» с их «городской, чисто территориальной группировкой», разбивавшей старые племенные связи. Но сам он приходит к тому, что результат этого процесса — в образовании «волостей-княжеств» и что «конкретной и реальной зависимость от города его пригородов стала уже тогда, когда в городе явился князь или его наместник с наличностью военной силы» [1]. Простое соображение, что сила, необходимая, чтобы придать историческому явлению «конкретность и реальность», еще нужнее для того, чтобы его создать, должна бы, кажется, привести Грушевского к выводу вроде того, какой делает Сергеевич. Во всяком случае, у Грушевского уже нет той сильной городской общественной власти, на службу которой является варяжский князь у Ключевского. Поучительно изложение в лекциях С. Ф. Платонова. Он так изображает ход дела: «С развитием по русским рекам торгового движения к черноморским и каспийским рынкам в земле славян стали возникать большие города» как центры торгового обмена и сборные пункты караванов, уходивших в далекую гостьбу. «Охрана товаров в складах и на путях требовала вооруженной силы, поэтому в городах образовались военные дружины», во главе которых «стояли обыкновенно (?) варяжские предводители-конунги» (по-славянски князья). Конунги «нанимались на службу в городах» (к кому на службу?) или «захватывали власть в городах и становились городскими владетельными князьями. А так как городу обыкновенно (?) подчинялась окружавшая его волость, то в таком случае (в случае захвата власти конунгом?) образовывалось целое княжество» [2].

У С. Ф. Платонова новый момент после «племенного быта» определяется «появлением городов, а *с ними* торговых иноземцев и военных дружин на Руси». Раздельность «появления городов» и «иноземных дружин» есть дань авторитету В. О. Ключевского, но от сочной картины, начертанной Ключевским, осталась схема, в ряде черт конкретно непонятная. Зато уступка более реальному представлению, сближение появления варяжских конунгов и дружин с началом городской жизни и формированием городских волостей-княжеств, приближает к более согласному с данными, какими располагаем, изображению коренного перелома в жизни восточного славянства.

---

[1] *М. Грушевский*, Киевская Русь, стр. 449—454.

[2] *С. Ф. Платонов*, Лекции по русской истории, 8-е изд., СПБ 1913, стр. 62.

ГЛАВА VI

ПЕРЕХОД ОТ ПЛЕМЕННОГО БЫТА К СТРОЮ ЗЕМЕЛЬ-КНЯЖЕНИЙ (ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА)

Представления о так называемом «племенном быте» относятся ко временам «доисторическим» или, точнее, согласно с терминологией французских археологов, «протоисторическим», т. е. таким, о которых имеются, при отсутствии местных «исторических источников», свидетельства иностранных писателей. А как только восточное славянство выступает на свет истории, уже организованное в политической форме «Киевской Руси», перед нами картина такого строя народной жизни, который ничего общего с племенным бытом не имеет. Страна, занятая восточными славянами, разделена на ряд «земель»; каждая из этих «земель» тянет к одному главному своему городу, составляя его «волость», а все земли вместе объединены в один сложный политический организм под главенством Киева. Вопрос о том, как представить себе процесс перехода от древнейшего племенного быта к историческому строю городовых земель-областей, труднейший в истории древней Руси. Все попытки вывести второе явление из первого в виде органической эволюции не дают никакого результата и обречены на неизбежную неудачу. Городские волости-земли явились на развалинах племенного быта, не из него выросли, а его разрушали. Попытка Костомарова подвести под деление Киевской Руси на земли этнографическую (племенную) основу не имела успеха и тем более безнадежна, если согласиться с середонинской критикой самых представлений о древнерусских племенах [1]. Наши историки единодушно признают, что городские волости-земли чужды такого этнографического основания, а построены на ином: на властвовании и господстве главного города над землей, стало-быть, на связях политических и экономических. Для проблемы о происхождении городских волостей основной вопрос в определении приоритета фактора экономического или политического в их образовании и тех сил, какие их создавали.

Для ориентации в этом вопросе удобно начать с некоторой историографической справки. Стройную теорию «торгового» происхо-

---

[1] *Н. И. Костомаров*, О федеративном начале Руси, Исторические монографии и исследования, т. I, СПБ 1863.

ждения городских волостей построил Ключевский. Общая схема этого построения такова: «Днепр, — пишет Ключевский, — потянул славянских поселенцев к черноморским и каспийским рынкам. Это торговое движение *вызвало* разработку естественных богатств занятой поселенцами страны... Лесная полоса своим пушным богатством и лесным пчеловодством (бортничеством) доставляла славянам обильный материал для внешней торговли. С тех пор меха, мед, воск стали главными статьями русского вывоза; с тех пор, при хлебопашестве для себя или с незначительным вывозом, *началась* усиленная эксплоатация леса...» Таково одно из экономических следствий расселения восточных славян по русской равнине». Второе следствие: «Повесть о начале Русской земли» не помнит, когда возникли города Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Полоцк... Довольно беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были созданы успехами внешней торговли Руси... Возникновение этих больших торговых городов было завершением сложного экономического процесса, завязавшегося среди славян на новых местах жительства». Процесс этот так изображен у Ключевского: он первоначальное расселение славян представляет в виде ряда одиноких укрепленных дворов (повидимому, вне всякой их связи в соседские общины-верви, а тем более в какие-либо более широкие организации); далее, с развитием торговли среди этих однодворок возникли сборные торговые пункты — погосты (для гостьбы-торговли); погосты, мелкие сельские рынки, тянули к более крупным рынкам, которые выросли на особенно бойких торговых путях. Эти «более крупные рынки» — древнейшие города. Как упомянуто было, весь этот «сложный экономический процесс» В. О. Ключевский относит к VIII в. [1].

Конечно, это только схема. Не надо упускать из виду, что ряд вопросов русской истории изложен Ключевским лишь в общем курсе. А всякий общий курс неизбежно дает схематическое обобщение, обычно упрощая его ради задач педагогических — ясности и доступности изложения. Схема Ключевского дает изображение ряда моментов как бы в хронологической последовательности: однодворки — погосты — города. Но стоит немного подумать, чтобы понять, что это не хронологическая, а логическая последовательность моментов эволюции. Ведь побудительной силой группировки однодворок вокруг погостов, а погостов вокруг городов был отклик восточнославянского народного хозяйства на требования внешней торговли. Недаром Ключевский само промысловое хозяйство признает следствием этих требований: «Торговое движение вызвало разработку естественных богатств». А требования торгового движения, которое шло по торговым путям, ранее всего предъявлялись в более крупных центрах торгового обмена, тех, что стали городами. Спрос городских рынков — исходный пункт для воздействия «торгового движения» на «мелкие сельские

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, стр. 144—148.

рынки», а через них и на хозяйство «однодворок». Самые лесные промыслы, конечно, и возникли и существовали с незапамятных времен вне связи с «торговым движением». Оно могло их оживить, усилить, развить, но не «вызвать». Кроме того, само торговое движение на Восточноевропейской равнине не возникло после расселения восточных славян, а они в него втянулись по старым, давно проложенным путям, за которыми было вековое прошлое. Слишком отвлеченно и схематично и представление, что все общественные связи славянства сплошь возникают по расселении, словно заново. Восточное славянство как никак прожило немало в прошлой племенной жизни «общерусской» и «общеславянской». В новых условиях, по расселении, конечно, немыслима идиллия «однодворной» жизни вне соседских сношений и связей, которые, к тому же, подсказывались и традициями прошлой племенной жизни. Общеславянские, даже «общеарийские» черты общин — не только семейных (задруг), но и соседских (вервей) или родовых (братств) не позволяют говорить о таком начале ab ovo процесса образования элементарнейших общественных союзов у каждого славянского племени порознь. В. О. Ключевский, очевидно, и сам придавал своему построению значение не исторической, а логической схемы, так как он ее и не пытался согласовать, например, с им же утверждаемым фактом существования у восточных славян издревле племенных княжений, которые и не укладываются никак в эту схему. Однако Ключевский сам ставит ее изображением определенного исторического момента, который относит к VIII в. (предположительно), но это, по-моему, скорее черта литературного изложения в знаменитом «Курсе русской истории», чем подлинно исторической конструкции. Ведь «литературности» в этом курсе вообще много.

Те — очень немногие — известия иностранных писателей, которые говорят что-либо о характере древнерусской торговли, вызывают совсем иные представления о ней для времени даже позднейшего, чем VIII век. Араб Ибн-Ростэ, пользовавшийся источником второй четверти IX в. (по Вестбергу), изображает активными носителями этой торговли скандинавов, засевших в крепком пункте, откуда они подчиняют себе славян, добывая от них в виде дани и военной добычи «полон» и «полезные предметы» — материал для торговли вниз по Волге рабами, мехами, медом, воском. Сопоставим с этим рассказ Константина Багрянородного на сто лет позднее. Константин последовательно различает русь и славян, разумея под русью «варяг-находников» нашей летописи. Эта русь сидит по городам — в Новгороде и Смоленске, Любече и Чернигове, Вышгороде и Киеве. Эта русь каждое лето — в июне месяце — спускается вниз по Днепру к сборному пункту Витичеву, организуя тут караван лодей-однодеревок для поездки с товарами в Болгарию и Византию. Однодеревки-лодьи русь снаряжает так: покупает у славян, платящих ей дань, выдолбленные колоды и снаряжает их веслами, уключинами и другими снастями. О происхождении товаров Константин говорит: «Когда наступает ноябрь месяц, выходят их князья со всеми руссами из Киева и отправляются в полюдье,

а именно, в славянские страны тиверцов, дреговичей, северян и остальных славян, которые платят дань руссам; они кормятся там в течение целой зимы, а когда в апреле-месяце лед на Днепре опять проходит, спускаются в Киев; затем, приобретают, как было сказано выше, свои однодеревки, снаряжают их и отправляются в Византию» [1]. Какой огромный регресс пришлось бы предположить к началу IX в., если признать для VIII в. картину развитого торгового быта, с крупными центрами, мелкими поселками-рынками и развитой внутренней торговлей, которая скупкой товаров у мелких промышленников-однодворцев создает весь материал для «русского вывоза».

Нельзя, кажется, не признать, что ближе к исторической действительности та характеристика древнерусской торговли, какую дает Рожков в своем «Обзоре русской истории с социологической точки зрения»; «Внешняя торговля того времени,—пишет Рожков,— характеризовалась двумя отличительными и имеющими первостепенную важность чертами; во-первых, торговая деятельность была занятием исключительно одних общественных верхов, князей, их дружинников и небольшой группы состоятельных горожан; масса же населения не принимала в ней никакого участия, потому что не продавала, а отдавала даром, в виде дани, продукты охоты и пчеловодства; во-вторых, внешняя торговля не затрагивала в действительности и настоятельных, насущных, необходимо требовавших удовлетворения потребностей даже этих, руководивших ею, высших классов населения: все необходимое они получали натурой, отправляя на внешний рынок лишь избыток, и выменивая там только предметы роскоши» [2]. Словом, древнерусская торговля по внутреннему характеру своему является прямым продолжением той торговли, какую греки вели с северными варварами со времен Геродота и носит обычные черты торговли культурных народов с малокультурными племенами, будь то тюркские кочевники или оседлые звероловы и пчеловоды «скифского» севера. Свидетельства Ибн-Ростэ и Константина Багрянородного ведут скорее к представлению, что земли-волости и сами сложились и стали служить «торговому движению» между Русью и Византией вследствие своего подчинения власти, засевшей в городах, и что Сергеевич прав, говоря: «сила, создавшая такую волость, должна была выйти из города». Из города строили новые политические и экономические силы древнерусскую «землю», а не выросла она «органически» из однодворок.

Весьма искусственно у Ключевского и то промежуточное звено, какое он ставит между городом и однодворками, — погост. Два слова о самом слове. Погост — слово не общерусское, а специально новгородское, северное. В. О. Ключевский считает погост «малым

---

[1] Текст Константина Багрянородного вышел в настоящее время отдельным изданием в трудах ГАИМК. *(Прим. редакции).*

[2] *Рожков*, Обзор русской истории с социологической точки зрения, ч. I, Киевская Русь, 2-е изд., М. 1905, стр. 24—25. Ср. теперь также *Н. А. Рожков*, Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. I, 4-е изд., М. 1930, стр. 85.

рынком», производя его от «гостьбы» — торговли. Но ведь не всякая торговля—гостьба, как не всякий купец—гость. Гость—приезжий купец из чужой земли, или ездящий с товарами по чужим землям, и гостьба—крупная торговля па вывоз. Мелкую деревенскую торговлю по «мелким рынкам» гостьбой не называли. Само коренное родство этих слов несомненно, но семасиологически, по значению, они друг другу чужды. Каково основное и первоначальное значение слова погост? «В лето 6455 иде Ольга Новугороду и устави по Мьсте погосты и дани и по Лузе оброки и дани и ловища ее суть по всей земли — знаменья и места и погосты» [1]. Связь «погоста» с данью придает ему характер не местного рынка, а административного пункта. Торговые поселки в Новгородской земле назывались не погостами, а «рядками»; и торговые люди не были связаны с погостами: купец поидет в свое сто, а смерд в свой погост, — читаем в новгородских грамотах [2]. Под 1071 г. «Повесть временных лет» изображает, как княжой муж Ян Вышатич ездит по земле «дань емлюще», для чего останавливается в погостах [3]. Еще в XVI в. ясно финансово-административное значение погоста; слово это даже означает иногда какие-то платежи: «ни погоста им не платити, ни в черный бор не тянути»,— говорит жалованная грамота 1504 г. [4] Соловьев и Срезневский метко определили погост, как стан, становище, место остановки князей (или их мужей) во время объезда земель (полюдья) [5].

В итоге — если и возможно построить «торговую» теорию происхождения древнерусских городов и городских волостей-земель, то совсем в ином смысле и направлении, чем это делает Ключевский. Торговое движение в Восточноевропейской Руси выступает, по данным арабских и византийских источников, прежде всего, как мотив энергичного стремления варягов, точнее скандинавов, которых в славянской среде называли то русью, то варягами, к поволжским, прикаспийским и черноморским рынкам. Умалять значение скандинавского элемента в судьбах Восточноевропейской равнины не приходится, особенно ввиду его широкой, общеевропейской бурной деятельности в IX — XI вв., которая была очерчена ранее.

Это умаление явилось в русской историографии следствием слабого внимания к «варягам» самим по себе, окрепло отчасти под влиянием псевдопатриотических тенденций, видевших в таком умалении роли иноземных «находников» в истории славянства защиту своего

---

[1] Лавр., стр. 58—59.

[2] Например, см. «Памятники истории Великого Новгорода», изд. Ключкова, М. 1909, стр. 13.

[3] Лавр., стр. 170: «бывши бо единою скудости в Ростовской области, въстаста два волхва от Ярославля, глаголюща: «яко ве свеве, кто обилье держит» и поидоста по Волзе, где приидуча в погост, туже нарекаста лучшие жены, глаголюща, яко си жито держит, а си мед» и т. д.

[4] *И. И. Срезневский*, Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. II, СПБ 1902, стр. 1018.

[5] *С. М. Соловьев*, История России с древнейших времен, т. I, изд. «Общественная польза», стр. 186; *И. И. Срезневский*, Цит. соч., стр. 1017.

национального достоинства и самобытности, и вошло, в конце концов, в состав историографической традиции, содержание которой не всегда соответствует «установленным результатам научной работы». Этой особенности историографической традиции еще придется коснуться по поводу вопроса о «варяжском влиянии» в древнерусской жизни. Не вижу оснований отделять вопрос об образовании городских областей от вопроса о появлении в восточнославянской среде варяжских княжеств. А для этого последнего у нас сколько-нибудь определенные данные имеются для Киева, с несомненными, не очень глухими указаниями на Новгород. Дело в том, что первый исторический момент, «событие», которое стоит в начале истории Киевской Руси на рубеже доисторических и исторических времен, — это водворение Олега в Киеве. Так смотрел на дело древнейший киевский летописец, начиная свои исторические и хронологические выкладки «от первого лета Олгова, понеже седе в Киеве», — «Олега, князя русского». Отсюда ведет свое изложение «повесть», откуда пошла Русская земля. Такова «эра» киевской исторической традиции. А до нее стоят лишь представления, что «словене, кривичи и меря дань даяху варягом», а поляне — хазарам, да вовсе бессодержательное глухое представление, что были в Киеве князья Аскольд и Дир, чьи имена, повидимому, уцелели в киевских преданиях только в связи со сказаниями об Олеге. Лишь позднейшая книжная работа обогатила память о них, приурочив эти имена к вычитанному из византийского источника рассказу о набеге руси на Византию. О доолеговых временах в старой традиции — только обрывки преданий и комбинаций летописца, которые и для него стоят вне того, что он сам считал «историческим».

С преданиями об Олеге связан вопрос о важнейшем моменте в образовании Киевского государства — о соединении новгородского севера и киевского юга в один политический организм. Но предания эти дошли до нас в таком виде, что выделить в них подлинно старинное от комбинаций книжника-летописца, который их перекраивал по-своему, трудно. Прежде всего эти предания в летописном изложении сплетают в одно деятельность Олега и Игоря, притом по-разному. По версии Новг. I летописи у Рюрика сын Игорь, а при нем воевода Олег. Игорь — взрослый князь, и действуют они оба вместе: «начаста воевати», «поидоша», «реша...» Но Аскольду и Диру Игорь «рече»: «вы неста князя... но аз есмь князь», «седе Игорь княжа в Киеве», «а посла князь Игорь на грекы», затем после неудачного похода на Византию, взятого из византийского источника («Хронографической Палеи»), — «Игорь и Олег пристроиста воя многы» и «иде Олег на грекы», а по возвращении из похода (успешного) умер на севере: «иде Олег к Новугороду и оттуда в Ладогу» — «есть могыла его в Ладозе». Игорь же все время княжит в Киеве [1]. Совсем иначе строит «Повесть временных лет»: «Умершу Рюрикови предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, вдав ему сын свой на руце, Игоря, бе бо детеск вельми». Действует по-

[1] Новг. I, стр. 5—7.

этому один Олег, имея при себе «Игоря княжича». Он говорит Аскольду и Диру «вы неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа», но прибавляет, когда «вынесоша Игоря»: «а се есть сын Рюриков». И в Киеве княжит Олег, «Игореви же возрастшу и хожаще по Олзе и слушаше его», «Олег иде на грекы», Игоря оставив в Киеве. Умер он, вернувшись из удачного похода, в Киеве, «и погребоша его на горе, еже глаголется Щековица; есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова». А тогда «поча княжити Игорь по Олзе» [1]. А. А. Шахматов в одной из прежних статей остроумно объяснял, почему составитель «Повести временных лет» переделал воеводу Олега в князя, когда вставлял в свой свод найденный им договор с греками, где Олег титуловался «великим князем Русским», а потому сделал его родственником Рюрика, а Игоря обратил в малолетка, для пояснения, почему не он княжит, а Олег. Теперь в «Разысканиях» А. А. Шахматов столь же остроумно поясняет, почему книжник-летописец превратил князя Олега, о котором повествовало старинное предание, в Игорева воеводу [2]. Это объяснение построено в связи с общими выводами А. А. Шахматова по истории древнейшего русского летописания: в Новг. I переработан киевский источник, который знал Олега князем (независимо от договора). Несомненно одно: обе версии — одинаково плод книжнической работы, которая по-своему кроила и перекраивала комбинации из преданий о древних князьях, примиряя и сглаживая, как умела, их противоречия и разногласия. — Едва ли даже возможно разрешить задачу твердой критики этих версий и преданий как исторического источника. Задача эта того же сорта, как попытка выделить какие-либо исторические черты из народных преданий, например, былин, да еще таких, которые дошли уже в переделке и пересказе мудривших над ними книжников. Эту задачу А. А. Шахматов пробует разрешить во введении к «Очерку древнейшего периода истории русского языка» [3]. Он склоняется к тому, что надо вовсе отделить Олега от Игоря. Их сплетение вызвано потребностью согласовать сказания о них с мотивом о призвании Рюрика и установить преемство власти от Рюрика; задача осложнялась, повидимому, тем, что имена Игоря и Рюрика связывались в устойчивом предании как имена сына и отца (может быть, так, что в известном предании к имени Игорева отца, Рюрика, — приурочен мотив призвания), а вместе с тем основные черты этого предания не позволяли поставить Олега после Игоря: Игорь — отец Святослава, фигуры достаточно «историчной», чтобы допустить твердое предание об имени его отца.

А. А. Шахматов разрубает запутанный узел предположением, что Олег был таким же «самозванным», с точки зрения традиции о Рюриковой династии, князем, какими летопись представляет Аскольда

---

[1] Лавр., стр. 22, 23, 28, 29, 38.

[2] *А. А. Шахматов*, Разыскания о древнейших русских летописных сводах, стр. 99—108, 316—321.

[3] *А. А. Шахматов*, Очерк древнейшего периода истории русского языка, «Энциклопедия славянской филологии», вып. II, Петроград, 1915.

и Дира, независимым от Рюрика. Но в таком случае пришлось бы, чего Шахматов не делает, представить себе Олега северным князем-варягом, которого вытеснили с севера события, приведшие к водворению в Ладоге и Новгороде Рюрика. Олег с варягами и примкнувшими к ним словенами и кривичами ушел на юг и, сокрушив «русских» (А. А. Шахматов и их считает «варягами») князей Аскольда и Дира, засел в Киеве. А. А. Шахматов считает, что положение Олега на юге верно характеризует текст летописи, по которому «бе Олег обладая поляны и древляны и северяны и радимичи, а с уличи и тиверци имяше рать»[1]. Но маловероятным представляется А. А. Шахматову, чтобы ему были покорны также кривичи и словене, т. е. новгородский, полоцкий и смоленский север. Шахматовская критика текста договора Олега с греками убедительно устанавливает, что подлинный текст этого договора (907) называл только Киев, Чернигов и Переяславль городами Олеговой Руси.

При всем том Олег — фигура не легендарная, а историческая. Его имя и деятельность удостоверены двумя источниками, не зависящими от летописных сказаний и комбинаций: договором с греками и недавно найденным «еврейским документом».

Договор Олега с греками — единственный источник для заключения о походе Олега на Византию. Все остальное в летописи — книжническая работа по разным источникам: описание зверств, учиненных русскими в окрестностях Византии, взято из славянского перевода «Жития Василия Нового» и продолжателя Амартола, которые использованы и для рассказа о походе Игоря, затем ряд легендарно-эпических мотивов, как лодьи под парусами на суше, мудрая отгадка отравы, народный анекдот о «паволочатых» и «кропинных» парусах. Самый договор изложен под 907 и 912 гг. Историки давно спорят о том, два ли это договора или один — выдержки под 907 г. и текст, как бы цельный, под 912 г. Трудно представить себе возможность такого объяснения, что летописец имел два документа — из одного вырвал только несколько фраз, а другой дал полностью. К тому же «второй договор» не связан с рассказом о какой-либо новой войне, так что историкам, приемлющим два договора, приходится трактовать изложение под 907 г. как «прелиминарное» соглашение, а договор 912 г. — как окончательный, что едва ли соответствует практике X в. Разбор вопроса в статье А. А. Шахматова[2] устанавливает способ, каким использовал свой источник летописец, разбив его в своей схеме, и тем в значительной мере подрывает представление, что текст договора передан в летописи достаточно точно.

Но при всем том самое существование такого договора и текстуальная связь с его текстом летописной передачи не вызывают сомнения ни по языку, ни по содержанию. Летописный текст —

---

[1] Лавр., стр. 23—24.

[2] *А. А. Шахматов*, Несколько замечаний о договорах с греками Олега и Игоря, «Записки Неофилологического общества», т. VIII; Сб. статей в честь Ф. А. Брауна.

несомненный перевод с греческого, притом настолько «подстрочный», что иногда непонятен без попытки обратного перевода на греческий язык. Договор заключен при царях Льве и Александре, а Лев умер 11 мая 912 г., что согласно с датой договора, 2 сент. 6420(911) г. Договор заключают от имени «Олега, великого князя русского», и «от всех, иже суть под рукою его светлых и великих князь и его великих бояр», 15 послов, все имена которых скандинавские: они «от рода русского»; заключают по поручению князей и по повеленью от всех, «иже суть под рукою его сущих руси». Едва ли можно, с Сергеевичем, видеть в этих словах указание на «киевское вече»: договоры, как особенно видно из игорева договора, скрепляли клятвой не только князя, но и всей его дружины. Договор регулирует русско-византийские отношения — вечный мир, торговлю, приезды руси в Царьград, отношения в Царьграде и на пути из Руси в Византию и обратно (греков и руси).

«Еврейский документ» — найден доктором Шехтером в рукописи, которая попала в университетскую библиотеку Кембриджа из рукописного собрания Каирской синагоги. Рукопись — XI — XII вв., но в ней документ, который по содержанию относится к середине X в.: письмо хазарского еврея к какому-то лицу, которое он почтительно титулует «своим господином». Письмо сообщает о бегстве евреев из Малой Азии, о том, как жили они среди хазар, о каганате, о войнах хазар с соседями и подчинении им алан. При царе хазарском Иосифе, современником которого является автор, византийский император Роман (Роман Лекапин, 919—944 гг.) учинил большое гонение на евреев, с чем автор письма, повидимому, связывает и вражду его к хазарам. «Роман послал, — пишет он, — также большие дары Hlgw (Halgu или Helgu), царю Руссии, и подстрекнул его на беду. И пришел он ночью к городу (или области) Самбараю (S-m-b-j-w, по Шехтеру, северяне, по Коковцеву, искаженное S-m-k-r-s — Samkars — еврейско-арабское название Тмутаракани) и взял его воровским образом». Затем говорится об успехах хазарского военачальника в войне с греками — взятии трех городов Романа в Крыму. Тот же военачальник, Песах, спас жителей, подвергшихся нападению руссов, «поразил всех, оказавшихся из них там и умертвил их мечом. И оттуда пошел он войной на Хельгу, которого бог смирил перед Песахом, отнял у него добычу, захваченную из Самбарая, и заставил его, смирившись с хазарами, итти войной на Византию. И пошел тот против воли и воевал против Константинополя на море четыре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне осилили их огнем. И бежал он и постыдился вернуться в свою страну, а пошел морем в Paras (это можно понять и как Персию и как Фракию), и пал там он и весь стан его. Тогда стали русские подчинены власти хазар» [1].

---

[1] Текст письма см. — *Schechter*, An unknown Khazar document, в октябрьской книжке «The Jewish Quarterly Review», 1912, New Series, v. III, N 2, p. 181.

Этот документ сродни другому, который вызвал столько разногласий по вопросу о его подлинности: письму самого кагана Иосифа с рядом сведений о Хазарском царстве. Письмо это к рабби Хасдаю; даже отрицающие подлинность считают письмо скорее псевдоэпиграфом, чем подлогом [1]. Вс. Миллер признает его надежным источником, а новое письмо признано, кроме Коковцева, хотя и с колеблющимися оговорками, и А. А. Шахматовым [2]. Сомнения могут относиться опять-таки скорее к форме изложения. Но по содержанию черты близости к данным событиям, конкретность не всегда нам понятных указаний устраняют возможность отбросить такой источник. А содержание это вызывает ряд вопросов. Имя императора Романа и описание похода на Византию скорее подходят к летописному походу Игоря, чем Олега. Тут и упоминание о «македонянах» и о «фраках», и «огнь на лодьи русския», и общая неудача похода. А. А. Шахматов полагает, что затруднения согласовать данные нового свидетельства об Олеге с летописными мнимые и касаются только хронологии, которая в летописи мало чего стоит.

Добавлю, что летопись вообще ничего не дает об Олеге, кроме сказания о его утверждении в Киеве и то в перебой с сказаниями об Игоре; вопрос, собственно, может быть только о соотношении «еврейского документа» с договором 911 г. и Игоревым договором 945 г. Оба не вяжутся с новым источником, а поход 941 г. ничем не обеспечен в смысле даты и плохо связан с договором, который помещен под 945 г.: летописец так представил дело, что после неудачного похода Игорь снова собрал войско, но греки испугались и без борьбы заплатили ему контрибуцию, а затем заключили с ним мирный договор. Самый договор этот заключен при Романе, Константине и Стефане. Роман был низложен в декабре 944 г., а Константин и Стефан — в январе 945 г. Договор приходится отнести к началу сентябрьского 6453 г., т. е. к концу январского 944 г., не позднее. А соправительство этих кесарей началось с 924 г., что, впрочем, не дает еще даты post quem, так как первые годы соправителем отца был и старший Христофор, а когда он умер, точно не знаем.

Любопытнее для сопоставления с «еврейским документом» иной рассказ о набеге Руси на Византию, тот, который из византийского источника, через так называемую «Хронографическую Палею», попал в Новг. I: «В лето 6428 посде князь Игорь на грекы русь скыдей (σχεδία) [3] 10 тысящь. И приплыша ко Царюграду, и много зла створиша русь...», затем о жестокостях руси рассказывается близко к тому, как про поход Олега 911 г. в «Повести временных лет», и далее: «в время же то царствующу во граде Роману и абие посла

---

[1] Письмо Иосифа см. у *А. Я. Гаркави* в «Еврейской библиотеке», т. VII, 1879, стр. 143 и сл. и т. VIII, 1880 г., стр. 135 и сл.

[2] *В. Ф. Миллер*, Материалы для изучения еврейско-татского языка, 1892, стр. VI и сл.; *П. К. Коковцев*, Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отношениях в X веке, «ЖМНПр.», № 11, 1913, стр. 150 и сл.

[3] Плот, лодья.

Роман царь патрикыя Феофана с вои на Русь и огненным строем пожьже корабля Рускыя, и возвратишася Рось в своя том же лете, преночиша и другое, на третьее идоша» [1]. Кого «посла» Игорь? «Еврейский документ» подсказывает: Олега, поддерживая этим общую концепцию Новг. I, что Олег — воевода Игорев. Дата 6428/920 г. —год коронации Романа — может быть просто летописной передачей общего указания, что поход состоялся «царьствующу во граде Роману». Далее, по Новг. I, руссы на третье лето после неудачного похода — в лето 6430 — снова пошли на Византию. Год прошел в том, что «Игорь и Олег пристроиста вои многи... и корабли многы безчислены», призвав новые силы с севера — варягов, кривичей и словен, а затем в 6430/922 г. — «иде Олег на грекы»: это тот успешный поход, который «Повесть временных лет» перенесла под 911 г., связав с ним заключение Олегова договора с греками 2 сентября 6420/911 г. Об особом Игоревом походе Новг. I ничего не знает [2].

Таковы «источники». Разве с отчаяния перед их сбивчивостью можно пойти за А. А. Шахматовым, вовсе разрывая всякую связь между Олегом и Игорем. Скорее, особенно под влиянием «еврейского документа», можно соблазниться, во всяком случае, остроумной догадкой книжника-летописца, который создал то построение, какое находим в Новг. I. Сбивчивость данных, какими располагаем, открывает простор для построений на разные лады. Пархоменко в статье по поводу нашего «еврейского документа» [3] видит в Олеге норманского викинга, который только ненадолго появляется в Киеве, сажает тут Игоря, а сам устремляется на Византию и после удачного похода уходит с добычей в «Тмутараканскую Русь» и тут переживает все рассказанное евреем: борьбу с хазарами, поражение, второй поход на Византию («быть может, вместе с Игорем») и гибель на чужбине. Это построение было бы не хуже других, если бы Пархоменко не переплел его с рядом иных фантазий — о родстве Игоря с Аскольдом, о княжении какого-то угорского князя в Киеве и т. д., да, сверх того, не скинул со счетов Олегова договора, свидетельствующего, во всяком случае, не о набеге норманского пирата, а о стремлении установить прочные и длительные отношения между двумя странами.

События, о которых говорят эти сбивчивые свидетельства, близко примыкают к той общей картине скандинавских движений на Востоке и Западе, которая так характерна для общеевропейской истории IX и X вв. С одним, однако, отличием: факт договора свидетельствует о значительном укреплении у греков того представления о руссах, которое патриарх Фотий преждевременно и преувеличенно высказывал в 860-х годах. Русь выступает организованной политической и торговой силой, вышедшей из элементарного хаоса пле-

---

[1] Новг. I, стр. 6.

[2] Новг. I, стр. 6; Лавр., стр. 32.

[3] *Пархоменко*, К вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни летописного Олега, «Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», т. XIX, кн. I, СПБ 1914.

менных передвижений, раз Византия может заключать с нею формальный договор. Этот договор содержит, кроме того, намек на политическую форму, какую начинает принимать эта Днепровская Русь: во главе ее старший князь, а «под рукою его» — по городам (Чернигов, Переяславль, может быть, и Полоцк, и Любеч, и «прочие городы») князья, которых нет никакого повода считать его родней. Знаменательно, что Новгород в наших источниках не упомянут. Так трудно помириться с мыслью, что это — случайность, что именно эта черта натолкнула А. А. Шахматова на построение, в котором «Игорь связан с Олегом только хронологически», что это новгородский князь во время господства Олега на юге, пошедший по стопам Олега на юг, чтобы утвердиться тут после его гибели или еще ранее, в борьбе с ним. Пожалуй, если исходить из стремления во что бы то ни стало привести в порядок отрывочные и сбивчивые данные летописей, можно такое предположение признать разрешающим ряд недоумений. Можно и добавить, что сходство в действиях Олега и Игоря, тождество их общей схемы, могло дать психологический толчок к их смешению и слиянию в народном предании: ведь такова весьма обычная черта народной памяти и народного творчества: слияние мотивов и их «обобщение» по сходству основных черт. Но историческим выводом такую догадку все-таки нельзя считать. Она не может претендовать на большее, чем значение остроумного соображения, иллюстрирующего состояние наших источников. Ведь могло быть и совсем иначе; например, умолчание о Новгороде среди городов, где сидят князья «под рукою» великого князя Олега, может оказаться следствием того положения дел на севере, которое отразилось независимым от киевских событий и отношений набегом варягов вниз по Волге, на приазовские и прикаспийские места, около 925 г., о котором говорит араб Масуди.

Момент, когда новгородский варяжский центр, давший себя знать еще в IX в., вступил в прочную связь с Киевской Русью, установить чрезвычайно трудно. Но всего вероятнее, что объединение под одной властью Киева и Новгорода совершилось при Игоре. Шахматов так и принимает, и притом видит в этом основание для признания Игоря сыном новгородского князя Рюрика. Константин Багрянородный, современник Игоря, сообщает, что в Новгороде «сидел Святослав, брат Игоря, князя Руси». В торговые караваны к Вышгороду сходятся во времена Игоря одподеревки из Новгорода и Смоленска, Любеча, Чернигова, Вышгорода вместе с киевскими. Эта торговля с греками идет не только на Византию (а, по дороге, и в Болгарию), но и на Херсонес. Константин Багрянородный указывает на переправу через Днепр, через которую идет путь из Руси в Херсонес, ниже порогов. По этому пути ездят в Русь и обратно херсониты, ходят и печенеги, ходили, очевидно, и русские торговцы. Сквозь беглые наброски Константина Багрянородного видно страну замиренную, торговую, с преобладающим значением городов, а в них — варяжской руси. Не надо упускать из виду, что Константин вполне определенно считает участниками

этой торговли только руссов, которых столь же определенно отличает от «славян, платящих им дань». Предания, сохраненные летописью о княгине Ольге, связали ее имя с Новгородской областью, где она «устави по Мьсте погосты и дани и по Лузе оброки и дани, и ловища ее суть по всей земли, знаменья и места и погосты, и сани ее стоять в Плескове и до сего дне» [1]. Переход от племенного быта к строю городских волостей остается неуловимым в сколько-нибудь конкретных чертах. Но лишь излишняя покорность историографической традиции и увлечение уверенным и блестящим изложением Ключевского позволяют нашей ученой и учебной литературе отделять этот переход от водворения среди восточных славян варяжской княжеской власти.

Договор Игоря с греками, помещенный в «Повести временных лет» под 945 г., дает кое-какие черты, дополняющие то представление о внутреннем строе Киевской Руси, которое получаем от Олегова договора. Суть дела та же. Во главе Игорь, великий князь русский, а под его рукой «всякое княжье и все люди русския земли» (повидимому, последнее выражение передает греческое παντων τῶν ρῶς. Но в перечне послов есть одна особенность. Они расписаны по тем, кто их посылал, поимянно. Ивор — посол Игоря, великого князя русского; Вуефаст — посол Святослава, сына Игорева, далее послы от Ольги, княгини; от Игоря, племянника Игорева; от Владислава, от Предславы, от Сфандры, «жены Улеблей»; от Турда, Арфаста, Сфирка и Якуна, Игорева племянника, и еще от 14 лиц, названных по именам (далее идут 26 имен гостей-купцов). Семья князя, кроме жены и сына, состоит из двух племянников — Игоря и Якуна (Константин Багрянородный упоминает еще брата Игоря Святослава, который княжил в Новгороде); но и Владислав своим славянским именем выделяется из варяжских имен подручного княжья, тем более, что за ним следуют две женщины: Предслава и Сфандра, жена Улеба, которые попали так высоко в списке, конечно, потому, что это княгини, одна из них — вдова Улеба-Глеба; Турд, Арфаст и Сфирк, записанные выше Игорева племянника Якуна, — также претенденты на особое княжое положение. По заключении договора терминология несколько меняется: тут говорится о хранении договора: «от Игоря и от всех боляр и от всех людей страны Русския». Характерны в обоих договорах перебои выражений «князья» и «бояре», «светлые князья» и «великие бояре», которым, впрочем, нельзя придавать особого значения, памятуя, что ведь это не самостоятельная терминология русского текста, а попытка передать какие-то выражения греческого оригинала. И кто мог переводить? Едва ли кто из Руси; скорее болгарин на греческой службе. Сидели ли эти родичи князя по городам, или «всякое княжье», это — отдельные варяжские вожди, а княжеская Игорева семья сидела гнездом в Киеве «на одном хлебе», как я представлял дело в своем «Княжом права»? [2] В пользу вто-

[1] Лавр., стр. 58—59.

[2] *А. Е. Пресняков*, Княжое право в древней Руси. Очерки по истории X — XIII столетий, СПБ 1909, стр. 26—27.

рого предположения я видел намек в том, что несколько позднее появляются упоминания об особых княжествах (варяжских): Рогволода — в Полоцке, Туры — в Турове. Но А. А. Шахматов в последней работе предполагает, что эти княжества появились заново во время смут, последовавших за смертью Святослава, чем лишний раз подчеркивается, насколько зыбка почва древнейших времен Киевской Руси для сколько-нибудь твердых и устойчивых заключений. Как бы то ни было, Киевская Русь выступает во времена Игоря уже значительной и сорганизованной, хотя и элементарно, политической силой. Наша летопись распределила, как умела, свои представления о ходе объединения восточного славянства под властью Киева по княжениям Олега и Игоря.

Образование Киевского княжества повело к устранению хазарской власти над восточнославянскими племенами в пользу киевских князей. Летопись упоминает об установлении дани со словен, кривичей и мери, о дани с «примученных» древлян, о замене хазарской дани северян и радимичей данью их киевской власти. Все это приписано Олегу. На долю Игоря — усмирение древлян с увеличением их дани («болши Ольгови») и ярким рассказом о его гибели во время полюдья в древлянской земле и о конечном разгроме древлян Ольгой, мстившей за мужа. Одно существенно в этих записях: киевский книжник-летописец говорит о «примучивании» племен, а не городских областей. Если бы существовал со времен «доваряжских» такой выработанный строй городских волостей, какой изображает Ключевский, пришлось бы признать, что всякая традиция о нем, как древнем, умерла в Киевской Руси XI в. А такой строй с развитой торговлей и крупным значением торговых городов предполагает сравнительно значительную культуру, при которой и традиция о прошлом более живуча. На деле ничто в тех данных, какими мы располагаем,— в писаниях арабов и византийцев и в преданиях нашей летописи,— не противоречит тому представлению о положении дел в стране, где главными центрами были Новгород и Киев, расположенные, как в эллипсисе, в двух «фокусах» области, втянутой в «торговое движение», и властвование варягов, отраженное в представлении Константина Багрянородного о взаимоотношении руси и славян.

Однако эту антитезу русь — славяне нельзя уже для времен Игоря понимать слишком этнографически или национально. Конечно, чисто скандинавские элементы руси еще не совсем стушевались. «Двуязычие» днепровской руси в эту пору несомненно. Достаточно вспомнить, что Константин Багрянородный дает названия днепровских порогов параллельно «по-русски» и «по-славянски», а также «варяжские» имена князей и бояр до времен Игоря — сплошь, при нем — преимущественно. Однако столь же несомненно, что в недрах тогдашней Руси сравнительно быстро нарастал тот процесс, исходный пункт которого намечен по источнику второй четверти IX в. арабом Гардизи: «Много людей из славян приходит к руссам и служит им, чтобы этой службой обезопасить себя». Недаром в Гнезненском могильнике варяжские крупные курганы

с скандинавскими вещами обросли кругом славянскими курганами помельче, с вещами местной славянской культуры. Варяжские дружины нельзя себе представить особенно многолюдными; засев в городских пунктах по стране восточных славян, особенно вдоль водного пути «из варяг в греки», они ищут опоры в местном населении, пускают корни в землю, и постепенно перемешиваются со славянскими элементами, усваивают славянский быт (в Гнезненском могильнике вся утварь — славянская) и через стадию двуязычия переходят к славянской (русской) речи, хотя знание «варяжского» языка, повидимому, долго жило в княжеской среде, еще во времена Ярослава Мудрого и его сыновей.

Этот процесс поглощения варягов-находников славянской средой сделал, повидимому, значительные успехи уже во времена Игоря. В княжеской семье встречаются имена славянские: Святослав, Володислав, Предслава. В 960-х годах испанский еврей Ибрагим Ибн-Якуб сообщает, что норманны, покорив славян, смешались с ними и усвоили их язык. В то же, Игорево, время наблюдаем и другое явление, чрезвычайно важное: Киевская Русь уже втянута в круг влияния южной христианской культуры. Текст Игорева договора с греками еще так средактирован, что «русин» резко противополагается «хрестьянину», т. е. греку. Договор заканчивается указанием, что хартия должна быть препровождена к «князю русскому Игореви и к людем его, и ти, приимающе харатью, на роту идуть хранити истину». А далее приписано о том, как послы Игоревы подтверждали договор в Византии: «Мы же, елик нас хрестилися есмы, кляхомся церковью святого Илье в соборней церкви и предлежащим честным крестом», что договор будет соблюден «князем и иными крещеными и некрещеными»; затем в той же записи описывается клятва некрещеной руси на своем оружии. Своеобразную клятву приносили «крещеные» руссы в византийской церкви соборной, т. е. в св. Софии, премудрости божией: они клялись не только «предлежащим крестом честным», но и своею церковью св. Илии, о которой летописец сообщает, что эта церковь находилась в Киеве «над ручаем, конець Пасыньче беседы», — и поясняет: «се бо бе сборная церковь, мнози бо беша варязи и козаре христиане» [1]. Во времена Игоря христианство делало большие успехи в самой Скандинавии, хотя и вело еще значительную и упорную борьбу с язычеством. Во всяком случае, возможно, что христиане были и среди варягов, приходивших на Русь из-за моря, но, с другой стороны, именно насаждение в Скандинавии христианства властью конунгов шло рука об руку с усилением этой власти — и вызывало острое недовольство местных князьков и вождей, толкая их на выход в чужие края в роли викингов. Эти общие условия тогдашних скандинавских отношений делают более вероятным, что на Русь уходили именно варяги-язычники. Не лучше обстоит дело с общепринятым суждением о заносе христианства варягами из Византии. Тщательное обследование данных о варягах, служив-

[1] Лавр., стр. 51 и 53.

ших в Византии, приводит к выводу, что «варяжский корпус» в гвардии византийского императора образовался не ранее 980 г., а византийские источники упоминают о нем только с 1034 г., исландские саги «первым варангом» считают некоего Болле, относя его пребывание в Византии к 1027—1030 гг. Притом и Васильевский и Браун признают, что образовался этот византийский корпус варягов не прямо из скандинавских выходцев, а из русских варягов [1]. Ведь самый термин «варяги» означал в Скандинавии (исландские саги) исключительно служивших в Византии варягов и, вероятно, возник для обозначения дружин скандинавов на Руси, откуда и перешел к грекам: греческое βαραγγος есть передача славянского варяг. Стало быть, роль варягов едва ли была значительна при появлении христианства в Киеве ранее времен Игоря (спорадически) и при нем в такой уже силе, что у христиан была даже своя церковь в Киеве. Едва ли можно придавать особое значение и упоминанию о хазарах. Откуда же они взялись, эти упоминания о христианах-варягах и хазарах, для пояснения христианства в игоревой дружине? Думаю, это всего правильнее понять, как догадку книжника-летописца XI в., на которую его навели, во-первых, память о киевских первомучениках-варягах (при Владимире), а во-вторых, известное ему сказание жития св. Кирилла о его успешной проповеди среди хазар.

Откуда же пришло христианство в Киев при Игоре? Существование церкви св. Илии, подтверждаемое записью в договоре Игоря с греками и комментарием к ней летописца, который даже знал ее место, говорит в пользу того, что едва ли христианство это существовало только в малочисленной дружинной среде. Раз была церковь, было и богослужение, был причт, были богослужебные книги. Источника христианского культа для Киева времен Игоревых негде искать, кроме Болгарии. Соседняя и родственная славянская страна пережила в начале X в. (век царя Симеона, 899—927 гг., и сына его Петра, 927—969 гг.) первый расцвет своей, славянской, религиозной культуры и церковной жизни с самостоятельным патриархатом. Все спорное, неясное, темное в ранней истории русского христианства зависит от состояния наших источников. Исследования А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова в значительной мере выяснили странную судьбу этих источников, подвергшихся неоднократной тенденциозной переделке, которая тщательно вытравляла из них следы крупного значения Болгарии в просвещении Руси христианством, сводя всю историю этого просвещения исключительно к заслуге греческого духовенства [2]. А между тем культурно-исторические судьбы Днепровской Руси связаны с бол-

[1] «Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв.», Труды В. Г. Васильевского, т. I, СПБ 1908.

[2] *А. А. Шахматов*, Корсунская легенда о крещении Владимира, «Сборник статей, посвященных В. И. Ламанскому», ч. II, СПБ 1908, стр. 1029—1153 и его же, Летописное сказание о Владимире и его крещении в «Разысканиях о древнейших русских летописных сводах», СПБ 1908, стр. 133—161; *М. Д. Приселков*, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X — XII вв., СПБ 1913.

гарским влиянием глубже и непосредственнее, чем с Византией. Вот как говорит об этом А. А. Шахматов в рецензии на книгу Пархоменко: «Болгары были непосредственными нашими соседями с юго-запада; греческая культура шла к нам именно оттуда; на это указывает, между прочим, то обстоятельство, что редкое греческое культурное слово попало в древнерусский язык непосредственно: посредствующей средой была Болгария. Историку культуры надо, прежде всего, считаться со следующим реальным и осязаемым фактом: болгары дали нам богослужебные книги и письменный язык; это лучшее доказательство, что христианство пришло к нам из Болгарии» [1]. Принятие христианства Владимиром было подготовлено «предшествующей культурной связью с Болгарией». Из Болгарии проникало оно в славянскую среду полян, угличей, тиверцев; из Болгарии шла христианская проповедь к восточным славянам. Таковы общие соображения, подтверждаемые позднейшей историей Святослава и Владимира, которые заставляют и значительные успехи христианства ко времени Игоря и при нем ставить в связь с усилением в это время славянского элемента, подчинившего своему влиянию варягов. В пользу такого воззрения говорит и то соображение, что славянская культура оказалась в X в. сильнее варяжской, раз варяги в несколько поколений вовсе ославянились.

Всматриваясь с возможным вниманием в скудные данные, какие имеем о временах Игоря, получаем впечатление, делающее понятным, откуда взялась, так сказать, психологически, скорее, чем логически и исторически, та концепция древнерусских отношений, какую так блестяще развил Ключевский. Ведь в основе этой концепции лежит представление, что славянская среда была культурнее и устойчивее, чем наносный элемент «варяг-находников». Это представление разрослось у Ключевского в художественный образ бродячего князя — вождя дружины, наемного военного стража Руси, «блуждающей кометы», «политической случайности» и т. д. Реально тут лишь то, что врастание варяжского элемента в славянскую почву происходило постепенно и прорывалось по временам порывами варяжского авантюризма. Но, как увидим, двойственность устойчивого быта и «варяжских» порывов не совпадает уже для X в. с антитезой между славянами и скандинавами. Это двойственность в деятельности самих князей, с одной стороны, организаторов нового политического быта городских волостей-княжений, с другой — предприимчивых воителей, которые готовы многое вдруг на одну карту поставить. Киевский центр уже при Игоре—прочный опорный пункт княжеской власти, укрепленный центр в «горах киевских», связанный с другими городскими пунктами, где сидели другие «князья» — «под рукою» киевского князя. Их основной интерес — южная торговля, а для нее — господство над славянскими элементами, сбор с них дани и вербовка из них новой военной силы, ее организация вокруг варяжского дружинного ядра для больших

---

[1] «ЖМНПр.», № 8, 1914.

походов на печенегов, на Византию. Ближайшее дело — утвердить свое господство над славянскими племенами, «примучить» их, по техническому выражению летописи, и обложить их данью. Это требует борьбы и притом, видимо, двойной: с самими славянами, которые снова и снова восставали, но иногда и с другими варяжскими вождями, которые устраивали себе отдельные княжения и не давались «под руку» великого князя русского или выбивались из-под нее. В обрывках преданий об этой борьбе, какие сохранила нам старая летопись, особенно ярко, хоть тоже обрывками, отразилась упорная борьба Киева с древлянами. Быть может, она потому была столь упорна, что у древлян были свои племенные князья — издревле или как организационный элемент, выступивший на сцену по необходимости, ради этой самой борьбы. Разумею упоминание в летописном сказании о мести Ольги за смерть Игоря князей, «иже распасли суть Деревьскую землю». Драматические эпизоды этой борьбы Киева с древлянами — смерть Игоря и месть Ольги — запечатлены тем же характером суровой дикости и эпической силы, какими веет от северных саг. Расправа Ольги с древлянами, по этому сказанию, закончилась избиением и порабощением («старейшины града изнима, люди овых изби, другие работе предасть мужам своим») древлян, а «прок их остави платити дань».

На юге, вне киевского центра, власть киевских князей только устанавливается «примучиванием» и «полюдьем». И в тех же древнейших преданиях более организованным выступает княжеское властвование на новгородском севере. Этот новгородский север вообще выступает как главная опора княжеской силы со времен Олега и до Ярослава: отсюда черпают князья боевую мощь, когда своей дружины нехватает, набирают «воев многих и храбрых», кроме заморских варягов, от словен и кривичей («верховнии вои» Владимира). Установление определенной дани со словен, кривичей и мери при Игоре дополняется преданием, что Ольга в Новгородской земле ввела вместо полюдья сбор дани в определенном размере («оброки») путем повоза, т. е. доставки ее в определенные пункты, «погосты», где ее, как видно из позднейших известий, принимали княжие мужи («даньщики»). К тому же времени отнесло предание и другое установление — особую дань с Новгорода, «мира деля», на лето. Термин «мира деля» вполне соответствует скандинавскому термину, означающему вознаграждение наемной дружине: tributum, quod mir vocatur, известен и западнославянским источникам и обозначает, например, в Чехии дань населения за охрану и защиту его княжеской властью. Эта дань — та самая, что позднее (при Владимире) упоминается как «урок», идущий в двух третях Киеву, а одна треть — раздается в Новгороде «гридем», т. е. дружине, названной тут варяжским словом hirdh — дом, двор, ср. hirdhmenn — дружинники. Аналогичный раздел древлянской дани приписывает летопись Ольге: две части дани идут Кыеву, а третья Вышегороду к Ольге, «бе бо Вышгород град Вользин». Вспомним, что, по свидетельству Константина Багрянородного, при Игоре сидел в Новгороде его брат (сын?) Святослав.

Так несколько выясняется значение Новгорода и Киева, как главных центров варяжской княжеской власти на Руси; так обеспечено было в них и содержание княжеской дружины. Остальные города пока в тени. В них сидят особые вожди — князья, которых естественнее представлять себе неродственниками Игоря. Лишь постепенно вытесняют их князья «Рюрикова» рода в пользу своих родичей или мужей-посадников и вводят их плотнее в организацию своего Киевского государства.

Если не упускать из виду, что главным мотивом утверждения варяжских князей на Руси было стремление к югу ради торговли и добычи, то их организационная работа представится преимущественно работой над обеспечением себе, во-первых, опорных пунктов для этих южных отношений, а во-вторых, источников обновления боевой силы для господства над славянами и для военных предприятий в направлении южном, византийском. А среди этих источников боевой силы долго важнейшим и наиболее надежным остаются «варяги из-за моря», которых князья зовут всякий раз в трудную минуту. Сохранить связь с заморской «Варангией» для них поэтому особенно важно. Связь эта обеспечена укреплением в Новгороде; тут всего ранее прочно сорганизовано княжеское дело; Новгород — опора для покорения юга Руси. Отсюда — тесная связь Новгорода с Киевом со времен Игоря до времени упадка Киевской Руси. Путь «из варяг в греки» — ось не только политической карты, но и политической жизни Киевской Руси. Ее единство крепко, пока оба конца пути в одних руках. Оно крепнет, когда крепко соединение Новгорода и Киева под одной властью, слабеет, когда ослабевает эта опора киевского князя.

Каков же характер связи Новгорода и Киева? Можно повторить за А. А. Шахматовым: «Русское государство создалось не на торговом пути, а на пути завоевателей». Значение пути «из варяг в греки» как транзитного торгового пути ничем не доказано и едва ли было для Киева особенно значительно. Южные византийские товары шли из Киева на запад, в Среднюю Европу, а вывозил он на юг продукты славянских промыслов. Лишь для Новгорода, участника киевской торговли, имел этот путь существенное значение, но чтобы он играл особую роль в общем обороте международной торговли, не видно: не знаем никаких особых «варяжских» товаров. По смерти Игоря в деятельности Ольги и Святослава сказалась с особой наглядностью двойственность в ранней деятельности русской княжеской власти: противоречие стремлений к прочной организации киевского государства и усвоению новой культуры, вскормленной болгарским влиянием, и старых порывов боевой силы к богатому югу.

С именем Ольги связан такой крупный культурно-исторический факт, как ее крещение. Сообщение летописи об этом событии выродилось в наивную и весьма несуразную народную побасенку. Вообще как дата, так и обстоятельства крещения Ольги остаются весьма неясными из-за разноголосицы источников наших, византийских и западных. Поездка Ольги в Константинополь — факт,

удостоверенный подробным описанием ее приема в труде императора Константина Багрянородного: «Εκθεσις της βασιλειον ταξεως» [1]. Аудиенция русской княгини у императора происходила 9 сентября 957 г. Ольгу приняли во дворце по тому же ритуалу, какой существовал для иноземных послов, а не как владетельную особу. Цель и характер этого приезда Ольги в Византию не указаны и могут быть угаданы разве косвенно. О крещении Ольги — ни слова, нет даже указания, что император принимал христианку... Правда, в перечне членов свиты Ольги назван священник Григорий. Но в церемониале приема ему отведено место столь невысокое, что едва ли его считали духовником княгини. При распределении подарков ему назначили дар меньше переводчиков, бывших в свите Ольги. И называет император свою гостью «Helga», т. е. ее скандинавским языческим именем, не упоминая ни разу ее христианского крестного имени Елена.

С Ольгой были в Византии ее племянник (не названный по имени), несколько родственниц, русских княгинь, и большая свита — 18 женщин, 22 посла, 42 купца, 12 переводчиков-толмачей. В таком составе посольства видят указание на его обычную цель — торговые и политические переговоры. Отражение такой цели посольства видят в некоторых деталях летописного рассказа, в общем вовсе переиначившего все дело. А именно, в словах императорских послов, которые прибыли в Киев по возвращении Ольги, что она обещала выслать императору «дары многи» — челядь, воск, скору и вои в помощь. Названы главные товары русского вывоза и «вои в помощь». В этом видят (Шахматов, Грушевский) реальную черту, след переговоров о торговом договоре и военном союзе. Последнее было бы особенно любопытно, по аналогии с владимировыми временами, если бы не естественные подозрения, не эта ли аналогия послужила источником для сказания об Ольге.

Однако не одна наша летопись говорит о крещении Ольги в Константинополе. О том же говорят западные хроники и позднейшие греческие писатели. Из западных хроник важнейшая — труд современника, хрониста императора Оттона I, так называемого «продолжателя Регинона». Он под 959 г. сообщает, что «пришли к королю (Оттону I), — как после оказалось, лицемерно, — послы Елены, королевы ругов, которая при константинопольском императоре Романе крещена в Константинополе». Что руги — руссы, а Елена — наша Ольга, видно из других западных хроник, где говорится о прибытии к Оттону послов от русского племени (legati Russiae gentis). Роман тут, разумеется, сын Константина Багрянородного, Роман II; Константин умер в ноябре 959 г., так что подмена одного имени другим едва ли дает основание для хронологических соображений, как делает Пархоменко [2]. Цель посоль-

---

[1] «Описание царского церемониала». — *W. Fischer*, Die russische Grossfürstin Helga am Hofe von Byzantien (Zeitschrift für Geschichte und Philologie, herausgegeben von Zwiedeneck-Südenhorst, Stuttgart 1888, XI).

[2] *Пархоменко*, Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX—X вв., Полтава 1913.

ства к Оттону, по продолжателю Регинона: «просили посвятить для сего народа епископа и священников». Отправка епископа задержалась. Назначенный было Либуций умер нежданно, и только в 961 г. поехал на Русь епископ Адальберт. Но и этот через год вернулся назад, «ибо не успел ни в чем, зачем был послан, и видел что его старания тщетны». Что до позднейших византийских историков, то упоминания их, т. е. Скилицы (у Кедрина) — XI в., и Зонары — XII в, о крещении Ольги в Византии едва ли имеют цену: они могли отражать версию, ставшую так сказать официальной со времен Ярослава и торжества на Руси греческой иерархии.

Наш летописный рассказ помещен под 955 г., быть может, не случайно. В одном памятнике киевской письменности, так называемой «Похвале Владимиру Иакова Мниха», говорится, что Ольга умерла в 969 г., прожив христианкой 15 лет. По этому расчету ее крещение как раз придется на 954/955 сентябрьский год [1]. Поэтому часть наших историков готова признать крещение Ольги в Киеве ранее поездки в Византию, самую поездку объяснять желанием побывать в столице новой веры. Указанные особенности рассказа Константина Багрянородного о приеме Ольги тогда пришлось бы объяснить тем, что ее христианство было, так сказать, неофициальным (как это было, например, в XIV в. у литовских князей, например Ольгерда) и что ее священник был поэтому неважным лицом при княжом дворе. Другие принимают крещение после 957 г., а Пархоменко строит целое второе путешествие Ольги после 959 г. Приселков принимает 955 г. для крещения Ольги в Царьграде, поездку ее в 957 г. считает второй, а враждебный тон отношения Ольги к императору в летописном рассказе, след несостоявшегося соглашения, объясняет раздражением Ольги против тех «приниженных форм церковно-политической зависимости Киева», какие ей навязывали греки в случае принятия из Византии церковной иерархии. Тогда, по мнению Приселкова, Ольга поступила по примеру болгар, т. е., не поладив с греками, обратилась на запад, но и тут получила не лучшие условия — не архиепископию или митрополию, а подвластную чужой высшей иерархии епископию [2].

Мне представляется весьма трудным сделать надежный вывод из этих данных. Думается только, что 955 год заслуживает внимания ввиду свидетельства Скилицы об имени патриарха, [и] что слишком искусственно в то же время всякое удвоение поездки Ольги в Царьград. Поэтому сравнительно более вероятным я считал бы крещение Ольги в Киеве и притом ранее 955 г., а запись ее приема — отражением недовольства греков тем, что Ольга не склонилась перед греческой церковью, а быть может, и не получила «полного» крещения, т. е. епископского миропомазания. Все это предположения, которые, может быть, не хуже, но во всяком случае и не лучше дру-

---

[1] И Скилица-Кедрин относит ее крещение ко времени патриарха Феофилакта, который умер в 969 г. *(Прим. автора).*

[2] *М. Д. Приселков*, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X — XII вв., СПБ 1913, стр. 9—14.

гих. Они не противоречат приселковским соображениям, в пользу которых говорит сообщение Регинана о назначении на Русь епископа. Сообщение весьма интересное, так как оно свидетельствует, что у Ольги была мысль о введении на Руси христианской церкви (ср. летописные рассказы о том, как она Святослава уговаривала креститься) [1]. Кажется только, что Приселков слишком прямолинейно сводит все дело к разногласиям с Византией по вопросу о независимости этой иерархии от патриарха и вообще о «церковно-политической зависимости». Вероятнее, что и другие мотивы разногласия были: не состоялся и торговый договор, шла, быть может, неудачная речь о союзе и военной помощи; словом, византийцы поставили ряд требований, а к тому же в летописном рассказе звучит, хоть и в народно-юмористической форме, словно отголосок вполне возможного недовольства Ольги, что «архонтиссу руссов» приняли не как владетельную особу, а наравне с иноземными послами.

Твердым остается только самый факт принятия христианства Ольгой с именем Елены. Он показателен для силы влияния христианской культуры в Киеве, но не только для этого. Свидетельства Константина Багрянородного и Регинона показывают, что при ней Киевская Русь выходит на путь более широких и определенных государственных (международных) сношений с соседними культурными странами. Как бы уже назрела мысль о вступлении Руси в круг стран, составлявших тогдашний европейский мир, что неизбежно должно было связаться с ее христианизацией. При некоторых конструктивных преувеличениях «Очерки» Приселкова имеют ту бесспорную заслугу, что чутко уловлен в них этот момент: на исторической очереди стоял важнейший вопрос о том, как же сложатся дальнейшие отношения Руси? Христианский культурный мир стоял перед нею организованным в две империи — западную и восточную. Обе половины когда-то единой Римской империи несли в себе дух ее универсализма, лишь углубленного и усиленного связью империи со вселенской христианской церковью, еще не расколотой формально тоже на две части. Каждая из этих империй была, однако, особым миром своеобразной культуры. Русь могла примкнуть к любому из них, и к миру восточному ее, в конце концов, привязала не Византия, а Болгария как посредница между христианской культурой и восточным славянством.

Вопрос остался нерешенным при Ольге. Быть может потому, что сама-то Русь была еще недостаточно готова к какому-либо его решению. Рядом с Ольгой стоит сын ее Святослав со своей дружиной как носитель еще стихийных варяжских импульсов. Таким, по крайней мере, его рисует нам летописное предание. Впрочем, и тут он не совсем варяг. Это — не викинг, который неукротим на лодье и в пешем бою. Святослава летопись изображает скорее степным наездником. Еще в ходу походы в лодьях, но уже выступает преобладающее значение конного войска, необходимого для степ-

---

[1] Лавр., стр. 61—62.

ных походов и борьбы с наездниками-кочевниками печенегами. Не варягом, а каким-то предком казаков украинских выглядит Святослав на портрете, который набросал с него Лев Диакон при свидании его с императором Иоанном Цимисхием. Святослав переехал реку в лодье, сидя за веслом, и греб наравне с прочими; стройный, широкоплечий, среднего роста, с голубыми глазами и плоским носом, с бритой бородой и длинными густыми усами, с голой головой и одним локоном — чубом, что означало, по мнению византийца, знатность рода, в простой белой одежде, с золотой серьгой в одном ухе, украшенной двумя жемчужинами и рубином. Чем не запорожский атаман? История Святослава — последняя вспышка буйной силы, разгулявшейся в IX и X вв. на вольном просторе Восточной Европы, и в то же время последний взмах меча, создавшего основу Киевского государства. Потому «последний», что в то время уже работали другие исторические силы над созданием новых условий для концентрации восточного славянства как основы новой исторической народности. Кочевники-печенеги создали внешнее давление, которое принудило разбросанные племенные силы сжаться в определенной территории, а рост экономической и духовной культуры и развитие новой гражданственности, новых форм политического и общественного быта подготовляли иную организацию внутреннего строя этих племенных сил.

В начале боевой деятельности Святослава стоит разгром хазарской силы. Святослав нанес хазарам решительное поражение — взял их крепость Белую Вежу (Саркел) на Дону, победил ясов и касогов, что, повидимому, предполагает захват и Тмутаракани. Быть может, с этой восточной войной Святослава связан и варяжский набег, разгромивший в 969 г. Булгар, Итиль и Семендер, чем Хазарскому царству нанесен был смертельный удар. Но если и связан, то не так, чтобы с Гаркави и Грушевским самый набег этот приписывать Святославу, а так, что успехи Святослава подготовили разгром Хазарии четыре года позднее, а может быть, и ближе, так что варяжские силы, ринувшиеся на Волгу из Новгорода, действовали по соглашению с Святославом. Но все это весьма гадательно. Победив хазар, Святослав покорил вятичей киевской власти и наложил на них дань. Разгром Хазарии в 60-х годах X в. был результатом напора на хазар не только киевского князя и северных варягов. Еще на сто лет раньше начался подрыв хазарской силы печенегами. Ведь против них сооружена была на Дону крепость Белая Вежа, и тогда еще они, тесня угров, стали проникать в черноморские степи. «Повесть временных лет» записывает под 968 г.: «Прийдоша печенези на Русскую землю первое», забыв, что сообщала о появлении печенегов даже ранее прохода угров мимо Киева, о первом их приходе на Русь при Игоре, о его войнах с печенегами, о том, как печенегов дарами поднимали на Игоря греки и как он их пропустил на войну с болгарами, после того как купил их помощь против Византии, с которой, однако, без боя помирился. Разгром Хазарии должен был развязать руки кочевникам, и в этом смысле, пожалуй, права «Повесть временных лет»: печенеги впер-

вые напали на самый Киев, а с тех пор стали надолго бичом южной Руси. Во время этого нападения печенегов Святослав был далеко на юге. Византийская политика втянула его в войну с дунайскими болгарами. Кстати сказать, этот акт византийской политики, согласный с их обычной практикой — подкупом поднимать одних «варваров» на других, как в свое время они поднимали печенегов на Игоря, делает вероятным известие, что Константин Багрянородный у Ольги просил «вои в помощь». Византия, чья культура и благосостояние расцвели на широких торговых связях с Западом и Востоком, переживала в X в. трудное время все усиливавшегося напора с востока арабов, с севера — болгар. Засорялись кругом ее торговые пути. Углубить свои связи с севером, открыть тут себе новые рынки, замирить, по возможности, этот буйный черноморский север и подчинить его своему влиянию, черпая из него в частности и боевую силу, когда своей нехватало, а ее никогда нехватало, — было прямой необходимостью. Можно повторить суждение проф. Андреева, что «Византия идет к нам, не мы к ней». Византия сама втягивала русские силы в круг своих торговых и политических интересов. Лев Диакон сообщает о посылке к Святославу херсонесца Калокира с 1 500 тысячами фунтов золота, чтобы склонить его на поход против Болгарии [1]. По рассказу Льва Диакона, Калокир внушал Святославу мысль о захвате Болгарии для себя. В такой затее, как показал ход событий, не было ничего слишком фантастического. Соблазнительно было овладеть всей подунайской торговлей, придвинувшись вплотную к Византии по следам болгарского царя Симеона, который ведь мечтал о славянском царстве на Балканах с Византией в руках болгарского царя и так близок был к осуществлению этой мечты. Летопись приписывает Святославу такие слова: «Хощу жити в Переяслаци на Дунаи, яко то есть средина земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато, паволоки, вино и овощеве разноличные, из Чех, из Угор — серебро и кони, из Руси же скора, и воск, и мед, и челядь» [2]. В 968 г. Святослав появился в Болгарии с большим войском (по Льву Диакону — 60 тысяч). Болгары были разбиты под Доростолом (Силистрия), [Святослав] овладел восточной частью Болгарии и засел в Переяславце (село Преслав у Тульчи, на юг от Дуная).

Царь Петр Симеонович нежданно умер после Доростольской битвы, и для Святослава раскрывались как будто самые широкие перспективы. Разрыв с греками был неизбежен. Император Никифор Фока укрепляет Царьград, начинает переговоры с болгарами, видимо испуганный тем, что часть болгар пристала к Святославу. Быть может, хотя прямых указаний на это нет, само нападение печенегов на Киев, заставившее Святослава покинуть Болгарию, случилось не без участия византийской политики и византийского золота. Эта осада Киева вызвала Святослава с дружиной домой. Набрав воев, он отогнал печенегов в степи, заключил с ними мир

---

[1] *Знойко*, О посольстве Калокира в Киев, «ЖМПНр.», № 4, 1907.
[2] Лавр., стр. 66.

и поспешил обратно на Дунай. Тут ждала его борьба с новым противником. В 969 г. Иоанн Цимисхий, убив Никифора Фоку, занял его престол. Об этой борьбе летопись дает лишь анекдотические подробности, а греки — только намеки на большие успехи и конечную неудачу Святослава. Он занял Преславу, столицу болгар, и царь Борис в каком-то соглашении со Святославом, ибо сидит в Преславе вместе с русским воеводой, которого греки называют Сфенкел, «который занимал третье [?] место по Святославе» (вероятно, Свенельд или третий за вторым, Свенельдом). Русские войска вместе с отрядами болгар, угров и печенегов разорили Фракию, но были разбиты недалеко от Адрианополя (при Аркадиополе) Вардой Склиром, которого прислал Цимисхий, сам занятый борьбой с арабами в Сирии. Однако и Склира пришлось отозвать назад ввиду восстания племянника убитого императора Никифора — Варды Фоки, а русь пока разоряла Македонию. Только захватив Фоку в свои руки, в начале 971 г. Цимисхий смог сам повести дела в Болгарии. Суда с «греческим огнем» вошли в устье Дуная, а сам император обрушился на врага, использовав огромную оплошность Святослава, оставившего незанятыми балканские проходы. Цимисхий взял Преславу, и болгары при первых успехах перешли на его сторону. Трехмесячная осада Доростола, где заперся Святослав, заставила Святослава после отчаянной попытки пробиться заключить мир с правом уйти на Русь и получить на дорогу провиант. Лев Диакон сообщает о возобновлении прежних торговых договоров и о выдаче хлеба на 22 тыс. воинов. По договору, сохраненному в летописи, Святослав обязался не нападать на греков и не насылать печенегов («языка иного») на их владения, ни на Корсунскую страну, ни на Болгарию и даже защищать их, если кто нападет (опять — печенеги).

Восточная Болгария была присоединена к Византии. Русской силой разбита славянская опасность для греков. В то же время византийские послы появились у печенегов замирять их. Скилица, греческий хронист, сообщает, будто это же посольство заботилось о безопасном пропуске печенегами Святослава. Вероятно, результатом этой «греческой заботливости» была засада, где Святослав был захвачен Курей, ханом печенежским, и убит. «И взяша главу его и во лбе его сделаша чашю, оковавше лоб его, и пьяху из него» [1].

Упорное стремление Святослава в Болгарию, его попытку тут устроить «среду земли своей», естественно связать с указанным общим усилением болгарского влияния во времена Игоря. Тот процесс постепенной славянизации варяжского элемента, который составляет важнейшую сторону образования Киевской Руси, сказался тут достаточно ярко, придав особое направление не набега, а завоевания культурных и торговых центров, и именно югославянских, самому завоевательному импульсу Святослава. Приселков сделал в своих «Очерках» попытку еще более углубить мотивы Святослава: он предполагает, что Святослава манило в Болгарию вместе с другими мотивами «выгодное решение для Руси церковного во-

[1] Лавр., стр. 72.

проса с приобретением болгарского патриархата». На это достаточно заметить, что у нас нет ровно никаких указаний на то, чтобы Святослава интересовали церковные вопросы, а напротив, определенно засвидетельствовано его язычество [1]. Лев Диакон дает описание языческих обрядов, какие выполняла русь в Доростоле. Приселков полагает даже, что в дружине Святослава вовсе не было христиан, а все-таки представляет принципиальный политический вопрос об учреждении на Руси самостоятельной церковной иерархии чуть ли не основным мотивом всей политики Святослава. Не думаю, чтобы тут можно было видеть что-либо, кроме крайнего увлечения излюбленной предвзятой мыслью. Кстати, о дружине Святослава: санкцию договора Святослава с греками: «да имеем клятву от бога, в него же веруем [в] Перуна и [в] Волоса, скотья бога» — А. А. Шахматов так толкует, что бог — тут христианский бог, противополагаемый Перуну и Волосу, — в полной аналогии с санкцией Игорева договора.

Завершителем образования Киевского государства историки обычно называют Владимира Святославича. Этот взгляд на историческое значение Владимира связан с определенными моментами как внутренних отношений, так и внешнего положения Киевской Руси — до Владимира и при нем. Для первых наш единственный источник — летопись, именно «Повесть временных лет», так как Новг. I. не дает тут существенных вариантов. Уходя на вторую болгарскую войну, «Святослав посади Ярополка Кыеве, а Ольга в Деревех. Все же время...» и т. д. [2] А. А. Шахматов в «Разысканиях» [замечает]: «Не может быть сомнения, что перед нами народное новгородское предание. В нем сказывается и некоторый юмор сознающего свой перевес новгородца, и гордость по поводу сделанного выбора, ибо Владимир оказался победителем Ярополка и могущественнейшим князем русским. Кроме того, здесь в активной роли выступает Добрыня — один из популярных посадников новгородских. Это также доказывает новгородское происхождение записи» [3]. А. А. Шахматов исключает это «народное новгородское предание» из своей реставрации прототипа «Повести временных лет» — «Древнейшего Киевского свода» и так изменяет текст «по догадке»: «Святослав посади Ярополка Кыеве, Ольга в Деревех, а Володимера Новегороде». Сказание же новгородское Шахматов относит к другому источнику «Повести временных лет», к так называемому у него «Начальному своду», т. е. «Временнику киево-печерского

---

[1] *А. А. Шахматов*, Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни, «Научный исторический журнал» № 4, 1914.

[2] Лавр., стр. 67—68: «В се же время придоша людье ноугородьстии, просяще князя собе: «аще не поидете к нам, то налезем князя собе». И рече к ним Святослав: «а бы пошел кто к вам». И отпреся Ярополк и Олег, и рече Добрыня: «просите Володимера». Володимер бо бе от Малуши, ключнице Ользины, сестра же бе Добрыни, отец же бе има Малък Любечанин, и бе Добрыня уй Володимеру. И реша ноугородьци Святославу: «въдай ны Володимера». Он же рече им: «вото вы есть». И пояша ноугородьци Володимера к собе, и иде Володимер с Добрынею, уем своимь Ноугороду, а Святослав Переяславцю».

[3] *А. А. Шахматов*, Разыскания о древнейших летописных сводах, стр. 173.

игумена Иоанна», составленному около 1095 г.,— к Новгородскому своду 1050 г., т. е. сложившемуся во времена Ярослава. — Существенно в этих распоряжениях Святослава, что опять организованными центрами Руси выступают только Киев и Новгород — тут прочные гнезда власти киевских князей. Киев с его областью Святослав поручает старшему сыну Ярополку, в Новгород посылает посадника Добрыню, «вдав ему на руки» младшего сына Владимира. А среднего — Олега—он сажает «в Деревех» — у сравнительно недавно «примученных» древлян. Сам термин как бы подчеркивает отсутствие крепкого городского центра. Нет еще «Волынской земли», нет еще городской волости. «Градом» Олега был, может быть, Овручь, где он затем находит последнее убежище и могилу («и есть могила его и до сего дне у Вручего»). С этой попыткой Святослава передать в годину ухода на большую борьбу власть в главных пунктах на Руси сыновьям, связан вопрос о княжении иных варяжских вождей по другим городам Руси.

В летописном рассказе о деятельности Добрыни и Владимира выступает Рогволод с пояснением: «Бе бо Рогволод пришел из-за моря, имяше власть свою Полотьсте». Шахматов принимает это пояснение за указание, что Рогволод незадолго перед тем появился из-за моря и засел в Полоцке. Это ведет его к дальнейшим предположениям. Он полагает, что «смерть Святослава, а может быть, и все бурное его княжение» привели к распадению киевской державы; новгородский север освобождается от киевского господства. Вероятно, в связи с этим стоит усиление здесь пришлых варяжских элементов. Так, к полоцким кривичам приходит варяг Рогволод и основывает здесь свое княжение; варяги проникают и южнее, в землю дреговичей и древлян: в Турове садится варяжский князь Туры. «Киево-печерский временник», взяв из «Новгородского свода» известие о Рогволоде, добавляет: «а Туры Турове, от него же и Туровцы прозвашася» и тем еще более навел А. А. Шахматова на представление об «усилении варяжского элемента», хотя неизвестно, были ли у него основания считать создание Турова варяжским эпонимом его Туры одновременным с появлением в Полоцке Рогволода. Может быть, правильнее говорит Грушевский о Туре и Турове: «Эта легенда, разумеется, только этимологический миф: от имени города получился рассказ про его основателя —эпонима, но она показывает, что в Турове помнили о князьях, *раньше* княживших, чем старший Володимерович (Святополк туровский)»[1]. Считаю возможным принять из всех этих указаний предания, что были независимые от Киева княжества варяжские в Полоцке, в Турове и, конечно, в некоторых других городах; были и до Святослава, и при нем. Это, видимо, те самые «князья», что в договорах Олега и Игоря понимаются как сущие под рукой великого князя киевского.

Что же произошло по смерти Святослава? И, прежде всего, как понимать самое «посажение» Святославичей в Киеве, Новгороде, в Древлянской земле? Был ли это раздел отцовских непосредствен-

---

[1] *М. Грушевский*, История Украины Руси, т. I, Львов 1903.

ных владений между сыновьями или только их посажение в качестве посадников великого князя-отца? В пользу второго предположения говорит помещение в главном городе — Киеве — старшего, а второго не в Новгороде, а в ненадежной, недавно «примученной» и, видимо, еще бурлившей земле Древлян. Как бы то ни было смерть Святослава создала сразу весьма острое положение. Суть этого положения превосходно определил Ключевский: «Когда умирал отец, тогда, повидимому, разрывались политические связи между его сыновьями; политической зависимости младших областных князей от старшего их брата, садившегося после отца в Киеве, не заметно; между отцом и детьми действовало семейное право, но между братьями не существовало, повидимому, никакого установленного, признанного права». Основная черта древнего семейного права — равенство братьев, без всяких преимуществ и прав старшего над младшими,—становилась в резкое противоречие с основной тенденцией всей деятельности киевских князей создать прочное подчинение Киеву всех славянских племен и городов Днепровской Руси. Отсюда братоубийственные усобицы, которых исход — в гибели всех, кроме одного, кто овладеет всем отцовским наследием и станет снова «един володея в Руси». Такой разрыв между братьями видим сразу по смерти Святослава. Летописные предания ничего прямо не говорят о варягах-вождях, сидевших под рукой великого князя киевского. Но если они были, как во времена Игоря, их зависимость от Киева должна была тем более порваться. Одного мы знаем — Рогволода полоцкого; упоминание о Туры дает намек на смутную память, что и в Турове, на правом берегу Припяти, в области древлянской, было такое варяжское княжество. Правил же кто-либо в Переяславле, Чернигове, Смоленске? Мужи, посадники Святослава? Но можно ли их отличать от «светлых князей», «великих бояр» для договоров тех времен с греками? Мы слишком мало знаем об этих отношениях, а потому так трудно понять фигуру Свенельда.

Свенельд (Свеньделд) — воевода Игорев (Новг. I), но сразу выступает особливо. Примучил Игорь угличей и «дасть дань на них Свенелду». Примучил древлян «и дасть же дань деревьскую Свенелду», несмотря на ропот дружины: «все дал еси едныому мужеви много». В связь с этим ропотом предание ставит поход Игоря «по дань» в Древлянскую землю, кончившийся его гибелью. Дружина говорит Игорю: «отроки Свенелжи изоделися суть оружием и порты, а мы нази, а пойди, княже, с нами по дань и ты добудеши и мы». «Повесть временных лет» и Новг. I. дают уже ясную переделку сказания, книжную, когда вместо удвоения дани древлян тем, что сверх сбора Свенельдом («по черне куне от дыма») Игорь в свою пользу учиняет полюдье, дают удвоение Игоревой дани — переделку, весьма неуклюжую в редакционном отношении. Далее, Свенельд весьма странно мелькает в рассказе о событиях времен Святослава. О детстве Святослава говорится: «и кормилец его Асмуд [и] воевода бе Свенелд, то же отець Мистишин «[Мьестишин]». И далее — в рассказе о походе Ольги с малолетком Святославом на древлян: «и рече

Свенелд и Асмуд». Наконец, Свенельд появляется в рассказе о возвращении Святослава из последнего похода в Болгарию. «Рече же ему воевода отень Свенелд: поиди, княже, около на конех, стоят бо печенези в порозех»,— не послушал Святослав, пошел «в лодьях»— и погиб. «Свенельд же прииде Кыеву ко Ярополку». Когда Ярополк начал княжить в Киеве — у него был воеводой Блуд, а Свенельд выступает в последний раз в рассказе о том, как князь Олег убил на охоте Свенельдича Люта, а Свенельд за то подговорил Ярополка: «поиди на брат свой и приимеши власть его». В первых текстах имя Свенельда явно вставное в первичный текст, где его не было. Рассказ же о роли Свенельда в усобице сыновей Святослава А. А. Шахматов исключает из первоначальной редакции «Киевского свода» (тут нет ему места при Блуде, как искусственно его положение при Асмуде), как и упоминание Свенельда в истории Святослава. Но А. А. Шахматов совсем не объясняет, откуда взялся Свенельд в тексте договора Святослава с греками, тоже в позиции чрезвычайной и весьма странной. Тут так читаем: «Равно другого свещанья, бывшего при Святославе, велицем князи Рустем, и при Свенельде...», затем: «Аз Святослав...» и т. д [1]. Договор имеет вид не договора, а скорее обязательства Святослава Цимисхию. И тут имя Свенельда — явно вставка. В чем же дело? А. А. Шахматов в «Разысканиях» устанавливает вполне убедительно, что все сомнительные сведения о Свенельде идут из «Киево-печерского временника», который он называет «Начальным сводом», т. е. из той переработки древнейшего «Киевского свода», которая была общим источником для «Повести временных лет» и Новг. I. Начальный свод имел какие-то предания о Свенельде как воеводе отнем при Святославе и вставил его при Асмуде, а Блуда исключил в пользу Свенельда, на него перенес и совет Блуда — отнять волость у Олега, плохо согласовав этот мотив с другим — мести за сына. Далее конструкция А. А. Шахматова такова: Лют Свенельдич — Мстиша (Мстислав), со ссылкой на существование былин о Мстиславе Лютом (Лютым Мстиславом называют некоторые тексты князя Мстислава Владимировича). О Мистише упоминается как об известном из предыдущего, а раньше о нем ничего нет. Ведь исключил «Начальный свод» и упоминание о Свенельде при дани угличей и древлян. Этот пропуск А. А. Шахматов связывает с пропуском о Мистише и полагает, что затушевана редактором целая история об уступке Игорем Свенельду власти в земле Древлянской и его гибели в борьбе за древлянскую дань с Мстиславом Свенельдичем.

Вождь древлян назван в «Начальном своде» Мал, но Длугош, пользовавшийся русскими летописями в списках, особых от тех, какие мы имеем, называет его Miskina, т. е. Мистина, — вариант имени Мстислав у западных славян. Скрещение этих известий древ-

[1] Лавр., стр. 71: «Аз Святослав, князь русский, якоже кляхся, и утверждаю на совещанье сем роту свою: хочю имети мир и свершену любовь со всяким великим царем греческим... и со всеми людьми вашими, и иже суть подо мною Русь, боляре и прочии, до конца века».

нейшего свода с преданиями об убиении Люта Олегом и гибели Олега в борьбе с братом Ярополком по наущению Свенельда было нескладно разрешено в «Начальном своде» вставками и пропусками, которые оставили следы в наших текстах. Затем путем довольно сложных комбинаций и догадок А. А. Шахматов с Мистишей, чье имя заменено князем Малом, связывает Малку — Малушу (Мальфредь 6508/1000 г.), мать Владимира, сестру Добрыни (Никитича — Мистишича).

Не буду подробно разбирать это построение. По-моему, в нем мало того, что должно быть основной чертой всякого гипотетического построения — внутренней цельности. Но часть его, кажется, удачно освещает странности дошедших до нас текстов. Именно та, где гибель Игоря ставится в связь с борьбой по настоянию дружины между Игорем и Свенельдом. Она находит подтверждение в прямом указании на связь этой истории с ропотом дружины против уступки Свенельду древлянской дани, а что об этом прямо не сказано, — объясняется следами недомолвок и переделок в наших текстах. А. А. Шахматов предполагает их причину в стремлении книжника согласовать свои разные источники. Быть может, тут дело было не так просто. Летописец вообще строил, так сказать, «династическую» историю князей Рюрикова дома и вытравлял, что шло с нею вразрез. Недаром же у него без вести пропали все «светлые князья», сидящие по городам под рукой великого князя киевского. Рогволод уцелел только в связи с биографией Владимира и преданием о Рогнеде, а Туры — случайная (ненужная) вставка в связи с объяснением названия Турова.

Разъяснить историю Свенельда едва ли возможно при наличных данных. Но облик его при Игоре рисует положение слишком сильных вождей, стоящих о бок главного «князя»; ему с ними приходится делиться не добычей только, а завоеваниями (улучи, древляне). Ведь дань — основная черта тогдашней подвластности. Так, может быть, и история «Люта» Свенельдича, сведенная, как и многое другое в летописи, к анекдоту, скрывает под собой момент борьбы Святославичей с варяжскими вождями за власть над областью, еще слабо связанной с Киевом. Во всяком случае таков несколько позднейший эпизод с борьбой Владимира против Рогволода полоцкого.

Тем важнее было сохранить единство киевской власти. А оно распалось. Ярополк начал борьбу за ее восстановление походом на Олега, чтобы «приять волость его» (источник Длугоша знает только этот мотив усобицы). Владимир так и понял и «убоявся, беже за море», «а Ярополк посадники своя посади в Новгороде и бе володея един в Руси». Но Владимир вернулся из-за моря с варягами, прогнал посадников Ярополчих, объединил весь север под своей властью, убив полоцкого Рогволода, и двинулся на юг добывать Киев. Изменой, по преданию, заманил он к себе брата, убил его, «и нача княжити Володимер в Киеве един». Как последний проблеск самостоятельной и строптивой варяжской силы выступает против него какой-то Варяжко, дружинник Ярополка, который после гибели своего князя бежал к печенегам «и много воева Володимера с печенеги»,

да наемные варяги Владимира, которые помогли ему занять Киев, потребовали окупа с города, но Владимир «избра от них мужей добрых и смысленных и храбрых и раздал им грады», а прочим «показал путь в греки». Рассказ об этом эпизоде, вероятно, смягчен в летописи, так как сама она приписывает Владимиру посольство к императору с советом не держать варягов «в граде, оли то сътворят ти зло, яко и сьде». На этом моменте завершается, можно сказать, варяжский, эпический период русской истории. Не то чтобы на этом кончилась роль варягов в жизни Руси. Она весьма значительна и при Владимире и при Ярославе, частью и позднее, но это роль уже другая: варяги на Руси впредь встречают сильную, организованную княжескую власть, к которой вступают на службу либо целым отрядом, либо поодиночке на условленном жалованье. Это не боевые товарищи князя-завоевателя, а наемная дружина князя-правителя.

Нет никаких оснований представлять себе тех же варягов до времен Владимира наемниками, а не «находниками» даже по отношению к князьям, а тем более к населению. А какая есть возможность представлять себе без явного противоречия с совокупностью данных, какие у нас только и есть относительно древнейших времен Киевской Руси, самих князей и их дружины наемниками русских городских общин, сильных и организованных, господствующих над «городскими волостями», — по Ключевскому и другим? Строй этот вырабатывается весьма постепенно в «княжеские» времена. В некоторых его чертах и позднейших летописных рассказах можно еще отметить некоторые «архаизмы» и «пережитки», которые дают кое-какие намеки на порядки X в. Но их я отмечу позднее, при описании уже сложившегося строя.

«Владимир был настоящим основателем Киевского государства» (А. А. Шахматов). Первые летописные известия о деятельности Владимира по утверждении его в Киеве подтверждают суждение А. А. Шахматова, что «смерть Святослава, а может быть, и все его буйное княжение привели к распадению киевской державы». Владимир заново покоряет вятичей, усмиряет повторное их восстание и восстановляет дань, наложенную на них Святославом. Снова покоряет радимичей, и они «платят дань Руси, повоз везут и до сего дне», обеспечивает северо-восточные владения походом на камских болгар, а западные — походами на «ляхов» (овладевает Перемышлем, Червеном и другими городами и укрепляет за Русью обладание ими), а также походом на ятвягов, землю которых разорили его войска. Ходил он и на «хорватов» (повидимому, чехи или подвластное чехам карпатское славянское население?). Летописец киевский метко определил значение этой деятельности Владимира, отметив, что Владимир «бе живя со князи окольними миром — с Болеславом Лядским и с Стефаном Угорским и с Андрихомь Чешским, и бе мир межю ими и любы». Владимир закончил территориальное определение киевской державы как определенного государства, пограничного с другими, поставил его в ряд организованных единиц политического мира, вступив с соседями в устойчивые международ-

ные отношения. Такие отношения возможны были только на западе. Восточная граница Киевской Руси прилегала к изменчивой и бурной степи. Владимир усиленно укрепляет эту границу, которая никогда не могла стать прочно замиренной. Он «нача ставити городы по Десне, по Востри и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне», ряд укрепленных линий, одну за другой, «бе бо рать от печенег и бе воюя с ними и одоляя им». Три линии укреплений должны были затруднить доступ к Киевщине. С востока от Днепра — степная местность, центр которой Переяславль, была в постоянной опасности; тут, около Переяславля еще сохранились старинные валы, а на правом, западном берегу Днепра опасная граница еще ближе подошла к самому Киеву. Память о ней хранят до сих пор три линии валов в бассейне реки Стугны. А центром обороны с юга стал Белгород, построенный Владимиром на берегу Ирпени, всего в 3 милях от Киева.

Давление внешней опасности — могучий фактор, кующий национальное и государственное объединение. Владимир возобновляет и завершает строение киевской державы; для этого ему надо было сосредоточить в своих руках силы восточного славянства. А для этого требовалось сосредоточить в своих руках более непосредственную и действительную власть над ним.

Святославом был найден путь к этой цели — посадить по важнейшим пунктам сыновей. Прием весьма двусмысленный с точки зрения единства власти, так как, по тогдашним воззрениям, в которых не было различения разных сторон «права», каждый княжич — потенциальный носитель отцовских прав на «вотчинном» основании, и передача ему в управление части отцовских владений будила представление о «выделе» сыну-наследнику его «вотчинной» доли для самостоятельного пользования и хозяйничанья. Но сохранение отцовской власти над посаженными по городам сыновьями (власти «патриархальной») могло, казалось бы, выполнить нужную политическую функцию — сохранить в отцовской руке право и возможность распоряжаться военными силами и финансовыми средствами, какие отдавались в заведывание сыновьям. Казалось, что на своих скорее можно положиться, чем на чужих, хотя бы «мужей» из княжой дружины, которые еще не выработались за ранний, варяжский период в тип «слуг» князя, а слишком еще чувствовали себя соучастниками общего боевого предприятия с правом на долю в добыче, доходах и власти.

Фигуры Свенельда, может быть и Олега, затем Рогволода показывают, хоть намеком, как легко «великие бояре» превращались в «светлых князей» под рукою великого князя, пока это выгодно, без такой зависимости, когда это выгоднее. Овладев Киевом, Владимир посадил в Новгороде дядю своего Добрыню. Князем или посадником? Вопрос праздный, ибо к такому «посаднику» переходила вся княжья власть по управлению, а такой «князь» оставался «под рукой» великого князя киевского и отправлял в Киев часть собранной дани. Позднее Владимир сажает по волостям или по городам сыновей. Летописи перечисляют имена 12 сыновей Владимира. Он сперва, по сообщению летописи, сажает по городам четырех стар-

ших сыновей: Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, Ярослава в Ростове. По позднейшим известиям оказывается, что Судислав сидел в Пскове; он исчез из летописного перечня ввиду позднейшей судьбы: вероятно, его Ярослав посадил «в поруб», и лишь по смерти Ярослава Ярославичи выпустили дядю, заставив его постричься в монахи. А по смерти Вышеслава Владимир перевел Ярослава в Новгород, в Ростов послал Бориса, посадил в Муроме Глеба. В Древлянской земле в момент кончины Владимира сидел Святослав; на Волыни, во Владимире Волынском, сидит Всеволод. В Тмутаракани летопись, может быть, тоже по позднейшему представлению, сажает Мстислава; позднейшие летописи поминают Станислава в Смоленске, а сомнительная по источникам компиляция XVII в. — «Густынская летопись» — Позвизда на Волыни [1]. А. А. Шахматов решительно заподозрил весь этот перечень даже в основной его части. Он только для известий о Вышеславе и Ярославе в Новгороде допускает основание в источниках, какими старый летописец пользовался. Но его критика малоубедительна, ибо построена на весьма произвольных представлениях о «старшинстве столов» и о «мотивах», будто заставивших летописца рассадить по-своему Владимировичей. Перечень страдает скорее тем, что сводит в одно разновременные явления.

Что же означало то или иное «посажение» князя-сына в данном городе? Знаем предание о полоцком вокняжении Изяслава. Сказание о Рогнеде лишь позднее вписано в летописный свод, в продолжение «Повести временных лет» [2]. В ней или в ее летописном пересказе любопытна одна черта — совет бояр Владимиру: «воздвигни отчину ее и дай ей с сыном своим» Изяславом. «Володимер же устрои город и да има, и нарече имя городу тому Изяславль». Нет основания думать, чтобы Полоцкое княжество позднее расширялось к югу. А его состав с Изяславлем, Минском, Свислочем охватывал все течение Свислочи и половину бассейна Березины, т. е. значительную часть дреговицкой земли. Полоцкое княжество Изяслава и его потомков выросло не на этнографической почве области полоцких кривичей и значительно обширнее, чем княжество Рогволода. «Восставляя» отчину Рогнеде и ее сыну, Владимир создал нечто новое, не имевшее ни этнографической, ни исторической основы. Земля Полоцкая, «городская волость» Полоцкая, выглядит скорее новообразованием, чем какой-либо стародавней единицей. Отчина Изяслава заняла на Руси особое положение. Посажение там Изяслава носило, вполне в духе предания о Рогнеде, особый характер. Для киевских князей, ярославлих внуков, потомки Изяслава — чужие, «Рогволожи» внуки. Посажение Изяслава — выдел. Он умер раньше Владимира, в 1001 г. по летописи, и за ним в Полоцке княжит сын его Брячислав, затем внук Всеслав во вражде и частых столкновениях с новгородско-киевскими Ярославичами.

Иной склад отношений остальных «стольных градов» младших

[1] Воскр. («ПСРЛ», т. VII), стр. 313, Соф. I («ПСРЛ», т. V), стр. 120.
[2] Лавр., стр. 284 и сл. под 1128 г.

князей к Киеву. Когда Ярослав сидел в Новгороде, оттуда шла дань в 2 000 гривен «уроком Кыеву» «и тако даяху вси посадницы новгородстии», а третья тысяча шла на содержание дружины в самом Новгороде («Новегороде гридемь раздаваху»). Однако и тут дело кончилось пробуждением сепаратизма: Ярослав прекратил уплату дани, и Владимир собрался походом на сына, да заболел и умер. Какие общественные силы стояли за этим «новгородским сепаратизмом», увидим в истории Ярослава: это местная дружина, опирающаяся на новгородское население. Что до земли Новгородской («городской волости»), то она — определенная сила уже в те времена, но данные для ее характеристики слишком скудны и дробны, чтобы их дробить хронологически. О них придется потом сказать, как и о земле Ростовской. Тут, вдали от Киева, видимо всего ранее сложились крепко организованные центры княжеской власти, вероятно, уже во времена Владимира, но выступают черты этой организации с главными городами и пригородами, с сильной местной дружиной (боярством) лишь в более поздних известиях наших источников, в пору, когда сама организация эта успела вкорень измениться. Поэтому и рассмотреть вопрос о них придется несколько позднее.

Не то видим на юге. Тут в центре старая «полянская» земля. Весьма метко замечание С. М. Середонина, что «мы не имеем никаких данных, указывающих на существование особого «полянского племени». Это не «этнографический», не «племенной» термин в настоящем смысле слова, а «местный». Выдвинувшись при отступлении от юга из «поля» в лесную область, «поляне» потеснили «древлян», а сами сплотились вокруг Киева, старого гнезда «руси», а со времен Олега — Игоря, центра варяжской власти, оперщей свое утверждение на киевском юге, на северные силы «варяг и словен», которые тут «прозвашася русью». Эта северная опора как бы обновляется при Владимире, новгородском князе, который с варягами и словенами новгородскими победил Ярополка. Эта его опора (которая еще раз обновится, как увидим, при Ярославе Владимировиче) ярко сказывается в летописных известиях о нем. Владимир, по этим известиям, идет «Новугороду по верховьнии вои», когда у него завязалась с печенегами «рать велика бес перестани»; в укрепленные городки, которые он сооружает по южной и восточной границе со стороны степи, он «нарубает муже лучьшие от словен и от кривич и от чюди и от вятич — и от сих насели грады».

Чрезвычайно характерно это указание на военную силу с севера для организации обороны юга, и в нем нельзя не видеть подлинную историческую черту. Вглядимся в «Киевскую землю», — в «сильный полк киевский», как ее позднее называли: характерная черта ее политико-географического строя — боевая. С северо-запада форпост Киева — крепкий Вышгород, вверх по Днепру, на переправе; к юго-западу Белгород — центр укрепленной границы по Стугне а за Днепром передовой форпост Киева против степи — Переяславль на Трубеже, центр восточной укрепленной границы. Тесная связь Переяславля с Киевом, по существу дела стратегическая, имела существенное значение во всей политической истории Киевщины.

Это киевское укрепленное ядро Руси создано Владимиром как завершителем работы прежних князей над созиданием и утверждением киевской власти. Но что такое «Киевская земля»? Характерна одна ее устойчивая особенность: неопределенность, изменчивость ее границ. Южная граница то выдвигалась к югу за Рось, то отступала в зависимости от хода борьбы со степью. При Владимире укрепленная линия проходила еще севернее, по Стугне... Но колебался вообще состав того, что мы зовем «Киевской землей». «Киевскими волостями» бывали и Деревская земля, и Туровская область, и «Погорина» — область реки Горыни, притока Припяти, но те же «волости» то бывали самостоятельными княжествами, то примыкали к другим владениям, например, к Волыни. То, что мы весьма условно именуем «Киевской землей», представлялось в старину сложным комплексом, состоявшим из небольшого киевского ядра («Русской земли» в тесном смысле слова) и «киевских волостей». Это политическое целое представлялось киянам, как «Русская земля» + «киевские волости»; только когда сгладились в политической жизни различия «Русской земли» от ее «аннексов», стали они все вместе называться «Киевской землей». А это произошло весьма поздно — в XII в., почти на исходе киевской истории. Обычное общее представление о «городовой волости» нельзя применить без больших натяжек к этой Киевской земле. Да и города, входившие в ее состав, никогда не назывались киевскими пригородами. Это «города киевские», и положение их совсем иное, чем северных «пригородов».

Киевский центр закончил подчинение остальных земель южной Руси ко временам Владимира. В Древлянской земле сидел Святославич Олег; потом она в обладании киевского князя; при Владимире в ней сидит Святослав, но в городскую волость с каким-либо городским центром она не выработалась. Туров — долго считался «киевской волостью», хотя Владимир одно время посадил там на княжение сына Святополка. С ним у Владимира вышел разрыв вроде того, какой позднее произошел между Владимиром и Ярославом. Но это эпизод, осложненный русско-польскими отношениями. Установив мирные отношения с Польшей, Владимир женил Святополка на дочери польского короля Болеслава Храброго. С вступлением Болеслава на престол (992 г.) отношения были весьма натянутые. Вероятно, к этим 990-м годам относятся походы Владимира для утверждения за Русью «Червенских городов» и поход на каких-то «хорватов», а не к началу княжения Владимира в Киеве, куда их отнес летописец. Враждебные отношения прекратились, видимо, после похода Болеслава на Русь в 1013 г., о котором знаем из хроники Титмара Мерзебургского, источника, современного этим событиям (1012—1015 гг.) и хорошо осведомленного. Вероятно, к этому времени надо отнести мир между Владимиром и Болеславом. При королевне состоял некий епископ Рейнберн. Владимир, по рассказу Титмара, узнал, что Святополк готовится восстать против него (relictotorum sibi) по тайному наущению Болеслава (ortatu Bolizlavi tacito), и потому арестовал Святополка с женой и Рейнберном и подверг их строгому заключению (in singulari custodia clausit).

Обо всей этой истории ничего не говорят русские источники. А ею и историей с Ярославом, повидимому, не исчерпываются столкновения между Владимиром и его сыновьями.

Впервые при Владимире выступает г. Владимир Волынский как центр Волынской земли. Земли на запад от Киевщины и Древлянской земли были «собраны в одно политическое целое», когда Владимир посадил тут, в городе, названном по его имени, одного из своих сыновей. Но вопреки А. А. Шахматову и Грушевскому, которые предпочитают известие Несторова «Сказания о Борисе и Глебе», что первым Владимирским князем был Борис, думаю, что правильнее держаться летописного указания, что во Владимире посажен был отцом Всеволод. Дело в том, что Несторово упоминание о том, как Владимир вывел Бориса с Волыни, опасаясь злобы к нему Святополка из-за того, что «хотяще бо окаянный всю братью погубити и владети один», по-моему, слишком явно опирается на мотив, возможный лишь как перенос обратно по времени впечатлений от позднейшего поведения Святополка «Окаянного». А Грушевский неудачно пытается согласовать Нестора с летописью, предполагая, что на Волыни сидел сперва Борис, который затем переведен в Ростов, уступив место Всеволоду. Оба они, и Шахматов и Грушевский, не имели в виду, что Всеволод уже в 990-х годах вовсе исчезает из русских известий, потому что исчез он и с Руси. Ф. А. Брауну удалось найти вторую половину истории этого Visivalda: он бежал в 994 г. с Руси за море, в Скандинавию, где и погиб в весьма романтической обстановке (сага об Олафе Тригвасоне) [1]. Возможно, что и дело Всеволода связано с русско-польскими отношениями, так как 992 г. — время, когда, по западным хроникам, готовилась большая война Болеслава против Руси. (В Несторовой версии о Борисе возможно, что Борис сидел во Владимире после Всеволода, но, собственно, реальна тут скорее та черта, что «злоба» Святополка на Бориса, а может быть, и на отца, вызвана была явным предпочтением Бориса другим сыновьям, и, как еще увидим, весьма вероятным намерением Владимира передать Киев после себя именно Борису.) Из этих данных вытекает, повидимому, один существенный вывод, подтверждаемый и дальнейшим ходом дел и отношений, именно, что определенные «земли-волости», «городовые волости», возникают, по крайней мере, на запад от Днепра, постепенно, уже в глазах истории, а не представляют собой наследия из «докняжеских» времен. Относительно областей на восток от Днепра сведений нет. Но Переяславль явно в непосредственном обладании Владимира как форпост против степи, а Чернигов не имеет особого князя; Черниговская же земля во всяком случае не сформировалась еще в тех размерах, в каких мы ее позднее видим, ибо в Муроме сидит Глеб, а это показывает, что Муром не был еще городом Черниговской земли, каким стал позднее. Так строил Владимир в напряженной борьбе с внутренними и внешними затруднениями Киевскую Русь.

---

[1] Ср. *А. Е. Пресняков*, Княжое право в древней Руси, стр. 31.

ГЛАВА VII

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Но важнейшее из исторических деяний Владимира не в этом. Введение христианства на Руси было не только огромным культурно-историческим событием, но и актом, который имел не меньшее политическое значение, так как подводил под еще не прочное здание молодого государства новый фундамент культурного единства.

К сожалению, история этого важнейшего исторического события весьма темна и запутанна, благодаря своеобразному состоянию наших источников.

Сложной была и сама историческая обстановка этого события. Оно явилось результатом весьма сложного скрещения культурных течений и политических отношений как на русской почве, так и на византийской. В центре их изучения — русско-византийские отношения времен Владимира [1]. Главный источник для них — арабско-византийский писатель Яхъя Антиохийский [2]. Христианин Иоанн, родственник александрийского патриарха Евтихия, писавшего по-арабски и под арабским своим именем Саида Ибн-Батрика хронику «Нить драгоценных камней», врач по образованию и деятельности, составил продолжение хроники Евтихия-Саида, также по-арабски [и известен под своим арабским именем Яхъи Ибн-Саида] [3]. Для нас осуществлен рассказ Яхъи Ибн-Саида о событиях 986—989 гг.

В конце 986 г. командующий азиатской армией Византии Варда Склир, поднял восстание против Василия II. Весной 987 г. император призвал против Склира бывшего в опале Варду Фоку из заточения в монастыре на острове Хиосе. В сентябре 987 г. Фока захватил Склира, но сам себя провозгласил императором, а к концу 987 г. дошел со своим войском до Хризополя, крепости на Малоазийском берегу, напротив Константинополя.

---

[1] *В. Г. Васильевский*, К истории 976—986 гг. (В «Трудах», т. II, СПБ 1909, стр. 56 и сл.); его же, Варяго-русская и варяго-английская дружины в Константинополе XI и XII вв. (в «Трудах», т. I, СПБ 1908 г., стр. 176 и сл.); *В. Р. Розен*,, Император Василий II Болгаробойца, приложение к т. 44, «Записок императорской Академии наук», СПБ 1883.

[2] Извлечения из него: *В. Р. Розен*, Император Василий II Болгаробойца, приложение к т. 44, «Записок императорской Академии наук», Спб. 1883.

[3] Вставленное в скобки — из редакции «Курса» 1907/1908 г.

«И стало опасным дело его, — продолжает Яхъя Ибн-Саид, — был озабочен им царь Василий по причине силы его войск и победы его над собой. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю руссов, — а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении; и согласился тот на это. И заключили они между собой договор о свойстве и женитьбе царя руссов на сестре царя Василия (однако возможен и такой перевод: и женился царь руссов), после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его страны, а они народ великий. И не причисляли себя руссы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, а те окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране руссов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска руссов и соединились с войсками греков, какие были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушею к Хризополю. И победили они Фоку». 13 апреля 989 г. Василий II вторично разбил Фоку при Абидосе, и в этой битве пал сам Фока, «и была продолжительность его бунта один год и семь месяцев».

Ход событий по этому рассказу следующий: когда Фока дошел до Хризополя, т. е. к концу 987 г., император Василий обратился к царю руссов за помощью и заключил с ним договор о помощи и свойстве, под условием крещения не только личного, но и официального всей страны. Само крещение и брак совершились впоследствии; а войска руссов пошли на выручку тотчас, «когда решено было между ними дело о браке», т. е. по заключении договора. Еще в апреле 988 г. Василий в грамотах своих говорит о положении дел безнадежным тоном: победа над Вардой Фокой при Хризополе произошла, очевидно, позднее. Восстание усмирено в апреле 989 г., когда погиб Фока под Абидосом, но до ноября 989 г. Василий занят борьбой с заново восставшими Склиром и сыном Варды Фоки Львом. В марте 990 г. он уже обращается против болгар, которые, пользуясь смутой, разорили византийские области до самого Солуня. Русские войска все время и позднее (999, 1000, 1003 гг. и далее) действуют в составе малоазийской армии императора. Очевидно, их нельзя себе представить как «вспомогательное войско» от киевского князя: он сорганизовал «варяжский корпус» и послал его императору для поступления на византийскую службу, как раньше «указывал путь» в Византию варягам, помогшим ему отнять Киев у Ярополка.

В этот ряд фактов клином врезывается известие о взятии Владимиром Корсуни.

Лев Диакон описал в 10 книгах историю своего времени с 959 до 976 г., а продолжение его труда за годы 976—1077 составил Михаил Пселл. В этом продолжении упомянуто небесное знамение (явление огненных столпов) и истолковано как предвещание взятия Веррии Самуилом Болгарским и Корсуни Владимиром; дату этого знамени сообщает Яхъя: 7 апреля 989 г.; стало быть, взятие Корсуни

произошло после этого, так же летом 989 г., как и взятие Веррии (действительно павшей летом 989 г.). О другом знамении, которое произошло 27 июня 989 г., в хронике Льва Диакона, т. е. ее продолжении Пселлом, сказано, что оно предвещало октябрьское землетрясение. Отсюда заключают, что, по Пселлу, взятие Херсонеса Владимиром произошло между апрелем и июнем 989 г., как раз после падения Фоки под Абидосом.

Какая могла быть причина войны вчерашних союзников? «Возможен, — говорит В. Р. Розен, — только один ответ: Корсунь была взята с целью принудить Василия к исполнению какого-нибудь или каких-нибудь существенных условий договора», и полагает, что византийцы, избавившись от опасности, медлили с выдачей за Владимира царевны Анны. Ведь незадолго перед тем они ответили императору Оттону Великому, который сватал за сына царевну, дочь императора Романа II: «inaudita res est ut porphirogenita, hoc est in purpuro nati filia, in purpuro nata, gentibus misceatur» (968 г.) [1] А если для них был варваром новый император Запада, то тем более «царь руссов». Только мир, закончивший корсунскую войну, привел к браку Владимира с царевной Анной, ценою возврата Корсуня грекам «за вено — царицы деля».

Много сложнее вопрос о самом крещении Владимира. О нем имеем ряд противоречивых русских известий. Важнейшие, по их анализу, работы принадлежат А. А. Шахматову [2]. Текстов об этом крещении немного: 1) летописные рассказы Новг. I и «Повести временных лет»; 2) древнейшее житие Владимира, сохранившееся в позднейшей редакции, но в нем весьма архаична выписка из летописи старшей, чем наши своды; 3) «Память и похвала русскому князю Владимиру» Иакова Мниха, составленная, вероятно, после канонизации Владимира, т. е. в конце XII, начале XIII в.; 4) обычное житие Владимира; 5) проложное житие; 6) «Слово о том, како крестися Владимир, возмя Корсунь», так называемая «Корсунская легенда»; 7) переработка жития в разных редакциях (Чудовский список, Плигинский сборник, позднейшая редакция); 8) летописный рассказ позднейших сводов [3].

Сравнительное изучение всех этих текстов, их взаимоотношения и т. д. составляют весьма сложную историко-литературную

---

[1] «Неслыханная вещь, чтобы порфирородная, то-есть дочь рожденного в пурпуре, рожденная в пурпуре, вступала в брак с варваром».

[2] *А. А. Шахматов*: а) Корсунская легенда о крещении Владимира, «Сборник статей в честь В. И. Ламанского», ч. II, СПБ 1908; б) Один из источников летописного сказания о крещении Владимира, «Сборник статей по славяноведению, посвященных проф. М. С. Дринову», Харьков 1905; в) Летописное сказание о Владимире и его крещении, Разыскания о древнейших летописных сводах, стр. 133 и сл. — *Н. К. Никольский*: а) Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений X — XI вв., СПБ 1906; б) К вопросу об источниках летописного сказания о св. Владимире, «Христианское чтение» июль, 1902.

[3] О житиях Владимира см. *Н. И. Серебрянский*, Древнерусские княжеские жития, «Чтения императорского московского общества истории древностей российских», кн. III, 1915.

задачу, которую далеко еще нельзя считать законченной. А общая цель ее — выяснить источники наших текстов, общие и разные у них, выяснить и манеру пользования ими, которая привела к тем текстам, какие имеем. А ведь не эти тексты, строго говоря, должны историку служить первоисточниками, а те, древнейшие, до нас не дошедшие, поскольку возможно их разглядеть сквозь переделки и искажения позднейших редакций.

Даже старшие из дошедших до нас текстов очень неполно отражают свои первоисточники, а компилированы из них с переделками и дополнениями. А когда мы находим в позднейших памятниках письменности, например, в летописных сводах XV и XVI вв., упоминания о фактах, которых нет в старых памятниках (например, известие «Никоновской летописи» о сношениях Владимира с Римом), мы оказываемся перед трудно разрешимым вопросом, что́ тут: позднейший ли вымысел и домысел, или черта старинных первоисточников, ускользнувшая или намеренно пропущенная более древними памятниками, а восстановленная позднейшим книжником, который мог иметь под руками материал, до нас не дошедший?

Из всех текстов, какими мы располагаем, видно, что уже в XI—XII вв., в эпоху «Повести временных лет» и «Начального свода», существовали различные и несогласные между собой версии сказания о крещении Владимира. Идет в них перебой киевских и корсунских преданий, притом в таких книжных обработках, которые не просто обрабатывали старый материал, а подгоняли его под определенные тенденции церковно-политических воззрений и интересов, не стесняясь заменой одних фактических сведений другими. Момент сознательного искажения исторической действительности несомненен в этой письменности и ярко освещен в трудах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. А сверх того, предания о крещении Владимира в наших письменных памятниках подверглись сильному воздействию тогдашнего книжнического творчества. В приемах этого творчества надо отметить две особенности: его близость к приемам народного эпоса и его подражательность чужим, болгарским и византийским, образцам. Древнерусский книжник ведь и сам представитель того типа народной исторической памяти, которая легко идет по пути слияния разновременных сходных событий в одну типическую картину (например, «испытание веры»), перестановки конкретных деталей из одного рассказа в другой, по аналогии и по склонности представлять себе события в готовых эпических образах и формулах. На той же почве возникло и своеобразное подражание чужим литературным образцам. Я разумею одно историко-литературное явление, характерное для древнерусской агиографии и для исторических повествований: литературная подражательность выражается не только в усвоении общих приемов изложения, но и готовой фразеологии, которая целиком переходит из одного текста в другой, при малейшем сходстве содержания, а в него переходят и элементы самого содержания, не исключая иной раз и фактической стороны изложения. Этот прием сказывается особенно ярко в древней русской литературе житий, сказаний, похвальных слов,

но не чуждо ему и летописание (ср. например, описание походов на половцев под 1103—1111 гг. по Ипатьевской летописи)[1]. А. А. Шахматов выдвинул гипотезу о том, что на летописном сказании о крещении Владимира сказалось влияние болгарского сказания о крещении князя Бориса, гипотезу весьма соблазнительную, так как ею объясняются некоторые черты русского сказания, иначе непонятные, например, имя — по некоторым спискам — грека-философа, проповедывавшего Владимиру христианство, Кирилла, и некоторые другие. Таким образом, критика наших источников по истории крещения Владимира и Руси разрастается в большую историко-литературную работу над группой текстов, составители которых преследовали цели не исторического повествования, а церковного поучения и проведение в сознание читателей определенных церковно-политических тенденций, притом памятников не вполне оригинальных, а отчасти даже переводных и в значительной мере подражательных по отношению к болгарским и византийским образцам. В своем изложении я могу остановиться только на главнейших вопросах, поднятых этой работой, поскольку они касаются фактической стороны утверждения христианства на Руси.

На первом месте — вопрос о взаимном отношении трех событий: крещения Владимира, крещения Руси и взятия Корсуня, причем под «крещением Руси» разумею не сцену в водах Почайны, а установление на Руси церковного строя — иерархии, миссионерства. Обычный рассказ по «Повести временных лет» сливает эти три события в один исторический момент. Но составитель «Повести временных лет», а вернее, его ближайший источник, «Начальный свод», «Киево-печерский временник» игумена Иоанна, не скрыл от нас, что ему было известно предание, излагавшее последовательность и связь событий иначе. «Се же, — пишет он с укоризной, — не сведуще право глаголют, яко крестился есть (Владимир) в Киеве, инии же реша — в Васильеве (на реке Стугне; в 996 г. Владимир построил тут церковь Преображения), друзии же инако сказают».

Действительно, в древнейшую редакцию жития Владимира попал отрывок летописной записи, где читаем:

«На другое лето к порогом ходи по крещении; на третье лето взят Корсунь; на четвертое лето церковь камену святые богородици (Десятинную) заложи; на пятое лето Переяслав заложи, на девятое лето блаженный князь Владимир, христолюбивый, церкви святые богородици вдаде десятину от имения своего». Сама датировка не по годам от сотворения мира, а счетом лет от одного события до другого, обличает древний тип летописных записей, еще не примкнувших к хронологической сети какого-либо летописного свода; быть может, житие взяло эти строки из записей при Десятинной церкви?

Тут взятие Корсуня — на третье лето по крещении Владимира. Это указывало бы при сопоставлении с сообщениями Яхъи Антиохийского и Льва Диакона (Пселла) на личное крещение Владимира

[1] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., СПБ 1908, стр. 252—256, 264—273.

в конце 987 г., т. е. немедленно по заключении им договора с Василием II «о сватовстве и женитьбе». Этот расчет подтверждается и словами того же жития, что «по святом крещении поживе блаженной князь Владимир лет 28». Владимир умер 15 июля 6523/1015 г. Стало быть, житие относит его крещение к 987 г. Наконец, намек на крещение Владимира в 987 г. можно найти и в «Повести временных лет», как плохо затушеванный след старшего ее источника. Ведь под 987 г. «Повесть временных лет» рассказывает о совещании Владимира с боярами о том, «где крещение приимем», но на их ответе, «где ти любо», прерывает изложение сколько-нибудь понятной связи событий, и вместо сообщения о крещении переходит к рассказу о походе на Корсунь, вставя дату «в лето 6496» (988 г.) в середину фразы: «И минувшу лету в лето 6496 иде Владимир с вои на Корсунь», — притом в явном противоречии со словами «минувшу лету» (после 987 г., что дало бы взятие Корсуня в 989 г., согласно Яхъе и Льву Диакону). Надо признать с Шахматовым, что в древнейшем «Киевском летописном своде» за рассказом о проповеди «грека-философа» следовал «не дошедший до нас рассказ о крещении Владимира в Киеве» (или Васильеве?). Причем А. А. Шахматов полагает, что тогда же крестились и сыновья Владимира и бояре его.

Летопись наша строит свой рассказ иначе, из элементов весьма разнородных. Под 986 г. «Повесть временных лет» дает рассказ о приходе к Владимиру проповедников различных вер — болгар-магометан, немцев, евреев хазарских. Перед нами поистине эпическая картина, уснащенная народным юмором и полемически злыми выходками. Но она может иметь в основе кое-какие обрывки реальных исторических воспоминаний. Вспомним известия западных хроник (Регинона и «Гильдесгеймской») о сношениях Ольги с Оттоном и посылке на Русь епископа из Германии, вспомним неведомо откуда взятые известия позднейших сводов — «Никоновской летописи» — о приходе из Рима послов к Ярополку (979 г.) и сношениях с Римом Владимира. А. А. Шахматов и их считает случайными литературными заимствованиями из болгарской повести о Борисе болгарском. Но это как-то плохо вяжется с их летописной формой и обилием (988 г. — «приходиша послы из Рима от папы и мощ святых принесоша к Володимеру»; 991 г. — «приидоша к Володимеру послы из Рима от папы с любовью и честью»; 994 г. — «послы Володимеровы приидоша в Киев иже ходиша в Рим к папе»; 1000 г. —«приидоша послы от папы Римского»: 1001 г. — «посла Володимер гостей своих, аки в послех в Рим»). А с другой стороны, в одном арабском сочинении XIII в., в «Сборнике анекдотов» Мухаммеда аль-Ауфи, находим рассказ о посольстве Владимира (Буламира) в Ховарезм с разговорами о желании Руси принять мусульманство и о посольстве на Русь мусульманского имама для обращения в магометанскую веру [1]. Встречи Киевской Руси с еврейской пропагандой при сношениях с хазарами и наличности евреев-купцов

---

[1] «Записки Восточного отделения императорского русского археологического общества», т. IX, СПБ 1896, стр. 262—267.

в Киеве более чем вероятны. При международных сношениях Руси как отдельные факты разноверного миссионерства, так и народные рассказы на эту тему могли лечь в основу той эпически обобщенной формулы, какую с литературной точки зрения представляют летописные рассказы о беседах Владимира с представителями разных религий и о его посольствах для «испытания веры» в разные страны.

Такой же литературной легендой, но уже книжнического типа, выступает рассказ о приходе к Владимиру греческого «философа» для проповеди. Все приписанные ему речи без остатка разлагаются на элементы литературной компиляции из памятников переводной церковно-славянской письменности, частью позднейших по времени. Нет повода думать, что тут хоть что-нибудь восходит к «современной» записи. А. А. Шахматов и самую схему рассказа и его основные мотивы считает подражанием какого-то, до нас не дошедшего, болгарского рассказа о крещении Бориса.

А за этими моментами летописного рассказа идет описание корсунского похода, взятия Корсуня и крещения Владимира в Корсуне. Рассказ этот, успащенный также и эпическими и житийно-литературными чертами, в общем выдает свое корсунское происхождение хорошим знакомством с топографией Херсонеса. Это греческое по своему происхождению сказание вышло, вероятно, из среды корсунского духовенства, сыгравшего видную роль в организации русской церкви. Его успех в русской традиции придал ему значение официальной церковной версии, устранив другие киевские предания, отделявшие крещение Владимира от корсунских событий. Оно, это корсунское сказание, явилось орудием определенных церковно-политических тенденций, торжество которых было закреплено внесением «корсунской легенды» в «Начальный свод», в ущерб прежним русским известиям о крещении Руси и исторической правде.

Выяснение этих тенденций связано с другим вопросом — о первоначальной организации русской церкви. И этот вопрос, пожалуй, еще больше запутан противоречиями источников, чем история самого крещения.

Весь уклад деятельности Владимира — строителя Киевского государства — и связь истории его крещения с русско-византийскими отношениями делают несомненным, что вопросы политические играли значительную роль в самом решении Владимира принять христианство и в том, как он это решение выполнил.

Е. В. Аничков сделал весьма любопытную попытку вскрыть даже в рассказах летописи о поведении Владимира-язычника политические мотивы [1]. Он исходит из текста «Повести временных лет» о том, как Владимир, «поставил кумиры на холму вне двора теремного Перуна древяна, и главу его сребрену, и ус злат, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла и Мокошь». Надо признать с А. А. Шахматовым, что это текст, развитый и дополненный позднее нагромождением имен сомнительных богов русского «Олимпа», но едва ли он прав, сводя первичную редакцию к словам: «постави

[1] *Е. В. Аничков*, Язычество и древняя Русь, СПБ 1914.

кумиры на холму вне двора теремного». Дело в том, что вариант Радзивиловского и Академического списков не раз дают лучшие чтения, чем основной Лаврентьевский: «кумир» — указывает на текст, где был назван один Перун, который и в договорах с греками — один, рядом с Велесом, чей идол (каменный) стоял в Киеве в ином месте — на Подоле, на торгу. А чтение «Владимир постави кумир на холму вне двора теремного, Перуна древяна и главу его сребрену, и творяще потребу ему с людьми своими», в соответствии дальнейшему (новгородскому) известию — «Владимер же посади Добрыню, уя своего, в Новгороде, и пришед Добрыня Новугороду, постави кумира (Перуна кумир—Новг. I) над рекой Волхову и жряху ему людье новгородские, аки богу», — лучше еще подходило бы к построению Аничкова. Чтение же это представляется наиболее вероятным, как древнее, первоначальное. Так вот Аничков толкует этот текст, как попытку «объявить свой военно-дружинный культ общим культом». Культ Перуна, «дружиннокняжеский культ киевских Игоревичей», получает новое значение, когда «князь и дружина» окончательно превратились в «политическую власть», на Руси, т. е. при Владимире. Владимир в связи с этим затеял «религиозно-политическую реформу», поставил богатый идол Перуна «вне двора теремного», т. е. «предназначил этого бога для общественного поклонения» (так толкует этот акт Владимира и Ф. Е. Корш)[1]. Все это построение Аничкова опирается на весьма ценный анализ древнерусского язычества, с одной стороны, а с другой, на представление, что дружина была первоначально особым, замкнутым в себе, учреждением — с особым своим внутренним строем как «огнище» князя и своим особым культом, а затем развертывается в настоящую политическую силу. К этим весьма, по-моему, ценным построениям я вернусь, когда буду говорить о дружине. А пока отмечаю только «религиозно-политические» мотивы деятельности Владимира-язычника ради аналогии, какую находим для них в его действиях как просветителя Руси христианством.

Общий исторический смысл образования Киевского государства — в южной ориентировке всей восточнославянской жизни. Оно, по выражению А. А. Шахматова, «ослабило связь севера с центрами балтийской культуры и повернуло Новгород лицом к Киеву и Царьграду; разрушение хазарского царства оторвало вятичей от восточных владений и повернуло также и их лицом к юго-западу». Но в частностях, шахматовская оценка исторического смысла владимировых времен не совсем понятна. «Приобщением государства к византийской цивилизации, — пишет он, — Владимир дал ему определенный облик и создал могущественные средства для внутреннего единения». Про поход Владимира на греков (корсунский) А. А. Шахматов говорит, что его цель «установить непосредственное общение с греческой культурой, проникавшей раньше через пос-

[1] *Ф. Е. Корш*, Владимировы боги, «Сборник Харьковского историко-филологического общества», т. XVIII, изд. в честь проф. Н. Ф. Сумцова. Харьков 1909, стр. 51—59.

редство Болгарии». А, между тем, по А. А. Шахматову же, «не подлежит сомнению, что Владимир принял веру именно от болгар и что в X в. Киев поддерживал самые оживленные сношения именно с Болгарией». «Киев, объединяя русские племена Поднепровья и соседних северных областей, является проводником особой культуры, которую можно назвать южнорусской». Эта культура взращена разнородными влияниями: византийскими и малоазийскими с сильным восточным элементом — через Крым, Кавказ (ясы, касоги, хазары) и через кочевников; северными — варяжскими, западными романо-германскими — через Чехию и Польшу. На первом месте по значению, глубине и силе стоит именно болгарское влияние. «Для историка русской культуры, — пишет А. А. Шахматов, — в частности и языка, это обстоятельство имеет большое значение: Киев получил через Болгарию то могущественное орудие духовного просвещения, которое сделало его духовным центром всех русских племен и содействовало их объединению: получив из Болгарии христианство, Киев одновременно заимствовал оттуда книжный язык». Но все эти несомненные и важнейшие явления в истории русской культуры остаются в источниках наших без сколько-нибудь достаточного исторического комментария. «Момент, сыгравший чрезвычайную роль в деле объединения русских племен в создании единой для всего русского народа южнорусской культуры», с фактической, бытовой своей стороны весьма нам плохо известен.

Как ни строго отнеслась наша ученая критика к труду М. Д. Приселкова «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.», нельзя не признать, что это единственный труд, в котором сделана серьезная попытка разрешить историческую загадку болгарских основ нашей древней киевской культуры в связи с ранней историей русской церкви [1]. Приселков, как и Шахматов, признает, что Владимир принял крещение в конце 987 г., тотчас по заключении договора с императором Васильем II, причем говорит об этом так: «Владимир крестился вместе с семьей и боярами, а может быть, и народом; уже христианином киевский князь оказал военную помощь императору Василию и спас его колебавшийся трон». Далее, основной вопрос о введении на Руси православной церкви, т. е. об установлении церковной иерархии. Старейшие источники, поскольку они отразились в «Повести временных лет» и в Новг. I, не знают при Владимире никакого митрополита на Руси. «Повесть временных лет» сообщает, что Владимира окрестил в Корсуни «епископ корсуньский с попы царицыни», а потом повенчал его с «царицей». О возвращении Владимира из Корсуня в Киев «Повесть временных лет» пишет: «Владимир же посем поем царицю и Настаса и попы корсуньские, с мощми св. Климента и Фива, ученика его, поима сосуды церковные и иконы на благословенье себе». В дальнейшем его советники — епископы. О митрополите или архиепископе нет и помину.

---

[1] См. о книге М. Д. Приселкова статью *А. А. Шахматова*, Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни, «Научный исторический журнал» № 4.

То же и в Новг. I. Однако кто же такой Анастас Корсунянин? По построении храма св. богородицы Владимир «поручи ю Настасу Корсунянину и попы корсунские пристави служити в ней, вдав ту все, еже бе взял в Корсуни: иконы и сосуды и кресты». Церкви этой он дал «от именья своего и от град своих десятую часть», «и вдасть десятину Настасу Корсунянину». Этот Настас выступает еще сперва в рассказе, где ему приписано изменническое содействие Владимиру при взятии города, а затем уже, по смерти Владимира, в истории господства польского короля Болеслава в Киеве, когда он захватил Киев, придя на помощь Святополку против Ярослава: Болеславу пришлось бежать из Киева, ибо население стало избивать ляхов, и он «побеже ис Киева възма именье и бояры Ярославли и сестре его, и Настаса пристави десятинаго ко именью, бе бо ся ему вверил лестью». Больше о нем ничего не знаем. Разве что к нему отнесем, согласно нерешительному предположению А. А. Шахматова, одно известие Титмара Мерзебургского. Титмар про те же события 1018 г. так сообщает: когда Ярослав в первый раз отнял Киев у Святополка, пришли на него Болеслав с Святополком, и ему пришлось бежать из города. «Архиепископ этого города со всем духовенством» с почетом встретил прибытие Святополка и Болеслава в св. Софии. А затем Болеслав посылал этого архиепископа к Ярославу для переговоров о размене пленницами: у Ярослава в плену была Болеславова дочь, жена Святополка, а Болеслав захватил в Киеве мачеху Ярослава, его жену и сестер. Некого признать в этом «архиепископе», кроме Анастаса Десятинного. «Епископом» называет Анастаса и одно из житий Владимира. Епископом признают Анастаса и А. А. Шахматов с Приселковым. Но почему наши тексты, так странно с ним обходятся? Зовут его просто Настасом. Едва ли достаточно объясняется это его непристойным политическим поведением. Но пока примем, что Анастас был епископ, поставленный в Корсуни для Киева, как Иоаким Корсунянин епископом для Новгорода, и обратимся к другим данным о русской церкви при Владимире Святославиче.

В нашем рукописном материале имеются разные списки русских митрополитов. Старейшей редакцией надо признать ту, какую читаем в тексте Новг. I: этот список начинается с Феопемпта, поставленного на Русь константинопольским патриархом уже при Ярославе; он в первый раз упоминается под 1039 г. по поводу освящения церкви (вероятно, св. Софии, «митрополии», заложенной Ярославом в 1037 г., а не Десятинной, как сказано в «Повести временных лет»!!). Но в позднейшей письменности Феопемпт оказывается то четвертым митрополитом после Михаила, Леона, Иоанна, то вторым после Леона; есть и такой порядок: Леон, Михаил, Иоанн; Михаил и Леон как киевские митрополиты не имеют никакого права на историческое бытие. Весь «вопрос» о них сводится к догадке, откуда забрели их имена в списки митрополитов и в иные памятники позднейшей письменности. На это пытались дать ответ и Голубинский и А. А. Шахматов и Приселков. То Михаила, то Леона или Леонта называют первым митрополитом киевским «Уставы» св. Владимира в разных

редакциях, в связи с анахронизмом тех же редакций, что де «взят» этот первый митрополит Владимиром у «патриарха Фотия», который на сто лет старше Владимира. Имя Фотия навело Голубинского, а с ним и А. А. Шахматова на мысль, что связь по имени с «Михайлом» или «Леонтом» не случайна, а забрели они на Русь вместе либо из сказания о крещении руссов в 860 г. (Михаил), либо из сказания о крещении болгар (Леонт). Но то или иное историко-литературное объяснение этих имен ничего не прибавит и не убавит к их историческому небытию на почве русской церкви. Сложнее дело с Иоанном. Киевский митрополит Иоанн засвидетельствован для 20-х годов XI в., стало быть, ранее Феопемпта, в рассказе об обретении Ярославом мощей св. Бориса и Глеба и перенесении их в Вышгород, как у Нестора в его «Чтении о житии и погублении св. кн. Бориса и Глеба», так в другом «житийном» сказании о них. Эти сказания, согласно весьма убедительным заключениям А. А. Шахматова, использовали с фактической стороны записи, ведшиеся при Вышегородской церкви, стало быть, и их показания существенны. Житие Бориса и Глеба притом колеблется в титуле Иоанна: именует его то митрополитом, то архиепископом. Естественно признать (с Приселковым и А. А. Шахматовым), что подлинный старый титул — архиепископ, естественно замененный словом «митрополит» в труде позднейшего книжника, привыкшего именовать так главу киевской церкви.

Итак, в 20-х годах XI в. в Киеве был архиепископ Иоанн. Приселков отождествляет его с тем «архиепископом», о котором говорит Титмар: это весьма невероятно, ибо едва ли Ярослав мог примириться со сторонником или, по крайней мере, угодником своих врагов. Приселков идет и дальше: того же Иоанна он отождествляет с главой болгарской церкви, Иоанном, патриархом охридским, который в 1018 г., когда Болгария была сокрушена Василием II Болгаробойцей, был посредником между византийским императором и болгарами при заключении Струмицкого договора об условиях подчинения Болгарии, а зато сохранил свое положение, даже получил расширение своей власти по трем императорским хризовулам, но с титулом уже не патриарха, а архиепископа автокефальной охридской церкви. Против последнего отождествления Шахматов представил веские возражения: киевский архиепископ Иоанн в 1018 г. был на Руси, в Киеве, затем идет в Новгород к Ярославу для переговоров, а охридский Иоанн едва ли мог разъезжать по Руси в то время, когда решалась судьба Болгарии и его патриархата. Правда, Струмицкий договор заключен в феврале — марте 1018 г., упоминания об Иоанне киевском относятся к августу, но первый хризовул императора Василия Иоанн охридский получил в 1019 г., стало быть, весь 1018 г. был еще слишком «горячим» временем, чтобы архиепископ мог покинуть надолго Болгарию. Отождествление двух Иоаннов нужно Приселкову для обоснования основной гипотезы, что при Владимире русская церковь была подчинена не византийскому, а болгарскому патриарху. Объясняет он это тем, что Владимир не столковался с греками ввиду их стремления держать мест-

ные церкви в строгом подчинении константинопольской церкви и связывать это церковное подчинение с идеей политической зависимости новообращенной страны от Византийской империи. Недовольный Владимир тогда и обратился к болгарскому патриарху и от него получил нужное ему поставление епископов, опору и руководство в организации русской церкви. Устраняя отождествление двух Иоаннов, А. А. Шахматов думает устранить по существу приселковскую гипотезу и считает более вероятным как раз обратное, именно, что «Владимир приобщил русскую церковь именно к греческой, разорвав исконную церковную связь Киева с Болгарией».

Дело в том, что эту «исконную церковную связь» А. А. Шахматов выдвигает сильнее, чем это делает Приселков, справедливо удивляясь, почему Приселков «не остановился на вопросе, откуда же пришло христианство в Киев?» Если бы Приселков поставил вопросы: «кто ставил попов в церкви св. Илии?» и «какому епископу была подчинена эта церковь?», он мог бы в их наиболее вероятном решении найти «несколько веских аргументов» в пользу своей «охридской гипотезы». Не сведи Приселков всего церковного вопроса на политическую почву, он глубже оценил бы значение «культурных отношений», которые, несомненно, издревле связывали Киев именно с Болгарией. Насколько постоянны были русско-болгарские сношения, видно, как метко подчеркивает А. А. Шахматов, из того, что греки не раз получали из Болгарии предостережения о готовящихся набегах Руси; указывает А. А. Шахматов на черты болгарско-хазарских отношений, как болгарская мода на еврейские имена (Давид, Моисей, Аарон, Самуил). Болгарское влияние на Руси должно было быть сильным, может быть, и ранее времен Игоря. С христианством, ранее Владимира, появились на Руси церковнославянский язык и болгарская письменность. Договоры с греками А. А. Шахматов считает «древнеболгарскими» по языку. На этом же языке, конечно, совершалось и богослужение в церкви св. Илии попами из Болгарии, стало быть, под юрисдикцией болгарской церкви. Но что же произошло при Владимире?

Владимир крестился на Руси. Едва ли следует принять, что крестил его грек-миссионер. Вероятнее, что он мог креститься в той же церкви св. Илии. Но А. А. Шахматов полагает, что Владимир в 989 г. разорвал «исконные церковные связи» с Болгарией. Причина та, что первые епископы в Киеве и в Новгороде — корсунские греки, что сильная и древняя традиция говорит о деятельной роли в «крещении Руси» корсунских попов и корсунской церковной утвари. Недаром у нас и позднее все особо ценное, редкостное или древнее в церковном искусстве называли «корсунским», даже знаменитые новгородские «корсунские врата», хотя они немецкой работы. Однако, сам же А. А. Шахматов указывает, что если бы мы даже признали достоверным предание о крещении Владимира греками, «мы все-таки должны допустить обращение к Болгарии за книгами и учителями». Шахматов легко мирится с тем, что это «обращение» как-то исчезло из наших источников, словно современники «креще-

ния Руси» и их ближайшие потомки и не заметили его: он видит в этом лишь доказательство того, что «наши сношения с Болгарией шли путем неофициальным».

Совсем не понимаю, что тут может означать «официальный» или «неофициальный», раз речь идет об обращении князя, организующего церковь, в соседнюю страну за «книгами и учителями». Летописец рассказывает, что Владимир «нача ставити по градом церкви и попы» и «нача поимати у нарочитые чади дети и даяти нача на ученье книжное». И попы и книги несли в русскую среду болгарский церковный язык и болгарскую письменность. Кадр грамотных и книжных людей в Киеве при церкви св. Илии не мог быть особенно значителен. Обращение в Болгарию за просветительными силами и средствами было крупным делом, близким и важным для всякого киевского книжника, а наши источники о нем молчат. Естественно приходишь к мысли: причина этого умолчания та же, что причина третирования Анастаса, что путаница с «митрополитами», что появление «корсунской легенды», затершей почти совсем следы подлинной обстановки крещения Владимира и т. д., — т. е. тенденциозное искажение, ad majorem Byzantiae gloriam, всей ранней истории русского христианства и русской церкви. В этом глубокое основание гипотетических построений Приселкова. По недостатку данных он насилует тексты и создает факты иной раз с излишней смелостью. Но не всегда удачные аргументы и иллюстрации его мысли не должны затемнять оценку его меткой критики традиционных представлений и верного чутья исторических отношений в их сути, хотя и мудрено облечь эту «суть», по состоянию материала, в конкретную форму исторического рассказа о том, как же дело на самом деле происходило.

Надо, кажется, признать первым киевским епископом Анастаса. Приселков признает, что «киевская церковь времени охридского господства представляется как три епископии: киевская, новгородская и белгородская», а киевским епископом считает Анастаса Корсунянина. Так двое — корсунские греки, третьего мы не знаем по имени. Приселков считает их поставленными, по воле Владимира, «рукою охридского патриарха». На это нет, конечно, указаний, но нет их и на поставление их от патриарха константинопольского. Правда, Яхъя пишет, что император Василий «послал к нему впоследствии митрополитов и епископов», которые окрестили Владимира. Но это стоит в противоречии с корсунской легендой, которая почему-то в Корсуни знает только корсунского епископа при крещении и бракосочетании князя. Правда, Новг. I под 989 г. пишет: «Крестися Владимир и вся земля русская, и поставиша в Киеве митрополита, а Новуграду архиепископа, а по иным градом епископы и попы и диаконы». Но она же знает первым митрополитом Феопемпта, а епископ новгородский стал архиепископом только в 1165 г. (Илья). Наибольшее недоумение вызывает вопрос об иерархической подчиненности киевской епархии и вообще ранней русской церкви. Епископское поставление Анастаса и Иоакима тотчас по браке Владимира с царевной Анной трудно вести с Приселковым из Охриды. Ведь эти корсунские греки могли быть постав-

лены как будто только в Корсуни. Быть может, Яхъя и прав, что в свите Анны были «митрополиты и епископы», ибо трудно себе представить, чтобы царевну отпустили из Византии без сопровождения двух-трех видных церковников. Это, может быть, и не противоречит первой роли при бракосочетании местного корсунского епископа. Но ведь и в культурно-историческом отношении важно то «обращение к болгарам», которое остается невыясненным и для которого недостаточно шахматовских оговорок.

У того же А. А. Шахматова в его рецензии на Приселкова находим ряд указаний, свидетельствующих о позднейшем сближении Владимира с Болгарией в ущерб его византийским связям. Эти указания связаны с вопросом о последнем браке Владимира. Анна умерла, по согласному свидетельству Титмара и наших летописей, раньше Владимира, а между тем в событиях по смерти Владимира упоминается мачеха Ярослава. Летопись называет его младших сыновей Бориса и Глеба сыновьями «болгарки»; считать их рожденными в языческие времена, до 988 г., нельзя, потому что, по согласному показанию источников, они убиты в отроческом возрасте, а ведь им было бы тогда уже под 30 лет. Характерно, что со всеми иными «болгарофильскими» чертами исчезло не только имя этой мачехи Ярославлей, но и всякое о ней упоминание из русских источников.

Но указание Титмара не может быть отброшено. Если принять это рассуждение, гипотеза Приселкова получила бы несколько иной вид и примирена бы была с несомненной значительной ролью корсунского духовенства в крещении Руси. Но тут есть одно большое препятствие. «Повесть временных лет» дает год, когда «преставися царица Володимеряя Анна», именно 1011. Если Владимир после того и женился, то Бориса и Глеба придется признать сыновьями Анны, на чем Приселков настаивает. Но откуда тогда столь определенная запись, что они «от болгарыни»? Ведь в житиях св. князей, да в летописи бережно сохранили бы, даже особенно подчеркнули бы что это сыновья «цесарицы». А. А. Шахматов предпочитает признать недостоверность летописной даты, хоть и нерешительно («если только она скончалась раньше, чем указывает русская летопись»). Прием этот, конечно, рискованный и не вяжется он с общим наблюдением А. А. Шахматова, по которому даты событий в княжеской семье (рождений, смертей), пожалуй, наиболее достоверны, так как идут из церковных записей. Мы перед еще одной неодолимой трудностью. Нельзя, однако, не признать, что дата смерти Анны не вяжется никак с остальными известиями о Борисе и Глебе. А ведь их искажение тоже не объяснимо. И легче понять ошибку в записи краткого известия под определенным годом, чем подмену цесарицы Анны безымянной болгарыней в роли матери князей. Характерно и то, что об Анне нет у нас ни одного известия — только брак, да смерть, хотя по летописи выходит, что она жила в Киеве с 989 г. по 1011 г., целых 22 года. Если строить «гипотезы» со смелостью Приселкова и А. А. Шахматова, то осталось бы предположить, что Анна кончила жизнь в монастыре. Что-то неладно с известиями о ней: монах-ле-

тописец к ее имени не приставил даже эпитета благочестивая, не то что какого-нибудь похвального слова, а поминает ее кончину так же, как какой-нибудь Малфреди или Рогнеды.

Что Анне не сладко жилось в замужестве — видно из слов Титмара, что, женившись на греческой принцессе, Владимир хотя принял христианство, но «не украсил новой веры» «justis operibus— erat enim fornicator immensus et crudelis magnamque vim Danais (грекам) mollibus ingessit» [1].

Большой заслугой Приселкова надо признать, что он покончил с представлением об установлении греческой иерархии на Руси в виде киевской митрополии. Как ни много спорного в его предположениях о подчинении русской церкви охридскому патриархату, она, в общем, не больше вызывает сомнений, чем ходячее представление о каких-либо «митрополитах» при Владимире, и, несомненно, выросла из прямой научной потребности объяснить темноту известий о ранних русских церковных отношениях. Его построения впервые дают некоторую возможность понять, что же, собственно, произошло в церковных делах при Ярославе. Вначале тот же Анастас был епископом в Киеве. Случайно ли, по ошибке ли, Титмар его титулует архиепископом? Или это результат сближения Владимира с Болгарией, женитьбы его на болгарке в связи с уступками от болгарского патриархата в пользу киевской церкви? Затем — архиепископ Иоанн, о котором мы также мало знаем. Не знаем, кто его поставил; возможно, что его охридский соименник, которого нет достаточного основания с ним отождествлять, как делает Приселков. Но Ярослав, утвердившись во власти, идет иными путями в церковной политике. При нем впервые организуется в Киеве митрополия с греком-митрополитом Феопемптом, ставленником византийского патриарха. Эта перемена стояла в связи с событиями на Балканском полуострове. С 1018 г., со Струмицкого договора, Болгария — под властью Византии, в 1019 г. закончена борьба Ярослава с Святополком. К этому моменту естественно отнести исчезновение из Киева Анастаса, примкнувшего к Святополку и Болеславу польскому, и стало быть, поставление в Киеве архиепископом Иоанна. По Струмицкому договору, Иоанн охридский сохранил управление своей церковью, променяв звание патриарха на архиепископа. В хризовулах, определяющих его права, перечислены его епархии; но киевской, или русской, среди них нет. Приселков, пользуясь тем, что хризовулы дошли до нас только в списке XIII в., полагает, что русские епархии были в них упомянуты, но исключены в тексте XII в.; однако возможно и другое, что русская церковь была с 1019 г. изъята из-под власти Иоанна охридского, как архиепископия, подчиненная константинопольскому патриархату или хоть самостоятельная, подобно охридской. Последнее было бы актом византийской политики, нуждавшейся в дружбе русского князя, чтобы он не мешал расправе с Болгарией. Но и то было бы лишь кратким

[1] «праведными делами, ибо был великий развратник и жесток, и чинил великие насилия над слабыми греками».

переходным моментом: в 1037 г. умер Иоанн охридский, па охридскую кафедру поставлен из Константинополя грек Лев и «автокефальная охридская церковь стала орудием духовного порабощения болгар». Тогда же организуется и на Руси митрополия для грека-митрополита Феопемпта.

В этих церковных событиях крылась перемена, существенная для дальнейших судеб русской церкви и всей русской духовной культуры. Приселков яркими красками рисует «гонение», воздвигнутое «греками» на порядки и традиции «болгарского», Владимирова периода в истории русской церкви. Пошло в ход то тенденциозное искажение ранней истории русского христианства, которого наиболее ярким выражением была пресловутая «корсунская легенда». Старому центру христианского культа, Десятинной церкви, приходит на смену новый собор — «митрополия» св. Софии премудрости божией. Чрезвычайно характерно в наших старших летописных сводах сказывается перебой двух церковных традиций, двух церковно-религиозных воззрений, из которых одно связано с именем Владимира, другое — Ярослава. Княгиня Ольга, «бысть предтекущая крестьянстей земле аки деньница пред солнцем и аки зоря пред светом», а Владимир «дивно же есть се, колико добра сотвори Руссьтей земли, крестив ю», «сего бо память держат русьтии люди, поминающе святое крещение, и прославляют бога в молитвах и в песнях и псалмех, поюще господеви, новые людье, просвещении святым духом». Гимном радости о своем спасении звучат воспоминания о Владимире. При нем, так мечтают русские книжники, «избра бог страну нашу па последнее время», — и восклицают: «кого бог тако любить, яко же ны возлюбил есть, кого так почел есть, яко же ны прославил есть и възнесл?» Н. К. Никольский в любопытных своих этюдах о древнерусском христианстве отмечает в древней русской письменности черты веро- и нравоучения, которые идут от времен Владимира и носят особый характер, чуждый каких-либо черт монашеского аскетизма и отрицания мира[1] (летопись, жития Владимира, Иаков Мних, писания митрополита Иллариона; из переводных: Толкования на пророка, Толковая Палея). Суть этого раннего русского христианства, по Никольскому, в вере, что крещеные безусловно спасены, в твердой, уверенной надежде, в большом «религиозном оптимизме». Путь к спасению — крещение (при малой роли покаяния), а милостыня — главная «заповедь» этого учения. Милостыне приписывается «спасающая» сила, такая же, если не бóльшая, как таинствам («Златоструй», «Эпитимейник»). Другая заповедь — апостольство, первое просвещение («равноапостольный») и учительство — просвещение: «христианство, принятое Владимиром, есть книжная вера, которая просвещает землю, разгоняя мрак бесовского кумирослужения и насевая истину в прежнем царстве неведения и лжи». В то же время — это вера деятельной любви, примиряющая радость веры с радостью жизни. Идеалами

---

[1] *Н. К. Никольский*, О древнерусском христианстве, «Русская мысль», кн. 6, 1913, стр. 1—23.

милостыни и нищелюбия охристианены знаменитые «пиры Владимира», о которых и Титмар, столь суровый к нему, сообщает, что он выкупал пленных и кормил их. С этим у Никольского связаны указания на полное отсутствие данных, чтобы монахи играли какую-либо роль в крещении Руси. Миссионерами были не иноки; так и Константин принял монашество лишь перед смертью с именем Кирилла. Не иноки и епископы X в.: духовничество — дело белого духовенства. А при Ярославе вливается в русскую жизнь с большой силой монашеско-аскетическая струя. Ее утверждение на Руси относится уже ко временам после Ярослава в связи с деятельностью Феодосия Печерского. Но это течение само связывает себя с Ярославом, при котором (а не при Владимире) «нача вера христианская плодитися и расширятися, и черноризци почаша множитися, и монастыреве починаху быти». Время Ярослава — эпоха водворения церковности уставной и иночества: «бе Ярослав любя церковные уставы, попы любяше повелику, излиха же черноризце». С него началось, а не с Владимира, «сетованье» «врага, побеждаемого новыми людьми христианскими».

«Следы такого же религиозного оптимизма, — замечает Никольский, — мы находим в X в. в Болгарии, например, у Косьмы пресвитора»; но аналогичное течение, постепенно уступавшее аскетическому, существовало и в самой Византии; Никольский предполагает одно из гнезд его в Корсуни, примиряя представления о болгарском и корсунском влияниях в русской церкви времен Владимира.

Таким образом, подводятся глубокие основы под крупное различие между укладом киевской церковно-религиозной жизни времен Владимира и Ярослава, а «гипотеза» Приселкова, как ни трудно ее точное обоснование, историческое и документальное, получает большое значение как научная попытка объяснить церковно-политические условия отмеченных существенных отличий в иерархическом строе и характерных течениях духовной культуры X и XI вв.

Организация церкви * русской должна была начаться непосредственно после официального введения христианства в Киеве, которое последовало за бракосочетанием Владимира и царевны Анны. Вопреки идиллической картине принятия христианства, какую нам рисует древний книжник, его введение надо назвать актом княжой власти, как читаем в знаменитом «Слове о законе и благодати» с похвалой «кагану нашему Владимиру» первого митрополита из русских Иллариона (1051—1055 гг.?): «и заповеда по всей земле своей хреститися... и не бысть ни единого же противящеся благочестному его повелению: да аще кто и не любовью, но страхом повелевшего крещахуся, понеже бе благоверие его с властию сопряжено»[1].

---

* Последующие страницы об организации церкви взяты из курса 1907—1908 гг., ч. II, стр. 198—211. *(Прим. редакции)*.

[1] *Н. С. Суворов*, Следы западнокатолического церковного права в памятниках древнего русского права, Ярославль 1888; его же, К вопросу о западном влиянии на древнерусское право, Ярославль 1893; *А. С. Павлов*,

Само собою разумеется, что и в этих словах и в позднейших восхвалениях Владимира за то, что он «всю землю русскую крести от конца и до конца» (Иаков Мних), много риторического преувеличения. Новая вера раньше всего укрепила свое влияние в высшем княжеско-дружинном строе и лишь постепенно из городских центров завоевывала себе практическое значение в народной массе.

Первым шагом к утверждению новой веры должны были служить построение церквей, основание монастырей и меры для распространения нового книжного просвещения, хотя бы для того, чтобы иметь своих проповедников и свое духовенство.

Окрестив киевлян, Владимир «повеле рубити церкви и поставляти по местом, идеже стояху кумиры». На месте, где стоял идол Перуна, поставлена была церковь св. Василия, но первую солидную постройку Владимир начал, когда «помысли создати церковь пресвятые богородицы и послав приведе мастеры от Грек». Закончив постройку, князь поручил ее Настасу Корсунянину и корсунским попам, поместив в нее все, что привез из Корсуни: иконы, сосуды и кресты. Обращает на себя внимание способ материального обеспечения нужд этой церкви, примененный Владимиром: «Даю, — сказал он,— церкви сей от именья моего и от град моих десятую часть». Дело в том, что этот вид дотаций церкви не был употребителен в греческой церкви, а, напротив, широко распространен на Западе [1].

Правда, между русской и западной десятиной есть существенное отличие: там (со времен капитулярия Карла Великого, 779 г.) десятина слагалась из десятой части государственных доходов и десятой части доходов со всего населения, у нас же она не стала общей податью, а шла только с княжьих доходов. Но различие, очевидно, не принципиальное, а обусловленное тем, что политический строй Киевской Руси не давал князю возможности ввести в пользу церкви подобный налог, что было бы и несомненной ошибкой в деле распространения христианства.

Правда, до нас дошли церковные уставы князей, изображающие десятину иначе. Во-первых, так называемый «Устав Владимира Святого о церковных судах» гласит: «Се яз князь Володимер поставих церковь святые богородицы в Киеве и дах церкви той десятину по всей Русской земли в всех градех» (так его краткая редакция; а более пространная развивает: «от всего княжа суда десятую векшю, а ис торгу десятую неделю, а из домов на всяко лето от всякого стада и от всякого жита чюдному спасу и чюдней его матери». Формула краткой старшей редакции «Устава» вполне совпадает с показанием летописи. Но добавление пространной—расширяет десятину до налога «из домов на всяко лето», что можно понять как налог

Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках югославянского и русского церковного права, «Чтения в обществе любителей духовного просвещения», т. II, 1891, стр. 693—741 и т. I, 1892, стр. 182—249, 425—438, 527—572 и отдельно, М. 1892, стр. IV + 174; *Е. Е. Голубинский*, История русской церкви, т. I, ч. 2, 2-е изд., М. 1904, стр. 7.

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, 5-е изд., Киев 1899, стр. 228 и сл.

общий, хотя формула, «из домов» — необычна и вызывает уже сама по себе недоумение. Помимо того, пространная редакция носит характер позднейшей литературной обработки, довольно давней, так как старейший ее список — в «Кормчей» конца XIII в.; так, она говорит вначале о восприятии святого крещения Владимиром от Фотия, патриарха цареградского, и о первом митрополите — в одних списках Леоне, в других — Михаиле.

Этот текст пространной редакции Владимирова устава повторяется в начале «Устава великого князя Всеволода» с именами Фотия и Михаила, причем говорится еще подробнее: «и даша ей (церкви св. богородицы) десятину в всей Русстей земли и с всех княжений (?) в соборную церковь св. богородицы, иже в Киеве (повторение!), и святей Софеи Кеевской и святей Софеи Новгороцкой (анахронизмы: речь идет о Владимире и Ярославе, хотя последний не назван, а св. София в Новгороде заложена в 1045 г.) и митрополитом Киевским и архиепископом (с 1165 ?) Новгородским, от всякого княжа суда десятую векшу, а ис торгу десятую неделю, а из домов на всякое лето от всякого стада и от всякого жита св. Спасу и пречистей его матери и премудрости божии св. Софии», — а в дальнейшем «Устав Всеволода» великого князя сродни пространной редакции устава Владимира, да и вообще носит следы интерполяций и переделок, и сам поэтому дошел до нас отнюдь не в первоначальном своем виде [1].

Так шла литературная история старшего устава, развившегося в еще более поздней письменности в повествование о льготах и заботах, какими церковь и духовенство пользовались со стороны Владимира Святого и других князей.

Возвращаясь к десятине, отмечу, что под 1037 г. летопись изображает ее так: Ярослав «церкви ставляше по градом и по местом, поставля попы и дая им от именья своего урок, веля им учити люди» [2]. Так и в позднейшем уставе, около 1135 г., Всеволода Мстиславича князь дает новгородской церкви св. Ивана на Опоках (в Новгороде) доход «от своего великоимения», а по уставу 1137 г. новгородского князя Святослава Олеговича — «Устав, бывший преже нас в Руси от прадед и от дед наших» — состоит в том, что «имати пискупом десятину от даний и от вир и продажь, что входить в княжь двор всего»[3]. Наконец, и устав Ростислава смоленской епископии 1150 г. дает церкви десятину от всех даней смоленских, «что ся наречет области Смоленское, или мала или велика дань, любо княжа, любо княгинина, или чья си хотя, — правити десятину святей богородици». Церкви в XI—XII вв. идет десятина только с княжих доходов, идущих лично ему или уступленных им княгине, боярам и судьям, которым уставы запрещают нарушать церковные привилегии. Их же надо разуметь и под «людьми своими»

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия, по истории русского права, вып. I, стр. 242 и сл.

[2] Лавр., стр. 149.

[3] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия, вып. I, стр. 248 и сл.

князя Ростислава, а не вече, как хочет Владимирский-Буданов [1].

Не одна десятина составляла эти привилегии. Уставы старшие главным содержанием имеют определение суда церковного. Но вопрос о характере и объеме церковного суда более осложнен сомнительностью текстов уставов, особенно старейших, чем вопрос о десятине. Несмотря на ссылки уставов (начиная с пространной редакции Владимирова) на греческий «номоканон», на «уряженья» греческих царей и вселенских соборов, привилегии судебные церкви по уставам нашим значительно шире тех, какие были предоставлены самой греческой церкви. Кроме того, сомневаясь в достоверности уставов, указывают обыкновенно на два противоречия: между ними и бытовыми условиями древнерусской жизни, состоящие в том, что устав Владимира передает в заведывание епископов больницы, гостиницы и странноприимные дома, которых на Руси не существовало, — и между уставами, с одной, и «Русской Правдой», с другой стороны, состоящее в том, что споры о наследстве по «Русской Правде» подсудны княжому суду, а по уставам — епископскому.

Сами по себе все эти соображения не имеют решающего характера. Пришлое духовенство могло своим влиянием расширить свою судебную компетенцию, по-своему излагая и греческие узаконения. Подобная тенденция могла естественно вытекать не только из столь обычного в истории церкви стремления ее иерархов усилить свое влияние, но и из мотивов, связанных с задачами церковно-просветительного влияния в новообращенной среде, влияния особенно на ее семейный быт. Упоминание о благотворительных учреждениях могло быть простым переносом греческой формулы и греческой практики, имевшей для духовенства на Руси значение привычной программы, плана действий. Наконец, противоречие между «Русской Правдой» и уставами относительно споров о наследстве, в сущности, мнимое. «Русская Правда» не говорит о подсудности спора о наследстве князю, а лишь о том, что «аще братья ростяжются перед князем о задницю, который детьский идеть их делить, то тому взяти гривна кун»; тут, по существу дела, не подсудность, а обращение к третейской роли княжого чиновника при спорах о семейном разделе[2]. Уставы Владимиров и зависящий от него Всеволодов относят спор братьев или детей о наследстве к судам, которые даются «церквам, всем епискупиям на Русской земле», с оговоркой, что «князем и бояром и судьям в те суды не вступатися». Тут наряду с попыткой духовенства монополизировать в свою пользу известную функцию можно видеть, ввиду того что речь идет о споре, решаемом в порядке третейского

---

[1] Там же, стр. 257 и сл. и примечание 2 к стр. 257.

[2] См. ст. 140, третьей редакции по изданию В. И. Сергеевича, «Русская Правда» в четырех редакциях, 2-е изд., стр. 24, и ст. 117 Карамзинского списка в «Хрестоматии» М. Владимирского-Буданова, 5-е изд., стр. 77. В дальнейших ссылках «III» означает «Пространную Правду» по изданию Сергеевича, «Кар.» — Карамзинский список в издании Владимирского-Буданова.

разбирательства, конкуренцию двух тенденций. Но как бы то ни было и последний пример и весь характер истории текста уставов заставляют видеть в них скорее выражение стремлений и притязаний духовенства, чем кодификацию норм действовавшего права. Быть может, наиболее правильным следует признать мнение о подлинности устава Владимира Святославича, высказанное покойным канонистом А. С. Павловым на VIII архтеологическом съезде (в Москве). Оно сводится к отрицанию, что Владимир был составителем устава, но что в основе его содержания лежат правила, установленные при Владимире. Сам же устав образовался, как и «Русская Правда», путем работы частного лица, конечно, духовного, причем к старейшей его части приписывались отдельные случаи — разновременные — передачи тех или других дел церковному суду. В таком случае устав в своей торжественной официальной форме является фальсификатом, но содержание его в целом ряде случаев, определимых только гипотетически, отражает действительность историческую или притязания духовенства.

Содержание это распадается на две части. По некоторым делам епископскому суду подсудны все христиане. Эти дела: роспуст (развод), смильное заставанье (delictum flagrans, ср. чешское — smilny-lascivus, smilstwo-fornicatio), пошибенье между мужем и женой о животе (драка), женитьба в недозволенных степенях родства или свойства, ведьство, зелийничьство (знахарство), урекание — развратом, знахарством или еретичеством, зубояжа(?), побои, нанесенные детьми родителям, «братни ли дети тяжутся о задници», церковная татьба, «мертвеца волочат, крест посекут или на стенах режут, скоты или псы или поткы без велики нужи введеть или что неподобно в церкви подеет». «Те вся суды, по уставу Владимира краткой редакции, церкви даны суть» [1].

Дополнения в перечнях подсудных церкви дел в пространной редакции устава Владимира и в ее переделке в уставе Всеволода не меняют общего их характера. Это дела по преступлениям против нравственности, против религии и церкви и дела семейного характера. Особый характер носит так называемый «Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах». Он также дошел в ряде редакций, то более, то менее полных, с различными введениями. Две черты в нем особенно привлекают внимание: 1) за ряд преступлений полагается денежный штраф епископу, «а князь казнит» или— «а казнят его волостельскою казнью», под чем разумеется, вероятно, тот или иной вид физического наказания; 2) плата за преступления различна, смотря по значению потерпевшего лица. Последняя черта будет нами рассмотрена особо, в связи с той же особенностью «Русской Правды».

А первая дала Ключевскому повод очень высоко оценить внутреннее достоинство Ярославова устава, который, «углубляя понятие о преступлении», «значительно расширил область вменяемости», так как почти вся определяемая им компетенция церковного суда,

---

[1] *М. Владимирский-Буданов,* Хрестоматия по истории русского права, вып. I, стр. 229.

обнимавшая жизнь семейную, религиозную и нравственную, составилась из дел, которых не считал преступлениями или не предусматривал древний обычай [1]. Это меткое замечание касается вообще древнейших уставов о церковном суде. Оно подчеркивает общую их тенденцию изменить представление о каре как мести или вознаграждении потерпевшего—другим, более государственным, видящим в наказании акт власти, которая поставлена от бога, как говорили епископы Владимиру, «на казнь злым, а добрым на милованье».

Напомню вам предание об этой беседе: «Живяще же Володимер в страсе божьи и умножашася разбоеве, и реше епископи Володимеру: «се умножишася разбойници, почто не казниши их?» Он же рече им: «боюся греха». Они же реша ему: «ты поставлен от бога на казнь злым, а добрым на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытом». Володимер же отверг виры, нача казнити разбойники, реша епископи и старци: «рать многа; оже вира, то на оружьи и на конех буди». И рече Володимер: «тако буди». И живяще Володимер по устроенью отню и дедню» [2].

В сопоставлении с уставом Ярослава этот рассказ, может быть, получает не лишенный интереса исторический смысл, как след попыток византийского по воззрениям и происхождению духовенства привить на Руси новые представления о роли государственной власти. Будущее, далекое историческое будущее, было за этими представлениями. Но ближайшее время их не приняло. Поэтому рассказ летописи заканчивается известием о возврате к системе обычных денежных кар за преступления. Поэтому и устав Ярослава, имеющий, вероятно, историческую основу, что поддерживается его родством с «Русской Правдой», и в градации взысканий и в денежной системе должен быть признан памятником, выражающим тенденции духовенства, нашедшие, может быть, поддержку со стороны Ярослава, но не может служить источником для изучения действительной практики того времени. Вот почему и стоит он так обособленно даже в ряду других церковных уставов.

Не имея никаких документов, которые познакомили бы нас с действительной практикой церковных судов, мы не в состоянии дойти до желательных результатов в выработке отчетливого представления об их роли и вынуждены ограничиться самой общей характеристикой круга дел, подлежащих их ведению относительно всех мирян.

Другую сторону судебно-административных привилегий церкви составляло изъятие, полное или ограниченное, из-под ведения княжого суда и княжой администрации так называемых «церковных людей», т. е. духовенства и служащих при церкви, живущих при церквах или монастырях или на церковных землях, состоящих под опекой церкви людей. Краткая редакция Владимирова устава говорит без ограничений, что «митрополит или епископ ведает межю

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, стр. 310.
[2] Лавр., стр. 124.

ими суд или обиду или котора или задница»; если же есть дело между и сторонними людьми, то «обчий» суд, т. е. судят и делятся судебными доходами вместе судьи духовный и княжой.

То же находим в одной — полагаю старшей — редакции Ярославова устава: «а что деется в домовых людех и церковных и в монастырех — и не вступаются княжи волостели в то, а то ведают епископли волостели».

Позднейшие редакции обоих уставов содержат уже оговорку: «судити их огрисно мирян, развее татьбы с поличным, то судити с моим, та же и душегубление, а в иные дела никакоже моим не вступатися».

Состав этих «церковных людей» определяется в краткой редакции устава Владимира так: «А се церковные люди»: игумен, поп, дьякон, и кто в клиросе, чернец, черница, попадья, проскурница, поповичь, лечец, прощеник, задушный человек, монастыреве, больници, гостиници, странноприимници: то люди церковные, богадельные». Устав Всеволода, развивая Владимиров, добавляет паломника, свечегаса, странника, слепца, хромца... а слово прощеник заменяет словом пущеник, затем добавляет изгоев с знаменитым определением: «изгои трое: попов сын, грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купець одолжает». Три термина в этом перечне требуют объяснения: прощеник (пущеник), задушный человек, изгой.

Слово «прощеник» обыкновенно объясняют: получивший чудесное исцеление. Основание для этого видят в передаче Герберштейном Владимирова устава, именно в словах: «Volodimerus potestati spiritualium subjecit... et hos qui miraculum ab aliquo sanctorum acceperint» [1] и в том, что слово прощеник в других текстах — «прощеники божии», получившие прощение грехов или исцеление у святых мощей. Другое пояснение предлагает Голубинский, опираясь на текст Маржерета: «В России есть особенный орден, состоящий из людей, которые, предчувствуя приближение смерти, были соборованы маслом, однакоже не умирали; такие люди обязываются носить до самой кончины платье, похожее на монашеское... жены их имеют право выйти за другого замуж». Голубинский указывает, что в некоторых местностях России и теперь выздоровевшие по собоборовании считаются как бы воскресшими из мертвых и обязанными жить не как другие люди, но аскетически. Таких он и предлагает разуметь под прощениками [2].

Некоторое недоумение в исследователях вызывало большое количество «прощеников» и выделение их в особый класс. Так, в грамоте князя Ростислава смоленской епископии (1150 г.) читаем: «А се даю святей богородици и епископу прощеники, с медом и с кунами и с вирою и с продажами не надобе их судити никакому же человеку».

---

[1] «Владимир подчинил власти церковной... и тех, кто получит чудесное исцеление от какого-либо святого».

[2] «Сказания современников о Димитрии самозванце», ч. I, 3-е изд., СПБ, 1859, стр. 261; *Е. Е. Голубинский*, История русской церкви, 2-е изд., М. 1901, т. I, 1-я пол., стр. 422—423.

Этот текст в сопоставлении с такими топографическими именами, как Прощеник (близ Пскова, Новг. I) вызывает представление о существовании поселений «прощеников».

Вероятно, такие впечатления заставили Срезневского предложить — правда, с вопросительным знаком — отождествление прощеника с задушным человеком, что можно поддержать ссылкой на замену слова «прощеник» пущеником в уставе Всеволода Ольговича. В таком случае прощеник оказался бы холопом, отпущенным на волю «бога деля». Но едва ли есть прямое основание так суживать значение термина «прощеник», скорее обходя этим трудность его толкования, чем разрешая ее. Сопоставим лучше его значение с термином изгой.

Глосса в грамоте Всеволода Ольговича знает три вида изгойства — безграмотного поповича, разорившегося купца, выкупившегося на свободу холопа. Этимологический смысл слова достаточно ясен. Не знаю только, есть ли прямое основание считать его заимствованным: указывают на латышское izgois — вышедший, на готское usgaisjan — выходить, usgaauja — изгнанник; среди современных провинциализмов указано Беляевым выражение «изгойные поля» в смысле «отдельные». И с этим ставят в связь значение — вышедший из своей социальной группы, выбитый из обычного строя жизни и общественного положения, считая основным источником изгойства выход холопа из холопства [1]. Действительно, в древнем «Наставлении духовнику о принятии кающихся» читаем требование, чтобы кто продает челядина, брал за него не больше, чем сам дал, и чтобы кто выкупается на свободу, давал за себя столько же, сколько за него заплачено. Лишек при таких сделках называется в этом наставлении «изгойством», «и се пакы горее всего емлющим изгойство на искупающихся от работы» и не удовлетворяющимся «ценою уреченою», а требующим еще после выкупа платы с бывшего холопа или ищущим изгойства с его детей, родившихся на свободе, с помощью лжесвидетелей [2]. Изгои, подобно прощеникам и больше их, играли видную роль в княжеском и церковном землевладении. В той же местности, под Псковом, где мы встретили Прощеника, находим княжье село Изгои [3]. «Села со изгои» упоминаются в актах. В грамоте Ростислава смоленского, князь дает св. богородице и епископу «село Дросенское, со изгои и с землей», «село Ясенское и с бортником и с землею и с изгои», а «из двора своего»—«на горе огород с капустником и с женою и с детьми, а за рекою тетеревник с женою и с детьми»; устав о мостовой повинности в Новгороде: «а владыце сквозе городная ворота с изгои, а с другыми изгои до острое улицы».

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, 5-е изд., стр. 24, примечание 5 и стр. 245, примечание 23; *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, 2-е изд., СПБ 1902, стр. 274.

[2] «Русская историческая библиотека», изд. Археографической комиссии, т. VI, кн. I, 2-е изд., № 122, стр. 842—843.

[3] «ПСРЛ», т. IV, стр. 187.

Климент Смолятич подчеркивает эту экономическую роль изгоев в развитии крупного землевладения, осуждая «славы хотящих, иже прилагают дом к дому, и села к селом, изгои же и сябры, и борти, и пожни, ляда же и старины» [1].

Чтобы получить полное представление о материале для толкования занимающих нас терминов, вспомним и о задушных людях. Это тоже холопы, вышедшие из холопства, но не выкупом, а отпущенные на волю «на помин души» — по духовным завещаниям.

Осмыслить и объединить все эти разрозненные впечатления можем, сопоставив их с данными позднейшего времени о составе населения, работавшего на монастыри и зависевшего от них. Тут находим «трудников», которые с малых лет в монастырских огородах «тружаются», безродных сирот, которые «за сиротством» кормятся при монастыре, работая в его хозяйстве, людей, которые «были крестьянами, да за скудостью сошли на монастырский двор и живут в коровниках, скотниках» и т. п., — видим добровольных работников, которые по обету временно, годами или вечно живут при монастырях в положении монастырских работников, как это и в XX в. можно было наблюдать, например, в Соловецком монастыре. Такими были прощеники, изгои и другие обездоленные судьбой, находившие на монастырской земле или за монастырской оградой зависимое, но определенное положение, защиту и материальное обеспечение.

Перед нами, как увидим, пока разрозненные черты очень глубокого и важного социального процесса, к которым мы еще вернемся в связи с вопросом о происхождении и значении крупного землевладения — княжеского, церковного и боярского.

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, 5-е изд., стр. 82 и 261; *Н. К. Никольский*, О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, СПБ 1892, стр. 104.

ГЛАВА VIII

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ В XI в.

Церковный строй — церковь как учреждение — стала политической и общественной силой лишь со времен Ярослава. Эта Ярославова эпоха вообще завершает по-своему организационную работу Владимира и закладывает основы политического быта Киевской Руси, надолго определившие ход русской исторической жизни.

Из обзора древнейших судеб Днепровской Руси и того, что знаем об отдельных областях во времена Владимира, казалось бы, достаточно ясно, что характерный строй Киевской Руси как суммы «городовых областей», «земель-княжений», отнюдь не наследие доисторического, докняжеского времени, которое Ключевский считает вполне сложившимся в VIII в., а явление, постепенно слагающееся на глазах историка в связи с организующей деятельностью княжеской власти. К тому же до XI века нет никаких следов выступлений или какого-нибудь значения «веча», которое наши историки тщетно пытаются генетически связать с племенными собраниями доисторических времен.

Проследим ближе политические (внутренние) судьбы Киевской Руси, насколько это возможно.

Ярослав при отце сидел в Новгороде. Раньше тут княжил в юности Владимир под опекой дяди Добрыни; когда Владимир ушел на юг, власть в Новгороде была поручена Добрыне, потом Владимир посылает сюда сыновей — Вышеслава, Ярослава. Смутные известия указывают на то, что и раньше в Новгороде была местная княжеская власть, связанная с Киевом: по свидетельству Константина Багрянородного в Новгороде при Игоре княжил Святослав, которого Константин называет «братом» Игоря. А в начале новгородской истории стоит известие арабов Ибн-Ростэ и Гардизи о варягах, которые засели в Holmgard'е, Новгороде, и отсюда облагают данью славян, а многие из славян проходят к этой «руси» и служат ей. Что же представлял собой этот ильменский центр и его область? Я уже высказывал предположение, что тут, на севере, по всей видимости, раньше и прочнее сложился особый центр княжеско-дружинного властвования в форме настоящей «городовой волости». Сергеевич так изображает древнейший тип подобной организации: «группами предприимчивых людей», которые Сергеевич представляет себе «смешанными» из славян и финнов, а вернее и ближе к дан-

ным источников представлять их варягами, к которым постепенно примыкают туземцы, строился город; из такого укрепленного пункта-города вышла сила, создавшая «волость» путем подчинения себе разрозненного населения окрестных земель. «Центр волости — город, к нему тянет земля, огражденная пригородами», построенными для «береженья» владений «города». Сложилась эта схема на примере именно Новгородской области, и на все другие распространена, как бы имеющая общее значение, без достаточных оснований. Не надо, прежде всего, упускать из виду, что слово «пригород» туземно только на севере — в землях Новгородской и Ростовской. На юге говорят о «городах» Киевской земли, о «волостях» киевских, но не о пригородах киевских.

Исконный центр Новгорода — «Городище» на «острове» между Волховом, Малым Волховцом и притоками. Тут древнейший укрепленный «город». Местные топографические условия не дали ему стать подлинным центром Новгорода, и он стал «городищем», вероятно, во времена Ярослава. Болотистая почва мешала скученности населения, и, притянутое значением нового «города», оно селилось на более возвышенных местах враздробь, отдельными поселками. Лишь для одного из них знаем древнейшее имя — Славно, юго-восточный «конец» Новгорода. Сюда при Ярославе перешел центр княжой власти из Городища в «Ярославов двор», возле которого расположился и «торг», а кругом — боярские дворы княжеских дружинников — огнищан. Славенский конец на все времена истории Новгорода остался боярской, аристократической частью города, нередко враждовавшей с остальным Новгородом как особая, боярская политическая партия. Славно, по всей вероятности, древнейшее поселение тех колонистов, которые, по слову летописи, тут «своим имением прозвашася» словене, славяне. Самое слово славянин образовано, как горожанин, киевлянин etc. К северу от Славенского конца примыкал, вниз по Волхову, Плотницкий конец, а мост через Волхов вел на Софийскую, западную сторону Новгорода, в Детинец — деревянный город (tête de pont), возникший, вероятно, тоже при Ярославе, который позднее, когда он сам княжил в Киеве, а Новгород держал сыном Владимиром, соорудил тут храм св. Софии премудрости божией. К Детинцу с юга примыкал Гончарный или Людин конец; название «Людин» повидимому, древнее Гончарного. Такова, по всей вероятности, основная часть ярославова Новгорода. Северо-западная часть Новгорода, Неревский конец, иногда в источниках называется Неревским Загородский, в чем можно видеть след позднейшего вступления его в состав собственно городских концов; а Загородье — на запад от Детинца — концом (Загородским) стало только в XIV в.

Названия Плотницкого и Людина концов — бытовые, так сказать, профессиональные термины. В них память о зависимом повинностном отношении этих поселков в городу и княжеской власти. Слово «люди» в древней Руси всегда означало низшее население, массу подвластную, в противоположность свободным «мужам». Позднейшая свобода мужей новгородских почти убила память о пер-

воначальном положении «плотников» и «гончаров», «людей» перед княжеской властью; только в живучей антипатии демократических концов против боярского Славенского конца остался его след. Однако мы все-таки знаем, что с обывателей Новгорода собиралась дань «мира деля» на содержание и новгородской (одна треть) и киевской (две трети) дружины; знаем, что на них лежали и издельные повинности, например, «мостовая», т. е. ремонт Волховского моста, и «мощение» всего Новгорода по «уставу Ярослава о мостех».

Повинности эти (мостовое и, конечно, городовое дело) распределены были по «улицам», которые в Новгороде служили единицами административного деления Новгорода и составляли особые общины, так сказать участковые, а доставка материала для «большого моста» и работа на нем—по «сотням». Сотня тут—деление городского населения на организации ради целей управления (судебно-полицейского) и отбывания повинностей. Любопытно отметить, что в уставе о «городских мостех» эти «ста» перечислены по именам их сотских (Довыдже сто, Слепцово, Бовыково, Олексено, Ратиборево, Кондратово, Романово, Сидорово, Гаврилово, а одно «княжое», вероятно, «княжих людей», подобно участию «владычных людей»—изгоев — в мостовой повинности?) Конечно, устав дошел до нас в весьма поздней редакции, но все-таки в нем отразились отношения очень архаичные, так как в XII в. подобная организация повинностей в Новгороде, когда он «вечевым» стал, была уже невозможна и перешла в «сгон крестьян», смердов новгородских, па новгородские городские работы.

Дань и повинности издельные в пользу главного города, т. е. утвердившейся в нем княжеской власти, лежали в древности на пригородах. Свидетельства об этом у нас только чисто литературные, отразившие пережиток воззрений на приниженную роль пригорода. Так, например, киевляне поносят новгородцев перед боем между Святополком и Ярославом: «а вы, плотници суще, а приставим вы хоромов рубити наших». Так, ростовцы еще в XII в. утверждают, что могут «сотворить» с Владимиром Залесским, «како им любо», потому что «Владимир есть пригород наш», и грозятся: «пожьжем и, пакы ли посадника в нем посадим: то суть наши холопи каменьщики». Довольно ясно указывает это употребление терминов «плотники», «каменщики» как бранных и уничижительных на традицию повинностного отношения пригородов к власти главного города. След крепкой подвластности пригородов сохранился даже в вечевой период истории Новгорода и Пскова: Новгород назначает по своему произволу посадников и нарядчиков в пригороды, штрафует их за самосуд, считая «народоправство» лишь своей привилегией, а Псков делит пригороды по жребию между своими «концами». Впрочем, в эти позднейшие народоправческие времена тягость дани и повинностей уже переложена с горожан и пригорожан на сельское население. Таков естественный результат политического освобождения городских общин от подавления городских «людей» властью князя. Дань и повинности — черты именно княжеского властвования, так что в «вольном» Новгороде, когда собиралась дань со всего населения («черный бор»), она шла князю, и данные люди, смерды

новгородские, были долго под особым княжеским управлением («блюдение смердов» — особый долг новгородского князя). Так, в запоздалых, пережиточных отражениях позднего времени сохраняются следы древнего строя «городовых волостей». Однако вернемся в Новгород, когда там княжит Ярослав под рукой киевского Владимира.

Скандинавские саги хорошо знают новгородского Ярослава. При Владимире, который собрал заново северные силы для подчинения себе киевского юга, обновились связи Новгорода с заморскими варягами, но характер варяжского движения на Русь резко иной, чем в старину. Теперь, при Владимире и Ярославе, на Руси сильная, организованная княжеская власть, и варяги, отдельные авантюристы или целые дружины, являются наемными «гридями» русского князя (недаром и новгородская дружина названа этим скандинавским словом — gridhmenn). Ярославов двор полон варяжских выходцев. Ярослав женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа Стоткопунга, а по смерти ее в 1051 г. она погребена в храме св. Софии в Новгороде. На Руси ее звали Ириной, а перед кончиной она приняла иночество с именем Анны. Саги изображают ее подлинной владычицей на Руси, а Ярослава, не без иронии, — только «начальником дружины». Не случайно ее погребение в новгородском соборе. Тут, в Новгороде, — родимое гнездо варяжского двора Ярослава. Сага об Олафе Святом сохранила сведения о наемной варяжской дружине в Holmgard'е — Новгороде — с указанием и на условия службы — $^1/_2$ ör'ы на человека, полное содержание, одежда; новгородская летопись указывает, что варяжская дружина жила в особом дворе — Поромонь двор. И сага и летописи сообщают о резко враждебных отношениях между варягами и новгородцами. «Варязи бяху мнози у Ярослава и насилье творяху новгородцем и женам их», — сообщает летопись, а сага об Олафе повествует, как Олаф в ссоре убил какого-то «Клеркона», а народ собрался, требуя смерти убийцы, но княгиня вступилась за Олафа и готова была защищать его своими слугами, князь выступил посредником и свел дело к примирению, т. е. к замене кровавой мести уплатой виры, которую за Олафа уплатила княгиня. Варяжский пришлый элемент тут новый, недавний; это не «русские», а «заморские» варяги. Против них местное общество, во главе которого в рассказах о Ярославе выступает новгородское боярство, княжи мужи — огнищане, местная, не наемная, а постоянная дружина князя. Не «варяги» — посадники новгородские времен Владимира и Ярослава, Добрыня и сын его Константин Добрынич, хотя, может быть, и прав А. А. Шахматов, предполагая для Добрыни происхождение от старого «варяго-русского», т. е. ославянившегося рода. С этих пор подлинно варяжский элемент выступает случайным и наносным, а старые, довладимировы варяжские элементы нераздельно слиты в одно целое с славянским обществом в одно русское общество.

Мы не имеем никаких данных для изучения того, как сложилось и окрепло это местное новгородское общество, но ход дальнейших новгородских событий показывает, что оно стало во времена Яро-

слава серьезной политической силой, имело решительных вождей среди княжого боярства, решительно и успешно отстаивало свои интересы против нового варяжского засилья и заставило князя не только считаться с собой, но добилось важных уступок от княжеской власти. Первые выступления местной новгородской общественной силы связаны с тревожными событиями, какие разыгрались на Руси по смерти князя Владимира Святославича (1015 г.).

«Хотящу Володимеру ити на Ярослава, Ярослав же послав за море, приведе варягы, бояся отца своего, но бог не вдасть дьяволу радости»,—Владимир разболелся и умер, как, судя по тону, писал, согласно критике текста у А. А. Шахматова, новгородский книжник-летописец. Север отложился от киевской власти, опираясь па «заморских» варягов и, как далее увидим, еще более на местные новгородские силы. А на юге отношения были сильно запутаны, источники же наши дают указания неясные и частью противоречивые. А. А. Шахматов полагает, что Святополк «сидел» в момент смерти Владимира в Вышгороде. Основание такого представления в том, что вышгородцы выступают в дальнейшем главной опорой Святополка. Но это толкование весьма сомнительно. Нет, думаю, никаких оснований предполагать, будто Вышгород был «стольным» городом, куда Владимир «посадил» бы Святополка, сняв с него недавнюю опалу. Вышгород вообще на каком-то особом положении в составе киевских владений. При Святославе это — «град Олзин»: небольшой по объему городок на высоком холме, с крутым обрывом к Днепру, а с другой стороны ограниченный балками и оврагами от остальной прибрежной возвышенности; покатый южный склон был укреплен рядом валов. Это типичный княжеский городок, по позднейшему сказать — дворцовый. Тут, в Вышгороде, киевские князья, как и в подгородном княжеском селе Берестове, больше дома, чем в самом Киеве. Сюда они ездят на «потеху» — «ловы деяти», тут отдыхает больной князь, тут иные и умирают. В Вышгороде иногда князья предпочитали держать заключенных; вероятно, тут жил в годину смерти отца Святополк под надзором, но, может быть, на свободе, отбыв «in singulari custodia» [1], как сообщает Титмар Мерзебургский, отцовскую опалу. Он успел завязать отношения с «вышегородскими боярцами», подготовив себе партию на случай смерти отца [2].

Мы не знаем ничего определенного о каких-либо предсмертных распоряжениях Владимира. Но есть серьезные основания думать, что он прочил себе в преемники па киевском столе Бориса. Такое намерение сказывается в известиях, что Борис жил при престарелом отце, что ему отец передал командование киевской дружиной и поручил за себя вести борьбу с печенегами. Мне уже приходилось указывать основания, по которым Бориса можно считать сыпом от последнего (второго, христианского) брака Владимира с какой-то болгарыней. Если такое предположение признать правильным, то

---

[1] «В одиночном заключении».

[2] *В. Г. Ляскоронский*, Киевский Вышгород в удельно-вечевое время, «ЖМНПр.» № 9, 1913.

и намерение Владимира передать главное преемство после себя вполне в духе воззрений эпохи. Семья, по этим воззрениям, состоит из отца, матери и детей. Резко сознавалось различие единоутробного братства от братства сводного, «мачешина», от родного брата. Притом в гражданском быту обычно было воззрение, выраженное, например, в статье «Русской Правды»: «а двор без дела отень всяк младшему сынови». С другой стороны, в древнейших семейно-правовых воззрениях мы не находим сколько-нибудь определенного представления о преимуществах права первородства, преимуществах старшего сына перед остальными. Да если бы они и были, их перенос на отношения разносемейных сыновей не соответствовал бы господствующим понятиям, по которым настоящая семья — единоутробная: так Ярослав Владимирович, наставляя, в летописном рассказе, сыновей, говорит им: «вы есте братья единого отца и матере». Так указанные намерения Владимира не противоречили семейно-правовым понятиям его времени, а лично у него могли еще укрепиться раздорами его со старшими сыновьями. Но эти планы были разбиты решительным выступлением Святополка. Летописные рассказы о дальнейших событиях уже окрашены позднейшей точкой зрения, требовавшей идеализации облика св. мучеников Бориса и Глеба и обличения Святополкова «окаянства». Исторически можем себе поэтому представить ход событий лишь в самых общих чертах. В момент смерти Владимира Борис с дружиной отца и киевским войском возвращался из бесплодного похода, — «не обретя печенег». Боевая сила была в его руках, но Киев успел занять Святополк, который «созва кыяны и нача даяти им именье», а сам «седе Кыеве по отци своем». Кыяне недоумевали, как быть, видимо, только потому, что «братья их быша с Борисом». Весть о занятии стола киевского Святополком и успокоительные его присылки к Борису парализовали энергию последнего, а дружина отня и вои киевские его покинули. Но Святополк решил отделаться от него, и Борис убит подосланными убийцами. Погиб и Глеб, а вслед и Святослав, правивший Древлянской землей, по дороге в «Угры», куда пытался бежать. Завязалась борьба за единство отцовского наследия, за владение всей днепровской Русью, какая разыгралась по смерти Святослава Игоревича и назревала еще при жизни Владимира в его столкновениях с сыновьями. И снова поднялся новгородский север в союзе с варягами и решил спор в пользу своего князя.

События 1015/16 г. — чрезвычайно важный момент в истории Новгорода и Киева. Документальных сведений о них у нас нет. Имеем только летописные рассказы, и то в позднейшей редакции «Повести временных лет» и «Новгородского летописного свода», да сказания житийного характера об убиении Бориса и Глеба, а еще известия польских летописцев и некоторых западных хроник.

Впрочем, есть основание думать, что в основе наших летописных рассказов лежат записи современные или почти современные. Один из важнейших выводов работы А. А. Шахматова «Разыскания о древнейших летописных сводах»—установление момента возникновения древнерусского летописания и в Киеве и в Новгороде при Яро-

славе. В частности возникновение новгородского летописания А. А. Шахматов связал непосредственно с событиями 1015/16 г. События эти пробудили самостоятельную политическую жизнь Новгорода и вместе с тем его историческую письменность. Однако первоначальный текст записей до нас не дошел, а вошел в состав «Новгородского свода» и «Повести временных лет» уже скомбинированной редакцией из новгородских и киевских источников со значительной путаницей порядка событий и кое-какими добавками, домыслами сводчиков. Только сопоставляя их между собой и с западными источниками, можно выяснить их порядок.

Момент кончины Владимира застал Ярослава готовым к войне с отцом. Он «кормил» у себя много варягов, призванных «из-за моря»; но поход не состоялся, а варяги начали «насилье деяти новгородцам и женам их», чем вызвали восстание. Ночью новгородцы напали на Поромонь двор, где жила наемная варяжская дружина, и перебили ее, воспользовавшись отсутствием Ярослава, который был в ту ночь на Ракоме, в пригородном княжом селе. Ярослав вернулся и отомстил: призвал будто для переговоров — и избил у себя на дворе — кого? Новг. I летопись дает текст: «вои славны тысящу, и обольстив их иссече, иже бяху варягы ти исекле, а друзии бежаша из града». «Повесть временных лет»: «и позва к себе нарочитые мужи, иже бяху иссекли варягы и обольстив я иссече». А. А. Шахматов восстановляет (по-моему, неудачно): «и позва к себе нарочитые мужи, иже бяхуть иссекли Варягы и оболстив я, иссече вои славных тысящю, а друзие бежаша из града» [1]. А. А. Шахматов сливает, подобно сводчикам-летописцам, две записи. По-моему, выражение киевского книжника «нарочитые мужи» есть перевод слов новгородца «вои славны тысящю», что не значит 1 000 славных воев, а нечто иное, указывающее на весьма важный факт существования рядом с наемным отрядом заморских варягов местной новгородской военной организации. Ведь и на юге — несколько позднее — встречаем название народного городского ополчения «тысячей», а по «Уставу Ярослава о мостех» знаем о существовании в Новгороде десяти «сот», т. е. сотен. Название этих сот по личным именам показывает, что едва ли их «сотские» были выборные. А что первоначально сотни имели военное значение, видно, например, из такого известия: «нача [Ярослав] вое свои делити: старостам по 10 гривен, а смердам по гривне, а новгородьчем по 10 всем».

Ярославова дружина наемных варягов стоит рядом с новгородской военной силой, во главе которой новгородское боярство — огнищане князя, очевидно, смешанного варяжского (обруселого) и славянского (местного) происхождения. Эта новая антитеза туземно-новгородского и пришлого-скандинавского элементов вызвала взрыв местного самосознания и первых проблесков новгородской политической самодеятельности. Впрочем, А. А. Шахматов устанавливает путем тщательного анализа старейших летописных текстов кое-какие признаки, судя по которым такая самодеятель-

---

[1] *А. А. Шахматов*, Разыскания о древнейших летописных сводах, стр. 617.

ность старше событий 1015/16 г. Так новгородскую запись: «и посади [Владимир] Вышеслава Новегороде; умершу же Вышеславу, посадиша Ярослава», он так толкует: «возможно, что Ярослав был приглашен на стол самими новгородцами», а в другой записи: «Ярославу же сущю Новегороде и уроком дающу Кыеву 2 тысящи гривен от года до года, а тысящу Новегороде гридем раздаваху», — видит указание на то, что и в этих делах Ярослав не один действует, а при участии «людей новгородских». Вождей этой новгородской «тысячи»—нарочитых мужей—и избил Ярослав в отместку за избиение своей наемной дружины на Поромоне дворе. Это столкновение хорошо освещается упомянутыми скандинавскими сагами, которые так резко подчеркивают зависимость Ярослава от заморской варяжской силы.

И как раз в момент такого разрыва Ярослава с новгородцами пришло известие о гибели его братьев от руки Святополковых сторонников. Ярославу грозила личная опасность, Новгороду подчинение враждебному, во всяком случае, чуждому князю. А у них была ведь почва для примирения и объединения в общих интересах: незадолго перед тем Ярослав взял на себя почин освобождения Новгорода от дани Киеву. Примирение и состоялось — Ярослав «сотвори вече на поли», вне города, потому что новгородцы были настроены недоверчиво, и убедил их поддержать его в борьбе с братом. Ярослав с новгородцами и варяжским отрядом (видимо, вновь призванным по сбору дани в Новгороде) пошел на Святополка, победил его и занял Киев. Святополк бежал «в Ляхи», откуда вернулся с Болеславом и польской помощью. Ярослав был в Киеве захвачен, видимо, врасплох, потому что бежал сам-пят в Новгород, а его мачеха и сестры попали в плен к Болеславу. По новгородскому известию, Ярослав, прискакав в Новгород, «хотяше бежати за море». Видно, он заморских варягов считал главной своей опорой. Но посадник, назначенный Ярославом при уходе на юг, Константин Добрынич, сын Добрыни, стало быть, двоюродный брат Владимира Святого, с новгородцами его не пустили, а решили сами организовать борьбу с Болеславом и Святополком. Новый поход закончился полным успехом — побежденный Святополк бежал «в печенеги», а «Ярослав иде Кыеву и седе на столе отца своего Владимира».

Новгородский рассказ об этих событиях заканчивался известием о крупной раздаче денег новгородцам и сообщением, что Ярослав «да им правду и устав списа в грамоту, тако рек им: по сей грамоте ходите, якоже списа вам, тако же держите». В дошедших до нас летописных сводах за этим сообщением идет «Русская Правда». По А. А. Шахматову, первоначальное составление новгородской летописи и было вызвано потребностью «закрепить писанием в летопись» тот «учредительный акт, который даровал Новгороду Ярослав, провожая в 1016 г. из Киева посадивших его на великое княжение новгородцев» [1]. Она до нас не дошла. Ведь Новг. I летопись

---

[1] *А. А. Шахматов*, Разыскания о древнейших летописных сводах, стр. 507.

дошла до нас в поздних списках и редакциях, испытавших сильное влияние руководящей роли в летописном деле московского митрополичьего двора, и потому А. А. Шахматов полагает, что замена старой Ярославовой грамоты «Русской Правдой» произошла «по соображениям не литературным, а политическим». А. А. Шахматов полагает, что эта Ярославова грамота называлась «Правдой Новгородской» и что большое значение этого акта в жизни Великого Новгорода побудило епископа Иоакима Корсунянина в 1017 г. озаботиться составлением летописи, куда занесены сведения о крещении новгородцев, построении первых церквей, управлении Владимира через Добрыню и сыновей, о событиях при Ярославе, объясняющих, как добыта первая княжая грамота Великому Новгороду. Но вскоре Ярослав свел отчасти счеты с руководителями новгородского движения. «И потом разгневася Ярослав на Константина и заточи и»; позднейшие своды (Соф. I, Воскр.), сохранили известие, что Константин Добрынич сослан в Ростов, а на третий год убит по повелению князя в Муроме; это запись старая, новгородская. Такая же запись, сохранившаяся в позднейших сводах, сообщает о второй грамоте Ярослава Новгороду под 1036 г. :«Ярослав посади сына своего Володимера Новегороде и епископа постави Жидяту (Луку), и людем написа грамоту рек; по сей грамоте дадите дань» [1]. А с этими двумя Ярославовыми грамотами новгородцы позднее связывали основы своей политической свободы. По утверждении в 30-х годах XII в. выбора посадника и тысяцкого, до того назначавшихся князем, и вечевой самостоятельности, сложилось представление, которое и суздальский летописец высказывает под 1169 г. (Лавр.): «яко издавна суть свобожени новгородци прадеды князь наших», а в XIII в. князья, которых новгородцы принимали к себе «на всей воле новогородской», целовали им «крест» «на всех (?) грамотах Ярославлих». К сожалению, содержания их мы не знаем. Осторожные ученые с Соловьева и до А. А. Шахматова включительно полагают, что это содержание не имело никакого отношения к содержанию «Русской Правды», что, вероятно, новгородцы получили лишь «финансовую льготу», т. е. уменьшение дани (согласно 1036 г.). Действительно, несколько сбивчивые замечания летописей об этой новгородской дани говорят по поводу дани, установленной Олегом, что она равнялась 300 гривнам, «яже и ныне дают» (Новг. I) или «еже до смерти Ярославле даяше варягам» (Лавр.), и «яже не дают» (Ипат.). Тут можно видеть указание, что при Ярославе дань новгородская взималась, но в 10 раз меньшая, чем при Владимире (3 тысячи), а также, что при его сыновьях она вовсе прекратилась (быть может, —прекращена в 1017 г., восстановлена в таком уменьшенном размере в 1036 г.). Но если бы к этому сводилось все содержание Ярославлих грамот, странной была бы их роль как «хартии новгородской вольности», которой так дорожили новгородцы в эпоху установления своего народоправства.

---

[1] «ПСРЛ», т. V (Соф. I), стр. 134 и т. VII (Воскр.), стр. 328; там же, т. V, стр. 136, т. VII, стр. 330 и т. III, стр. 179.

Восстановление полного содержания этих грамот, конечно, вовсе невозможно по нашим материалам. Конечно, если, как указано А. А. Шахматовым, в одном летописном тексте XVI в. о Ярославе говорится, «дасть им судебную грамоту, почему им ходити», то это, всего вероятнее, просто отражение того, что в подлинных сводах на месте Ярославлей грамоты 1017 г. стояла «Русская Правда». Но трудно, казалось бы, сомневаться, что грамота подлинная содержала какие-либо не финансовые только, а и правовые определения. Я думаю, что кое-какие черты этих определений можно найти в древнейшей части «Русской Правды» — в первых 17 статьях краткой ее редакции. Распространение ее гарантий на «русина и словенина» — важное правовое приобретение времен Ярослава — дело явно новгородское. Повидимому, оно обусловлено тем сближением новгородского боярства (огнищан) с городскими общинами Новгорода против засилья заморских варягов. Если признать, что я верно понимаю этот момент, то важно его значение и в истории древнерусской княжеской власти. Князь как «начальник дружины» имел в этой «дружине» круг лиц, ему служащих, его огнищан-домочадцев, его гридей, княжих мужей и слуг двора княжого, «отроков»,— словом, особый круг лиц, находившихся под особой, его, князя, опекой. Все они считались двором (огнищем), домом князя. Отсюда два следствия. С одной стороны, эта «княжая община» стояла обособленно в общине городской (народной) и столкновения между ними были столкновениями двух замкнутых и обособленных миров: весь строй древней жизни вел к тому, что каждая общинная единица, семья — дворище, группа родичей (род), и соседская община (вервь), были своего рода союзами взаимопомощи, взаимной защиты. Они защищали жизнь и имущество своего сочлена, мстя за его убийство кровавой местью, но и защищая его, если он сам совершит насилие, против мести чужаков. Лишь постепенно вырабатывалась замена кровавой мести и иного самоуправства соглашениями о замене ее денежной (имущественной) уплатой, покупкой мира (с обрядом примирения — покоры). Такую же отдельную организацию в ряду других представлял собой и княжой двор, с тем отличием, что все его дела касались князя. Поэтому месть за убитого кем-либо княжого человека превращалась в акт карающей княжеской власти, а попытка мести княжому человеку наталкивалась на причастность к такому вопросу князя как покровителя своих людей, и потому должна была выродиться в жалобу князю на дружинника-насильника. Тогда князь выступает в другой роли установителя «наряда», общего мира, охраны общественного мира и порядка. Как верховный посредник в столкновении, он определяет вознаграждение потерпевшему и кару виновному. Но такова лишь одна сторона дела. А с другой, если каждая община — городская, соседская, семейная — жила своим обычаем, улаживая внутренние дела и трения судом и расправой своих старших, то княжое огнище также управлялось своим обычаем, какой вырабатывался в его среде и находил поддержку в «начальнике дружины» — князе. Я и вижу в древнейшей части «Русской Правды» черты такого дружинного права, но эти нормы полу-

чили тут уже более общее значение, так как новгородцы добились признания той же княжеской защиты, как средства ограничить самоуправство дружины в ее столкновениях с местным населением. Если так, то княжеская власть впервые при Ярославе сперва на новгородской почве получает характер правительственной власти, и князь из «начальника дружины» становится «земской властью». Конечно, это только гипотеза, но, по-моему, она естественно вытекает из данных отношений эпохи. Момент этот соответствует и внешнему факту — выходу княжеской власти из городища на Ярославов двор в Славенском конце, близ Торга.

Как бы то ни было, в Новгороде Ярослав нашел опору для захвата власти в Киеве. Из братьев только Мстислав остался ему соперником, да в Полоцке княжат местные князья линии Изяслава Владимировича. Остальные Владимировичи, неведомо как, сошли с исторической сцены. Только кое-что мы узнаем о судьбе Судислава. Повидимому, старые записи сохранили лишь указания на то, что «всади Ярослав Судислава в поруб брата своего, Плескове, оклеветан к нему», откуда редакторы позднейших летописных сводов заключили, что Судислав посажен был княжить в Пскове Владимиром Святым (Соф. I, Воскр.). «Повесть временных лет» отнесла заточение Судислава к 1036 г.; лишь по смерти Ярослава «Изяслав, Святослав и Всеволод высадиша стрыя своего из поруба, седе бо лет 20 и 4, заводивше кресту и бысть чернецем». Но с Мстиславом дело было труднее. Его «Повесть временных лет» считает сыном Рогнеды, старшим Ярослава, вторым сыном после Изяслава Полоцкого. Его Владимир послал в далекую Тмутаракань — владение на Таманьском полуострове, столь непонятное до сих пор для русских историков. Ведь еще во второй половине XI в. Тмутаракань — русская волость, точно «остров за половецким морем», по выражению Грушевского. Волость Мстислава представляет себе Грушевский состоящей из нижнего Подонья, крымских и кавказских волостей. По византийским известиям, в устье Дона существовал «русский порт», Ρωσια; есть указания, что во времена Владимира восток Крымского полуострова с Корчевым — Керчью — был под властью киевского князя, а «кавказские волости» — это область Тмутаракани — греческой Ταματαρχα на месте греческой Фанагории. Здесь, в стране обезов (абхазцев), Русь точно на чужбине, оторванная от своей базы. Как забрела сюда русская власть? Иные, например А. А. Спицын, готовы отрицать сколько-нибудь значительную русскую колонизацию в Тмутаракани и считать Мстислава только своего рода «варягом», которого призвали обезы для защиты от соседей, касогов и зихов [1]. Спицын даже пытался установить, что летописную Тмутаракань надо приурочивать не к Тамани, а к устью Дона и отождествить с «русским портом», который тут указан греческими источниками, но, в конце концов, кажется, отказался от этого

---

[1] *А. А. Спицын*, Тмуторокански камень, в «Записках Отделения русской и славянской археологии императорского Русского археологического общества», т. XI, СПБ 1915.

мнения [1]. Грушевский собрал все данные в пользу признания прочной власти и прочной русской оседлости в Тмутаракани [2]. И ее русский характер остается фактом, как бы ни трудна еще была для полного выяснения «тмутараканская загадка». Роль Мстислава — охрана русской власти на юго-восточной окраине, слабевшей под все большим напором печенегов на южную Русь и от засорения путей к Тмутаракани по суше. Его борьба с осетинами (ясами) и касогами (горное племя — черкесы, кабарда?) укрепила еще на столетие русское господство в Тмутаракани.

Утвердившись в Киеве, Ярослав не сразу примирился с отходом Полоцкой земли в особое владение Изяславичей. Брячислав полоцкий напал было (1021 г.) на Новгород, «зая Новгород» и ушел, забрав новгородцев и имение их, но подоспел из Киева Ярослав, разбил его на реке Судомири, отнял полон новгородский. Известия об этом столкновении разбиты и разрозненны. Позднейшие своды (Никоновский) вычитали в своих источниках, что Ярослав, мирясь с Брячиславом, уступил ему Витебск и Усвят [3]. Возможно, что, как и поминают скандинавские саги, Ярослав сперва отнял у полоцкого князя эти волости (Эймундова сага говорит о «соседних с его краем селах и городах»), так что почин нападения шел от Ярослава. Это подходило бы к моменту: утвердившись в Киеве, Ярослав, подобно Владимиру, стремился овладеть всей Русской землей. Но с Брячиславом пришлось помириться ввиду более серьезной опасности от Мстислава. В 1023/24 г. Ярослав был занят на севере, где разыгралось народное волнение из-за неурожая и голодовки — языческое движение под внушением волхвов, которое Е. В. Аничков так сильно выдвигает в своем труде «Язычество и древняя Русь».

А в это время завязалась и борьба Ярослава с Мстиславом. Мстислав начал ее с хазарами и касогами, пытался захватить Киев, по «не прияша его кияне» [4], он же пошел от Киева и «седе на столе Чернигове», собрав для дальнейшей борьбы северянское ополчение. Это первое наше известие об организации определенной власти в Чернигове, над Северянской землей, к которой и впредь тянет также Посеймье и Подонье с Тмутараканью. Ярослав, как обычно, «посла за море по варягы» и призвал целую их дружину с Якуном (Гаконом). Летописи рассказывают о победе, не очень решительной, Ярослава при Листвене (к северо-западу от Чернигова); но он «не смеяше ити в Кыев, дондеже смиришася». Мстислав засел княжить в Чернигове, Ярослав же—в Новгороде, а в Киеве «бяху мужи Ярославли». Этот факт, сохраненный в «Повести временных лет», опять подчеркивает, что центр силы Ярослава и его главная опора — на севере, в Новгороде; лишь через год Ярослав «совокупи воя многы и приде к Кыеву, и створи мир с братом своим Мстиславом у Городца»; помирились на том, что они разделили по Днепр Русскую землю;

---

[1] *А. А. Спицын*, Историко-археологические разыскания, «ЖМНПр.» № 1, 1909, стр. 79 и сл.

[2] *М. С. Грушевский*, История Украини Руси, т. II, стр. 505 и сл.

[3] «ПРСЛ», т. VII, стр. 328.

[4] «бяху Кыеве мужи Ярославли».

Ярослав «прия сю сторону, а Мстислав ону». И долго живет среди русских князей традиция такого раздела Русской земли Днепром на две «стороны» — восточную и западную.

Ярослав сосредоточил свои усилия на укреплении за собой западных пределов. Ходил он на чудь и поставил город Юрьев на реке Онбоже (Эмбах), на запад от Чудского озера, для обороны Псковской волости; и на севере, по усмирении «восстания волхвов» в Поволжье, начал систематическое покорение севера (1032 г. — поход Улеба на заволоцких финнов, 1042 г. — Владимира Ярославича на ямь); взял Белзь и ходил на ляхов с помощью Мстислава, чтобы вернуть Руси червенские города, захваченные Болеславом; укрепляет и заселяет бассейн реки Роси, отодвигая от Киева южную границу.

По смерти Мстислава (бездетного: сын его Евстафий умер раньше), в 1036 г., «перея власть его всю Ярослав и бысть сам овластець Русстей земли», — так оценивает этот момент книжник XI в. Тогда же Ярослав и брата Судислава «всади в поруб».

Этот период борьбы закончил образование территории Киевского государства. Как видите, ее центр больше в Новгороде, чем в Киеве. С большой постепенностью и в несколько приемов — от Олега до Ярослава— завершается утверждение за Киевом значения «матери городов русских». Только с 1037 г. может Ярослав развернуть тут свою деятельность организатора. Киев он застал в виде небольшого укрепленного города на «горе Киевской»; еще то место, где он соорудил соборный храм св. Софии премудрости божией, «бе тогда поле вне града». Ярослав «заложи город великий», Золотые врата с благовещенской церковью на них, потом церковь св. Ирины (мира), и монастырь св. Георгия. Княжеская власть при нем вышла из «городища» в Новгород — на Ярославово дворище, так и в Киеве она вышла из малого города, становясь земской, городской властью.

Время киевского княжения Ярослава (1036—1054 гг.) — решительная эпоха в истории политического и церковного строя Киевской Руси.

Основы гражданской и правительственной организации, сложившиеся в Новгороде, перенесены на юг. «Новгородская Правда» стала «Русской Правдой». Традиция старых списков «Русской Правды» указывает на ряд правовых норм, восходящих к установлениям Ярослава: «то ти урок Ярославль», «Суд Ярославль Володимеричь, а ино все якоже Ярослав судил, тако же и сынове его уставиша», «а се покони вирни и были при Ярославе» и т. д. У нас нет серьезных оснований подозревать историческую верность этой традиции[1]. [А традиция эта снова приводит нас к пресловутому вопросу о «происхождении «Русской Правды». Различие вопроса о «записи» и о происхождении самого права, слияние «дружины» с городской общиной в общем правовом строе и обособленность «дружины» от народной общины. Генезис норм «Русской Правды» — «покон вирный», разнородный состав норм. Компромиссный характер старейших княжих

[1] Далее следуют конспективные строки, разворачивавшиеся, очевидно, в устном изложении.

«уроков» и «уставов»: соглашение с дружиной и с населением. Суд князя. Народно-обычное и княжеско-уставное (996 г.) право.]

Что сделано Ярославом? Трудность реставрации княжого управления при Владимире и Ярославе — в крайнем недостатке источников прежде всего для представления о порядке народного быта, который князья нашли существующим при утверждении своей власти на Руси. В первой половине своего курса я подробно разъяснял, почему считаю невозможным признать общепринятое воззрение, будто на Руси чуть не в VIII в. сложился уже законченный строй «городских земель-областей», в который явились «призванные» князья как «наемные» защитники земли. След «земской» власти, стоящей рядом с княжескими властями, видят обычно в «старцах градских» или «старейшинах по градом», о которых упоминают рассказы про Владимира. Рассказы эти, как они сохранились в «Повести временных лет», упоминают о пирах Владимира, на которые он созывал людей, названных раз так: «боляры и старцы градские», другой раз так: «боляры своя и посадники, старейшины по всем градом» (и старейшины), а третий раз так: «боляре и гриди и сотские и десятские и нарочитые мужи», и еще: «боляры своя и старейшины своя, и посадники своя по всем градом своим». В этих «старцах» думают видеть руководителей местного общества, то богатых представителей торгового капитала (Ключевский), то землевладельцев (Владимирский-Буданов). Но с этой терминологией надо обращаться осторожно. Три приведенных текста приходится рассматривать как параллельные, а тогда «старцы градские» окажутся истолкованными в терминах «посадники» и «сотские». Строить на этой терминологии представление о «земском боярстве» в отличие от «княжого боярства» слишком смело, так как такого противопоставления не знает древняя Русь, как и самого термина «земский» в применении к боярину или иному «нарочитому мужу». Исторически мы имеем дело только с княжими мужами, княжескими посадниками; если отличать от них «старейшин по градом», то основание для такого отличия можно найти, например, в рассказе об осаде Белгорода печенегами, где под 997 г. белгородские «старейшины градские» упоминаются во множественном числе. Но и тут — это должностные лица, управляющие «людьми», и, прежде всего, должностные лица городские; никакого отношения прямого их к земле и ее населению мы не видим. В рассказе летописи о борьбе Ярослава Новгородского с Святополком в Новг. I видим старост, которые отличны от смердов тем, что получают от Ярослава по 10 гривен, тогда как смерды по гривне; они равны в получении по 10 гривен новгородцам. И правильнее представлять их себе новгородскими начальниками ополчения смердов, чем их «представителями»; это более соответствует сильной власти главного города, с тех пор как в нем утвердилась княжеская власть над пригородами и сельским населением. Ведь немногим позднее мы видим ослабление этой зависимости пригородов, ее сравнительно слабые пережитки в традиции русского севера — новгородского и ростовского, а на юге, в Киевщине, власть главного города над второстепенными городами всецело

в руках князя и даже термин «пригород» к ним вовсе не применяется.

Общий исторический вывод, на котором я настаиваю, — невозможность вывести княжеско-дружинный строй, а также исторически нам известный строй городских областей, земель-княжений, из племенного быта как продукт его органической эволюции. Разрушение племенного быта напором новых княжеско-дружинных сил было настолько полным, что наши исторические источники о нем не сохранили сколько-нибудь ясных свидетельств. А это значит, что его формы были слабо развиты, что отнюдь не научным является весьма распространенное у нас представление, будто «князья-варяги застали везде готовый государственный строй» (Владимирский-Буданов). Все основные элементы этого строя — значение главного города, «военно-правительственная старшина» (термин Ключевского), сотские и сотни, — все это является новообразованием на развалинах племенного быта, созданным деятельностью княжеской власти. О происхождении и характере веча поговорим особо, когда с ним исторически встретимся. До смерти Ярослава о нем и помину нет.

На основах, заложенных Владимиром, Ярослав завершил строение Киевского государства. Он правит подвластными городами через посадников или сыновей своих, заново стягивая власть над всей Русью к киевскому центру. Только Полоцкая земля осталась отрезанным ломтем, особой вотчиной «Рогволожих внуков», местной княжеской династии.

Таким же завершителем организации Киевского государства выступает Ярослав и в церковных делах. В 1037 г. Ярослав заложил соборный храм св. Софии премудрости божьей, в 1039 г. состоялось его освещение (надо принять эту поправку к странной ошибке «Повести временных лет», будто в 1039 г. «священа бысть церковь св. богородицы, юже созда Владимир, отець Ярослава», митрополитом Феопемптом). Этот момент совпал с установлением митрополии русской, вошедшей в состав константинопольского патриархата. «И бе Ярослав любя церковные уставы», восхваляет его книжник-летописец, подчеркивая заслугу уставной организации церковного управления по греческому образцу. «И церкви ставяше по градом и по местом поставляя попы и от именья своего дая им урок». «При сем нача вера христьянска плодитися и расширятися, и черноризци почяша множитися, и монастыреве починаху быти». Мы уже видели в прежнем изложении, как трудами Приселкова, Никольского выясняется подлинный перелом в ранней истории русской церкви и древнерусского христианства с переходом власти в руки Ярослава. Русь тесно примыкает к Византии, к ее церковным и культурным влияниям (Илларион). К тому же для постоянных сношений с Византией благоприятно складывались дела в степях.

В 20-х годах XI в. печенеги притихли; их сила слабеет, разлагается. Набег на Киевщину в 1036 г. — последний порыв их слабеющей энергии. С востока их теснила новая орда узы-торки. Печенеги отброшены после победы над ними Ярослава к Дунаю и за Ду-

жай, пока разгром их орды в 1092 г. половецкими ханами Боняком и Тугорканом не положил конец их историческому бытию. Их остатки частью поглощены половцами, частью вошли в состав Византийской империи. Эти поздние судьбы их изучены В. Г. Васильевским в труде «Византия и печенеги» (1872 г.). Укрепленная южная граница Руси продвинута южнее — с реки Стугны на Рось, где Ярослав построил город Юрьев.

Значительность окрепшей при Ярославе киевской державы характеризуется широтой международных ее отношений. Особенно тесны связи скандинавские. Отсюда Ярослав призывал военную силу; у него живет Олаф Святой с сыном Магнусом, вынужденный бежать из Норвегии (пока с русской помощью не вернулся к власти); при дворе Ярослава жил и Гаральд, Hardraade, будущий норвежский король, женатый затем на Елизавете Ярославне (не известной русским источникам) [1].

Известна Анна Ярославна, французская королева, супруга Генриха Капета, мать короля Филиппа I, по второму браку графиня де Крепи. Переговоры с Генрихом III, императором Священной Римской империи, о женитьбе его сына на дочери «русского короля» не увенчались успехом, но Святослав Ярославич женат на сестре епископа Бурхардта трирского, Изяслав Ярославич — на германской принцессе Гертруде; за какими-то русскими князьями были замужем дочери маркграфа саксонского Одона и графа штадского Монольда. Эти отношения показательны для места, какое Киевская Русь заняла в тогдашнем политическом мире.

*Какие выводы можно сделать из перечисленных фактов относительно характера княжеского владения в древней Руси до смерти Ярослава Владимировича?

Прежде всего надо подчеркнуть то, что уже отмечалось: полное отсутствие каких-либо указаний на понятие старейшинства, каких-либо преимуществ первородного сына. Борьба идет каждый раз за всю отчину, за все, чем владел отец, и кончается, лишь когда кто-либо начнет один владеть в Русской земле.

Иной, конечно, характер носят столкновения Владимира с сыновьями: тут борьба отца за власть над сыновьями, борьба с их попытками выбиться из-под нее и, стало быть, выделить в полное, особое владение себе то, что получено от отца в заведывание как часть общего целого. Удалось это фактически одному Изяславу — после смерти отца или раньше, не знаем. Но Полоцкая волость сразу становится отдельным владением Изяславова рода, а позднейшие

---

[1] Значение иных варяжских выходцев бывало весьма крупным. Племянник Гакона, который помог Ярославу одолеть Мстислава, варяг Шимон, изгнанный дядей, пришел к Ярославу, и тот «его же приим, в чести имяше и дасть того сынови своему Всеволоду, да будет старей у него; приа же велику власть от Всеволода». Сын же этого Шимона Георгий был назначен Владимиром Мономахом опекуном Юрия Долгорукого, которого Владимир «вдасть на руце» варягу Георгию, а когда Долгорукий занял Киев, он «тысяцкому же своему Георгию, яко отцу, придасть область Суздальскую».

* Дальнейшие страницы о характере княжеского владения до смерти Ярослава, принадлежат курсу 1907/1908 г., кн. I, стр. 240—248.

попытки Ярослава, его сыновей и внуков восстановить зависимость Полоцка от Киева не давали прочных результатов.

Как только прекратилось сиденье княжого рода совместно одним гнездом в Киеве, с первого реального раздела владений между братьями-сыновьями, перед Киевской Русью стоят только две возможности: восстановление единства путем борьбы и уничтожения родичей или дробление на ряд обособленных владений.

Такая оценка перечисленных фактов не только прямо из них вытекает, но объясняется и подтверждается путем сравнения с древнейшими формами княжеского владения у других славянских народов и сопоставления с особенностями древнего обычного наследственного права вообще.

Чтобы понять эти явления, надо иметь в виду, что перед нами такой момент в развитии понятий и фактов наследования, который, во-первых, связан с семейными, а не родовыми отношениями, а во-вторых, осложнен и обусловлен политическими интересами служившего объектом владения и наследования молодого государства.

Все, что мы наблюдали, происходит в пределах одной семьи, состоящей из отца и сыновей-братьев. Для объяснения этих явлений неприложимы, по крайней мере, взятые во всей их сложности, понятия, заимствованные из области кровно-имущественных отношений задружного или родового быта, господствовавших в племенном быту и обычном праве восточного славянства. Основным фактором наследования в семейном союзе является воля отца. Строй семьи, основанный на отцовской власти над детьми, осложняет вопрос об имущественных отношениях членов кровного союза. Если вообще «право наследства возникает не из искусственного измышления, а коренится в совладении лиц, живущих в одном доме с наследодателем, разделявших вместе труды приобретения имущества и право пользования им», то эта общая основа древнего обычного наследственного права в союзе семейном осложняется началом отцовской власти. И в результате нормы семейного права оказываются результатом компромисса между двумя разнородными началами, их создававшими.

Воля отца не безгранична в распоряжении имуществом; завещания, в смысле римского тестамента, древнее право не знает. Оно незыблемо определяет круг наследников: это — сыновья. Но раздел между сыновьями в воле отца. Как гласит «Русская Правда»: «аще кто умирая разделит дом свой детем, на том же стояти». Если же отец раздела не произведет, а «умреть без ряду», то наследство всем детям. Старинное обычное право не знало различия в правах сыновей, не знало его и древнейшее княжое право, ничем не выделявшееся до поры до времени из общего обычного правового уклада.

Результат раздела — прекращение совладения, распад связанной им социальной группы. Но результат этот осуществлялся в полной мере лишь в тех случаях, когда не было налицо иных интересов не имущественного характера, достаточно сильных, чтобы вызвать к жизни явления нового порядка.

А такие интересы бывали налицо и в недрах старого славянского племенного быта. Глава рода, общины задружной, был не только распорядителем работ совместных и общего имущества, он представитель рода перед богами, своего рода жрец, и управитель, хранитель норм обычного права, имевших в древнейшем быту сакральный характер [1]. И слово князь в истории своей у различных славян сохранило следы двойственности первоначальной племенной власти. Оно значит — священник и князь. С распадением хозяйственного, имущественного единства кровного союза сохранялось единство культа и обычно-правового порядка. Связанные с этими интересами функции и у славян и у германцев оставались часто в руках одной семьи, из которой и выходили их носители. Но понятие наследования, выросшее на почве имущественного совладения, к этому новому явлению было неприложимо. Оно и не прилагалось, заменяясь выбором вождей, но непременно из определенного рода, сохранявшего традиционную привилегию такого характера.

Не прилагалось, как мы раньше видели, понятие наследства и к должности главы задруги, домачина, старейшины, или как бы он там ни назывался. И тут решающее значение имели тот или иной фактический авторитет или выбор, при отсутствии строго определенного порядка преемства.

Вообще, если сказать по-современному, гражданское или частноправовое понятие наследства в древности ни у славян, ни у германцев не прилагалось к публично-правовым функциям власти. Это не значит, чтобы оно не применялось вообще к княжескому владению. Напротив. По смерти князя-отца его княжение как вотчина переходило ко всем его сыновьям, открывая перспективу либо раздела, либо совладения. Первые же попытки пойти по пути раздела приводили, однако, к опасности полного разрушения вековой работы ряда деятелей, ряда поколений. И раз за разом в кровавой борьбе восстанавливается единство государства путем уничтожения соперников-братьев и прочей родни, если она была налицо.

Кровавы первые страницы молодых государств славянских и германских. И это не «случайность», не «черта нравов» грубой эпохи. Это жестокая историческая необходимость эпохи первого возникновения государственности, еще не успевшей окристаллизоваться в подходящих для ее потребностей формах. Вполне сходно положение вопроса о судьбе княжения при наличности нескольких сыновей у умершего князя — и у нас, и в Чехии, и в Польше. Понятие наследства ведет к распаду, потребность сохранить раз созданное единство — к кровавой борьбе. И то же положение дел наблюдаем в германском мире. И там, за одним любопытным исключением, долго не создавалось политического наследства, понятия и факта преем-

---

[1] *Brunner*, Deutsche Rechtsgeschichte, B. I, S. 126; *Lippert*, Sozialgeschichte Boehmens, B. I, S. 196, 197. Общеславянское кънѧзь (из кънѧгъ), польское ksiądz, ksiąze, чешское knèz, knižekuningas (литовско-германское), готское kunipod, литовское кунигас — ксендз.

ства власти, престола, а такой же, как у нас, склад обычного имущественного наследования грозил молодым политическим организмам полным распадом. Противоядий было два. Народное избрание единого конунга из членов княжого рода часто предотвращало дробление государства между сонаследниками или же кровавая борьба разрешала вопрос [1]. «Лишь общее право на корону принадлежало вообще всем членам королевского дома: в каждом отдельном случае выбор народа определял, кто из нескольких, самих по себе призванных к короне, на этот раз будет возведен, независимо от степени близости по родству к предыдущему конунгу» (Dahn). «Прочное преемство, которое установило бы преемство определенного лица, не получило правовой силы ни в одном из германских государств».

Итак, отмеченное явление имеет общеисторическое значение. Но в дальнейшем развитие вопроса о государственном преемстве получило различный характер у славян и германцев. В германском мире начало народного избрания сыграло несравненно более крупную роль, чем у славян, а затем уступило место назначению, по римскому примеру, преемника самим государем, с коронацией и соправительством еще при жизни предшественника. Эти приемы и у нас сыграли позднее большую роль. Но Киевская Русь их не знает. И выход нашелся иной, такой же, как у чехов и поляков, выход, подсказанный самой жизнью и некоторыми явлениями, встречавшимися, вероятно, часто в родовом задружном быту.

В 1055 г. Бретислав чешский завещал своим сыновьям новый порядок, заклиная их принять и хранить его [2]. Суть была в том, «дабы всегда старейший имел верховную власть и стол княжения, а все его братья и все, кто из княжого рода, были бы под его властью».

Через 80 лет на тот же путь вышла и Польша. Известия о завещании Болеслава Кривоустого, умершего в 1138 г., находятся в целом ряде польских хроник. Но наиболее четкую формулу приведу из письма папы Иннокентия III к архиепископу гнезненскому (9 июля 1210 г.): «Когда Болеслав, бывший князь Польши, роздал отдельным сыновьям своим определенные части в Польше, оставляя старшему город Краков, он установил, чтобы всегда, кто старейший в его роде, имел этот город, так чтобы, если старейший умрет или откажется от своего права, то вступал бы во владение этим городом тот, кто во всем роде после него старейший» [3]. Тут, согласно с темой письма, речь идет только о владении столицей. Но другие источники, например, хроника Кадлубка, поясняют, что мысль Болеслава была

---

[1] *Brunner*, Deutsche Rechtsgeschichte, B. II, S. 23; *Dahn*, Urgeschichte der Germanischen und Romanischen Völker, B. I, S. 207; *O. Balzer*, O następstwie tronu w Polsce I, «Rosprawy» историко-филологического отделения Краковской Академии наук, серия II, том XI.

[2] Хроника Козьмы Пражского, кн. 2, 1055 г. («Monumenta Germaniae Historica», B. XI, S. 751, *Lippert*, Socialgeschichte Boehmens, B. I, S. 185.

[3] *St. Smolka*, Testament Boleslawa Krzywowstego, «Rosprawy» историко-филологического отделения Краковской Академии наук, т. XIII, 1881.

в том, «ut penes majorem natu et cracoviensis provinciae principatus et auctoritas resideret principandi; указывая притом письменное завещание Болеслава (testamentales codicilli) [1].

В Киеве годом раньше Бретислава чешского умирал Ярослав. Перед кончиной он «наряди сыны своя», увещал их жить в мире и держаться дружно. Руководящая мысль его наряда — сохранение «земли отец своих и дед своих, юже налезоша трудом своим великым». С этой целью он делает такое постановление: «се же поручаю в собе место стол старейшему сыну моему брату вашему Изяславу Кыев, сего послушайте, якоже послушасте мене, да той вы будеть в мене место» (Лавр., стр. 157).

Самый текст не дает указания на установление Ярославом общей нормы на будущее время. Только то, как понималось его завещание позднее князьями, дает основание видеть в нем установление нового политического порядка, подобного тому, какой ввели в Чехии и Польше Бретислав и Болеслав.

Как видите, нет никаких оснований для вывода княжеского порядка «родового» владения Киевом и великим княжением из обычных гражданских отношений наследования и преемства. Это не значит, чтобы между ними не было связи. Не наследство установлялось этим порядком,а преемство во власти старейшинства, притом так, что один из вариантов, возможных в практике жизни семейных общин, возводился в норму княжого преемства. Существенным недостатком Эверсо-Соловьевской родовой теории было упущение из виду различия между семейным или родовым наследством — с одной, и преемством во власти старейшины, с другой стороны. В завещании Ярослава речь шла только о последнем.

Нет оснований искать корней этого порядка в германском быту. Германский мир не знал ничего подобного, за одним, как сказано, исключением. Именно Гейнзерих вандальский (ум. 477 г.), установил преемство по так называемому принципу сеньората (в отличие от майората) так, чтобы вступал во власть каждый раз старейший из родственников по мужской линии умершего короля [2], притом без зависимости от степени ближайшего родства с предшественником.

---

[1] «...чтобы старшему принадлежали и княжение краковской области и княжеская власть».

[2] *Brunner*, op. cit; B. II, T. 23; *Dahn*, Urgeschnichte, B. I, S. 206; *Dahn* — Bausteine II. «Geiserich's Testament» — объясняем идею Гейнзериха заимствованием у мавров, из их порядка преемства шейхов и эмиров.

ГЛАВА IX

ВНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ В XI—XII вв. БОРЬБА СО СТЕПЬЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ [1]

Предыдущее изложение было посвящено общему обзору тех элементов, из которых строилось Киевское государство: его этнографической основы — восточного славянства, создавшего характерные формы своего племенного быта по расселении в Восточноевропейской равнине и вступившего в ряд сложных торговых, культурных, политических отношений, предопределенных международным положением этой территории, и тех учреждений, которые стали основными силами, творившими новую организацию: княжеской власти и дружины в их древнейшей форме и церкви в условиях ее водворения на Руси в первые времена по принятии христианства.

Теперь перед нами другая задача: изучить, по возможности, выросший на указанных основах исторический организм Киевской Руси.

Жизнь восточного славянства сильно усложнилась рядом новых элементов, и основная черта дальнейшего исторического процесса — их кристаллизация в новых формах социально-политического строя.

Анализу этих форм необходимо предпослать обзор внешних условий, в которых суждено было слагаться общественному и государственному быту Киевской Руси в течение XI—XII вв., так как их давлением определилось многое во внутренней жизни древней Руси. На первом плане среди этих внешних условий — борьба со степью.

Среди условий, вызвавших создание в Киеве сильной военной княжеско-дружинной организации, большую роль сыграла в свое время, как мы видели, печенежская опасность. Господство в южных степях печенежской орды продолжалось, однако, лишь до первой половины XI в.: к середине его они уже вытеснены дальше на юго-запад новыми пришельцами из Азии, и та «рать без переступа», которую пришлось вести с ними Владимиру Святославичу, была напором их на русские границы, который явился следствием необходимости отступать к западу перед восточным врагом. Энер-

---

[1] Главы IX — XVI принадлежат курсу, читанному в 1907/1908 учебном году.

тичная военная деятельность Владимира, сумевшего привлечь для обороны южной Руси северные силы новгородцев и кривичей и сконцентрировать около Киева все силы восточного славянства, построение им ряда укрепленных военных поселений-городов по южной и юго-западной границе отразили движение печенегов, свернувшее на юг, в дунайские земли.

В 20-х годах XI в. печенеги затихают. Их набег на Киевщину в 1036 г. — последний порыв замиравшей энергии. Дальнейшая судьба печенегов прослежена В. Г. Васильевским [1]. Судьба отбросила их к Дунаю и за Дунай, в пределы византийские, пока разгром их орды в долине реки Марицы в 1092 г. половецкими ханами Боняком и Тугорканом не положил конец их историческому существованию. Их остатки либо примкнули к половцам, либо вошли в состав служилых варваров Византийской империи.

По следам печенегов шли другие орды того же обширного турецкого племени — узы-торки и половцы. Торки сыграли роль лишь половецкого авангарда и как самостоятельная сила лишь мелькнули на русском горизонте. Борьба на два фронта — с печенегами, которых они теснили к западу, и половцами, которые их теснили с востока, — была не по силам этой сравнительно немногочисленной орде. И поход на них русских князей в 1060 г. нанес им, повидимому, окончательный удар: торки, говорит летописец, убоявшись русской силы, «пробегоша и до сего дни и помроша бегающе, божиим гневом гонимы, овии от зимы, друзии же гладом, инии же мором, судом божиим: так и бог избави крестьяны от поганых» [2].

Их дальнейшая судьба подобна судьбе печенегов. В 1064 г. они появляются на Дунае и переправляются на византийский берег грозой для Византии; но гроза эта, действительно, была рассеяна поразившими узов бедствиями — голодом и эпидемией. Остатки их видим потом военными поселенцами в Малой Азии. Но и с русского горизонта они ушли не бесследно. Тюркский элемент значителен в ряду тех турецких поселений на южнорусской почве, какие устраивали князья в Переяславщине, южной Киевщине, в Черниговщине, начиная с 60-х годов XI в., для усиления военной обороны границ против половцев. Эти турецкие колонисты русских земель встречаются под разными названиями: черные клобуки (кара-калпаки), берендеи, турки, ковуи, торки, печенеги, половцы, и играли позднее видную роль в истории Киевской Руси.

После этих событий на полтора столетия водворяется в черноморских степях господство половцев. Остатки печенегов и торков примкнули к ним, подчинившись половецкой власти, иногда переходя к Руси или пробуя даже восстать против новых владельцев степи.

Радость летописца по поводу гибели торков, что «бог избави крестьян от поганых», была преждевременна. Со следующего 1061 г.

---

[1] *В. Г. Васильевский*, Византия и печенеги (1048—1094 гг.), «ЖМНПр.» № 11 и 12, 1872; также в «Трудах В. Г. Васильевского», т. I, СПБ 1908, стр. 1 и сл.

[2] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., стр. 152.

идет ряд половецких набегов: в 1061, 1067, 1071 гг. Но особенно сильной становится половецкая опасность в 80-х и 90-х годах XI в.: половцы громят Переяславщину и Киевщину.

Русь в эту эпоху была еще достаточно сильна, чтобы внешние удары вызвали подъем энергии на решительный отпор. В начале XII в. наблюдаем переход ее в наступление против степи [1]. Под 1103 г. записан первый большой поход русских князей на половцев. Затем следуют три других — 1109, 1111 и 1116 гг. Все эти походы, созданные энергией и настойчивостью Владимира Мономаха, отбросили половецкие кочевья в область Дона, а про сына Мономаха и его преемника на киевском столе летопись говорит, что он «наследи отца своего от Володимера Мономаха Великого» и, послав мужей своих, «загна половци за Дон и за Волгу, за Яик», — с обычным припевом: «и тако избави бог Русскую землю от поганых» [2].

Повидимому, половцы были действительно отброшены за Дон, и часть их ушла на Кавказ, так как известие летописи, что хан Сърчан жил на Дону в нужде, питаясь рыбой, а хан Отрок ушел в обезы, подтверждается упоминанием в грузинских источниках о пребывании Атерака, сына Шарукана, в Закавказье [3]. В 1120 г. другой Мономашич, Ярополк, ходил искать половцев в бассейн Донца и Дона: западнее их уже не было.

И по мере успехов этих все больше колен и племен выражают готовность служить русским князьям — торки, печенеги, половцы.

Но со смертью Мстислава Мономаховича (1132 г.) усиление до крайних размеров внутренней борьбы на Руси, княжеских усобиц, позволило половцам снова придвинуть свои кочевья к западу. Их ханы снова начинают, как во времена Олега Гориславича, вмешиваться в русские дела, а с 60-х годов XII в. идет ряд известий о половецких набегах на русские области, а в 80-х и 90-х годах снова идет «рать без перерыва» до появления татар.

Этот сухой перечень внешних черт борьбы южной Руси со степью сам по себе красноречив. В течение всего своего исторического существования древняя Киевщина была на боевом положении. В ее истории не было сколько-нибудь продолжительного периода мирного, который дал бы возможность сосредоточить все национальные силы на внутреннем строительстве. Велико общеисторическое значение Киевщины в истории тех веков: она стоит на рубеже европейского и азиатского мира, принимая на себя и упорно отражая удары турецких орд на север от Черного моря, как Византия стояла оплотом против натиска того же турецкого племени по южным путям в лице сельджуков, быстро расширявших свои завоевания в Малой Азии. Но за свое служение делу европейской культуры Киевщина заплатила ранним надрывом своих сил: огромная историческая задача

---

[1] *В. Г. Ляскоронский*, Русские походы в степи в удельно-вечевое время и поход князя Витовта на татар в 1399 г., «ЖМНПр.», март — май 1907.

[2] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., СПБ 1908, стр. 303—304.

[3] «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», изд. Кавказского учебного округа, вып. 22, Тифлис 1897.

легла на нее в эпоху, когда Киевская Русь была еще непрочно построенным, вышедшим из периода внутреннего брожения организмом и молодой в социологическом отношении средой, постепенно переходившей от слишком элементарных условий разрозненного племенного быта к более сложным формам социально-политического строя. Этим противоречием между необходимостью напрягать силы для непрерывной, тяжелой борьбы за существование и недостаточной еще организованностью этих сил многое объясняется в трагической судьбе Киевского государства.

Указанные внешние условия киевской истории необходимо иметь в виду при изучении внутренней жизни Киевщины: основные процессы этой исторической жизни развивались под постоянным давлением борьбы со степью.

Представление о Киевщине XI—XII вв. как о форпосте европейского мира против азиатских сил получает еще больше рельефности, если припомнить тесные и разнообразные связи ее с Западом. В этом отношении значительный интерес представляет работа В. Г. Васильевского «Древняя торговля Киева с Регенсбургом», остающаяся до сих пор лучшим сводом известий о западной торговле Киева [1]. Регенсбург был в то время главным торговым центром Южной Германии, и два торговых пути были основными артериями, питавшими это значение. Один вел на юг, в Италию, другой на восток, через Паннонию, на Русь. По отрывочным свидетельствам источников можно проследить, что движение торговых караванов по этому пути совершалось в течение трех столетий (X—XII вв.) и что он имел для Средней Европы крупное, первостепенное значение до эпохи преобладания венецианской и генуэзской торговли в XIII в. Торговля между Регенсбургом и Киевом — обоюдная: и отпускная и привозная. Особенно ценны привозные из Киева товары — меха и драгоценные произведения восточной и византийской промышленности. Недаром в знаменитом трактате о технике художественных ремесел (Schedula diversarum artium) пресвитера Теофила, писателя XII в., говорится о янтарных изделиях, эмалях и черни русских; они названы рядом с греческими и, быть может, должны быть признаны русскими изделиями. Вспомним, что позднее Плано Карпини и Рубрук видели при дворе татарских ханов русских ювелиров [2]. Недаром в средневековой западной поэзии говорится о русских дорогих тканях (Soie de l'oeuvre de Rouzi, pales de Rosie). Предметы восточной и византийской роскоши шли на Запад через Киев, и самое техническое определение их как «русских» свидетельствует о значительности этого торгового движения. Этим же путем шли вина, пряности.

Тем же путем шли, конечно, и сношения дипломатические. Я упоминал уже по другому поводу о посольстве Ольги к Оттону,

---

[1] «ЖМНПр.», июль 1888, стр. 121—150.

[2] *Иоанн де Плано Карпини*, История монголов, стр. 57; *Вильгельм де Рубрук*, Путешествие в восточные страны, изд. Суворина, СПБ 1911, стр. 87, 96, 135, 142.

о сношениях Владимира с Римом, которые не вижу основания считать мнимыми. Международное положение Ярослава характеризуется его сношениями с императором Генрихом III: он ищет его союза против поляков, а в 1043 г. отправляет посольство, предлагает ему руку одной из своих дочерей. Генрих Капет высватал за себя Анну Ярославну. Вообще известий о родственных связях Рюрикова дома с западными династиями можно набрать довольно много, хотя они не всегда нам ясны, не встречая поддержки в наших источниках, как, например, известия о браке Святослава Ярославича с сестрой епископа трирского Бургхардта, Изяслава с какой-то принцессой Гертрудой; дочерей саксонского маркграфа Одона и графа штадтского Леопольда с русскими князьями, и т. д. Сами по себе известия эти совсем бессодержательны. Но они ценны, так как указывают на участие Киевской Руси в западноевропейской жизни, на постоянные отношения, которые только и делали возможным подобное свойство. Вспомним известную историю Изяслава Ярославича. Изгнанный из Киева, он бежит в Польшу к Болеславу, а в 1075 г. мы видим его в Майнце при дворе императора Генриха IV, и тот отправил послов к Святославу, чтобы поддержать претензии старшего брата. И посол, Бургхардт трирский, привез, по рассказу современника, столько золота, серебра и дорогих тканей в дар от Святослава Генриху, сколько никогда еще никто в Германию не привозил. Киевщину знали на Западе, считали богатой и культурной страной и отнюдь не смотрели на нее свысока, как на варварскую окраину. В те времена молодое русское государство было хоть отдаленной и обособленной, но частью европейского мира, а Киев — существенным для него оплотом и пунктом торговой связи с Черноморьем.

В XIII в. положение Киева меняется. Когда итальянцы основали складочные пункты для восточных и северных товаров в Каффе — Феодосии и в Тане (в устьях Дона), то германская торговля и другие сношения Средней Европы с Черноморьем пошли, минуя Киев, на Львов через Галицию, по Днестру, на Аккерман.

Дополним эту картину международного значения Киева в XI—XII вв. указаниями на отношения к нему скандинавского севера и Византии.

В начале русской истории, в IX и X вв., скандинавский север был обращен всеми интересами на юго-восток [1], навстречу великому торговому пути с востока и юга, к Балтике, от Каспия и Черного моря вверх по Волге и Днепру, вниз по Неве и Западной Двине. Лишь постепенно, в исходе эпохи викингов, втягивается он в общеевропейскую жизнь. И по мере развития этого процесса, органически связавшего материальные и культурные интересы Севера и Европы, папства и империи, Восток теряет первенствующее значение для него. В рассматриваемую эпоху связи Киевской Руси с Севером продолжаются, постепенно слабея. И Владимир, и Ярослав опираются еще преимущественно на северные силы — новгородцев,

---

[1] *G. Dehio*, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen, B. 1877, т. I, S. 56.

кривичей и наемных варягов. Владимир овладел Киевом силой варягов, которых ему с трудом удалось удалить в Византию, оставив только отборных «мужей добрых, смысленых и храбрых» в своей дружине и «раздая им грады». При нем «Ярославу живущу Новегороде», в Новгороде содержится дружина варяжских гридей, которой раздается в год 1 000 гривен. В скандинавских источниках находим любопытные данные относительно вознаграждения варягов, служивших в Новгороде. Воины Эймунда — 600 человек знатных людей, в том числе некоторые, известные в истории Исландии, служат «за золото, серебро и хорошее платье», получая особый дом, полное содержание и по 1 öре=½ марки. Ярослав вместо денег платит мехами по оценке. Потом Эймунд перешел на службу к Брячеславу полоцкому.

Во времена Ярослава саги считают варяжское влияние в Киеве очень сильным. Его жена Ингигерда—Ирина, дочь Олафа шведского, по их утверждению, «всем распоряжалась, хотя начальником дружины считался князь». У Ярослава живет изгнанный из своего королевства Олаф норвежский, и сын его Магнус с русской помощью возвращает себе престол. Дочь Ярослава, неизвестная летописи Елизавета, за Гаральдом, Hardraade, который в Киеве живет с дружиной знатных исландцев; сохранилась его песня из 16 строф с припевом: «а русская девица в золотой гривне мной пренебрегает». Их дочь Гида, по другим данным, дочь Гаральда английского, погибшего в Гастингской битве (1066 г.), бежавшая от Вильгельма Завоевателя в Данию, была женой Владимира Мономаха, а его сын Мстислав — Мстислав-Гаральд, как зовут его саги, — женат на Христине, дочери Инга шведского. Эти черты характеризуют связи Киева с севером Европы. Притом цепь известий о варягах —в подавляющем большинстве норвежцах — на Руси, начинаясь с X в., замирает в начале XIII.

Приведу еще одно свидетельство для характеристики значения, какое приобретали варяжские выходцы в Киеве. Дело идет о целой варяжской семье. В летописном рассказе о борьбе Ярослава с Мстиславом тмутараканским упоминается вождь варяжского отряда Ярослава Гакон, которого рукописное недоразумение обратило в слепого. Сказание о создании печерской церкви св. богородицы в «Печерском Патерике» упоминает брата Гаконова — князя Африкана, сын которого Шимон, изгнанный дядей Гаконом, пришел к Ярославу, и тот «его же приим, в чести имаше и дасть того сынови своему Всеволоду, да будет старей у него; приа же велику власть от Всеволода». Сын этого Шимона Георгий был Владимиром Всеволодовичем послан в Суздаль: отправляя туда на княжение Юрия Долгорукого, Мономах «вдасть его на руце» варягу Георгию. Заняв позднее Киев, Долгорукий «тысяцкому же своему Георгиеви, яко отцу, предасть область Суздальскую».

Перед нами крупный центр с широкими торговыми и политическими отношениями. К нему же тянулись за разными выгодами иноземцы из разных краев. Наши источники упоминают в составе киевского населения, кроме своих новгородцев, колония которых

имела центром «новгородскую божницу» — церковь св. Михаила, евреев, армян, латинян, немцев.

Все эти пестрые международные отношения Киева, конечно, имели свое культурное значение. Но по состоянию наших сведений мы можем указать, например, черты западного влияния лишь в отрывочных частностях, и хотя более тщательное изучение, быть может, несколько увеличит число этих наблюдений, но несомненно, не изменит общего характера наших представлений о киевской культуре, как выросшей, по существу, на усвоении и переработке элементов византийской культуры, заимствуемых либо непосредственно, либо при посредстве южных славян. И торговые отношения к Византии и Херсонесу составляли главный источник значения Киева, как видно из самых известий о торговле с Регенсбургом. Как преддверие к богатой Византии имел значение Киев в глазах скандинавов.

Тесные культурные и политические связи с Царьградом установились у Киева со времени принятия христианства. Византия держала в руках управление влиятельной церковью русской, стремясь придать своим отношениям к Руси характер сюзеренитета. В 1016 г. греческие хронисты упоминают о помощи Византии против восставшего Херсонеса какого-то брата Владимира (Σφεγγος); Болеслав польский и Святополк во время борьбы с Ярославом сносятся с Византией, чтобы выяснить, дружба или вражда ждет их с этой стороны. Под 1043 г. читаем рассказ о большом походе Ярославова сына Владимира на Византию; поход кончился неудачей, но мы ничего не знаем о вызвавших его причинах. Не знаем также, как объяснить поставление митрополитом Иллариона собранием русских епископов при Ярославе помимо Византии. Наши известия не дают повода к оценке этого факта как попытки порвать церковную зависимость от патриарха, а близость Иллариона к Ярославу как бы указывает на личные мотивы, тем более, что Илларион — лицо несомненно выдающейся книжности и литературного таланта.

Остальные сведения наши о русско-византийских отношениях за рассматриваемое время рисуют их дружественными и союзными. Об этом говорит ряд связей свойства между Рюриковичами и Византией. Отец Владимира Мономаха, Всеволод Ярославич женат на принцессе из дома Константина Мономаха (1052 г) [1]. Через 25 лет видим дочь Володаря Ростиславича за сыном императора Алексея Комнена. Мономаховна Марица — за Леоном Диогеном, и сын ее Василько Леонович или Маричич гибнет в битве Мономаховичей с Ольговичами в 1136 г. Одна из Мстиславен, внучка Мономаха, была тоже за византийским принцем (1122 г.), как и Евфимия Глебовна, внучка Святослава Всеволодовича киевского (1193 г.).

Связи Киева с Византией поддерживались не только церковными делами и торговлей, но и рядом политических интересов, касавшихся дел на севере Балканского полуострова и на северном Чер-

---

[1] Ср. гипотезу Васильевского о письмах Михаила Дуки к Всеволоду с предложением брака брата своего с одной из дочерей киевского князя, «ЖМНПр.» № 12, 1875.

номорье [1]. Пока Киев был силой и Византия сохраняла энергию для поддержки своего значения в этой области, их интересы не раз переплетались и скрещивались. Еще в договорах X в. видна забота о сохранении крымских владений Византии и устьев Днепра от русской власти. В тех же пунктах встречались интересы Киева и Византии позднее. Но изнуряемый борьбой со степью Киев не мог уже стремиться расширить свои владения на юг до моря и перестал быть опасным для греков. Ниже порогов все сильнее чувствовалась опасность от кочевников, которые засоряли пути торговые.

Тесная связь борьбы с половцами с интересами русско-греческой торговли хорошо подчеркнута словами Мстислава Изяславовича на княжеском съезде 1170 г.: «Братье, — говорил он, — пожальтеси о Русской земли и о своей отцине и дедине, оже несуть христьяны на всяко лето у веже свои... а уже у нас и гречьский путь изъотимають и Соляный и Залозный» [2]. По мере ослабления киевской силы вооруженные отряды должны все чаще проводить «гречников» через пороги. О таких походах на защиту торговых караванов читаем, например, под 1167, 1168, 1170 гг., и иной раз рать русская подолгу стоит у Канева, чтобы дать подняться вверх по Днепру гречникам и залозникам.

Эти южные пути, главные артерии торгового благосостояния Киева, — ахиллесова пята Киева. В нее бьют противники киевского князя. Давид Игоревич в 1084 г., захватив Олешье, заставил Всеволода киевского дать себе волость; в 1154 г. Олешье захватывают враждебные Киеву берладники.

С трудом поддерживала Киевщина в конце XII в. движение по южным торговым путям. Тем легче пришло в упадок ее влияние в придунайских землях. Много времени — со времен энергичных выступлений Святослава — это влияние еще держалось, и еще при Мономахе видим под 1116 г. попытку укрепить его: «посла в. к. Владимир Ивана Войтишича и посажа посадники по Дунаю», и в том же году другой поход князя Вячеслава Владимировича с воеводой Фомой Ратиборичем, безуспешный. К концу рассматриваемого нами периода Киев, изнемогая в борьбе со степью и в усобицах, теряет значение в глазах Византии. Дунайская политика, как и торговое движение, начинает переходить к земле Галицкой. Галицкие Ростиславовичи влиятельнее на юге, чем Мономашичи киевские. И характерны поэтому известия о союзе императора Мануила с Владимирком галицким (в то время как Изяслав Мстиславич сближается с Венгрией против Владимирка), или то, что Андроник Комнен, царевич византийский, гостит у Ярослава Осмомысла.

Одна из характернейших особенностей киевской истории — сложность той международной обстановки, в которой пришлось восточ-

---

[1] Тмутаракань — с конца VI до X в. — хазарская, X — XII вв. — русская; отравление Ростислава Владимировича в 1066 г. В 1169 г. — договор Мануила с Генуей. *(Прим. автора).*

[2] «ПСРЛ» (Ипат.), II, стр. 538.

ному славянству вырабатываться из разрозненной племенной массы в народность, объединенную организацией государственного характера и овладевшую определенной территорией, отграничивая ее от соседей.

Задача территориального самоопределения этого государства оказалась поставленной в крайне неблагоприятные условия. Жизненные интересы вызвали стремление сохранить господство над всем великим водным путем — от моря и до моря. Манила славянскую колонизацию и широкая черноморская степь, и она проникла до Донецкого бассейна и Тмутаракани.

Тюркские кочевые силы заставили славян отступать из степной в лесную полосу Восточноевропейской равнины. В итоге вековой борьбы с ними, славяне оказались отрезанными с юга и замкнутыми в бассейне среднего Днепра, Десны, Оки и Средней Волги, в условиях, наименее благоприятных как для развития туземного земледельческого хозяйства, так и для развития столь блестяще начатых Киевом международных сношений с культурными странами греческого Востока[1].

Сложными оказались территориальные отношения и на западной границе восточного славянства. Но тут для рассматриваемой эпохи Киевскому княжеству удалось достигнуть более определенных результатов в смысле территориального самоопределения, чем на Востоке, и удержаться на занятых позициях. Притом результаты эти достигнуты были в начале рассматриваемого нами периода, во времена Ярослава и его сыновей. Быть может, с некоторым ущербом против эпохи первоначального расселения, так как имеются некоторые указания, что восточнославянские поселения доходили в X в. до Вислы и до границ земли Краковской, а в области Карпат несколько переваливали на ту сторону горного кряжа. В одном документе Оды, вдовы Мешка Старого, короля польского, умершего в 992 г., говорится о границах Руси, тянущихся до Кракова, а тот же документ, как и хроника Титмара, представляет дело так, что русская граница соприкасалась с поселениями пруссов. Но польская колонизация, сконсолидированная основанием монархии Пястов, рано приняла в силу географических и экономических причин то юго-восточное направление, которое характерно определило всю южнорусскую политику исторической Польши на ряд столетий. И встреча двух колонизаций на водоразделе двух правых притоков Вислы, Вепря и Сана привела к известному нам лишь в отрывочных известиях первому периоду русско-польской борьбы в XI в.

Первый очерк западной границы русской дал еще Владимир Святославич своими походами на ляхов (981 г.) и хорватов (992 г.), причем «зая городы червенские». Болеслав I подготовлял борьбу с ним, подчинив своему влиянию зятя своего Святополка, и в смутах по смерти Владимира проник до Киева, стремясь помощь Святополку оплатить себе перевесом над Русью. Он «грады червенские

---

[1] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, СПБ 1907, стр. 36, 37.

зая себе», как и Берестейское Забужье после разрыва со Святополком (1018 г.). Войны с поляками Ярослава (1030—1031 гг.) вернули Руси червенские города, и он укрепляет установившиеся отношения, помогая Казимиру Обновителю подчинить себе Мазовию (1047 г.). Его сестра Мария-Доброгнева была замужем за Казимиром, а на сестре польского короля он женил сына своего Изяслава. Но в эпоху раздоров между сыновьями Ярослава борьба возрождается. И поддержка, какой ищет Изяслав против изгнавших его киевлян, носит столь же антинациональный характер, как прежний польский союз Святополка: братья Святослав и Всеволод готовы помириться с Изяславом, но ставят ему условие: «не води ляхов Киеву, противного ти нетуть; аще ли хощеши гневом итти и погубити град, то веси, яко нам жаль отня стола».

И когда Изяслав, заняв Киев, «распусти ляхов на покорм» по волости киевской, население стало ляхов избивать «отай» и принудило Болеслава уйти с Руси.

В результате этих перипетий древнейших русско-польских отношений создалось особое княжение галицких Ростиславичей, на которых и пала вся тяжесть борьбы с поляками для охраны западной русской границы. Правда, после смерти Болеслава Кривоустого, в 1138 г., в Польше настал период удельного раздробления и удельных смут, на время ослабивший ее наступательную силу, и только в XIV в. русско-польский территориальный спор стал снова и резко на очередь, чтобы привести к распространению польской власти на южную Русь в позднейшее время.

Ярославу же принадлежит укрепление русских владений на северо-западе и севере. Его походы на Литву в 40-х годах XI в. намечают завязку русско-литовских отношений — первый отпор южной Руси литовской тяге на юг, а более ранние походы 30-х годов на эстонскую чудь и основание Юрьева очерчивают западные пределы Новгородской земли, как походы новгородцев в 1032 г. и Владимира Ярославича в 1042 г. в Заволочье (между Ладогой и Северной Двиной) кладут основание новгородскому политическому и промысловому господству на севере России.

Этот элементарный очерк внешних условий киевской истории XI—XII вв. должен послужить внешней рамкой моему дальнейшему изложению. Повторяю, характерная их черта — сложность международного положения, существенным следствием которой была невозможность для южно-русского государства создать себе прочно определенную территорию. Не опираясь в своем территориальном самоопределении на какой-либо определенный географический факт, не имея так называемых естественных границ, Киевская Русь не могла создать прочной концентрации подвластных себе земель, растянувшихся в политически невыгодной конфигурации в бассейнах Днепра, Оки, Средней Волги, ильменском, верховьях Западной Двины, с крайне зыбкими границами как со стороны беспокойной степи, так и со стороны литовских и польских соседей. Владея верховьями Днестра и Буга и Днепра, Киевское государство было не в силах спуститься до их устьев и вынуждено было постепенно отступать

с востока и юга, изнуряя свои силы в упорной борьбе на несколько фронтов.

И внутренняя политическая организация не соответствовала сложным оборонительно-наступательным задачам внешних отношений. Определенная в основных своих чертах не этими внешними потребами, а внутренними условиями древнего политического и социального быта, она не выдержала внешнего тяжкого давления и рухнула к концу XII в.

К изучению этой внутренней организации древней Киевщины мы теперь и обратимся.

ГЛАВА X

КНЯЖЕСКОЕ ВЛАДЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ XI и XII вв. — до 1132 г.

Историки-юристы потратили немало остроумия на то, чтобы установить формальное определение древнерусской государственности. Ввиду несоизмеримости явлений древней политической жизни и современных понятий государственного права определения эти носят характер более или менее искусственного компромисса, имеющего целью выделить из явлений древней жизни те признаки, которые можно без явной натяжки подвести под наше понятие государства. Возьмем это понятие в наиболее элементарной его форме, при которой «существенными признаками государства являются три элемента: 1) совокупность населения, образующего общественный союз; 2) власть, стоящая во главе этого общественного союза, и 3) территория, занятая данным населением»[1], и посмотрим, в какой форме и каком взаимном отношении были эти элементы государства налицо у русских славян в Киевской Руси.

Литература истории русского права не находит государственного обличия у древней Руси как целого. «Наша древность, — читаем у Сергеевича, — не знает единого государства Российского: она имеет дело со множеством единовременно существующих небольших государств»[2]. Подобно всем древним народам и восточное славянство «выступает в истории не в виде большого национального государства, но разделенным на значительное число маленьких народностей, из которых каждая живет самостоятельной жизнью», и летопись помнит свои особые княжения у полян, древлян, дреговичей, новгородцев, полочан, кривичей и т. д.[3] В этой племенной среде вырастают города и преобразуют ее организацию на новый лад — в ряд земель-волостей, тянущих каждая к своему городскому центру. И волость выступает перед нами как основной элемент древнерусской государственности. Каждая отдельно взятая волость — это «вполне законченное социальное целое со всеми необходимыми элементами государственности»;«у нее была и своя определен-

---

[1] *М. А. Дьяконов*, Очерки общественного и государственного строя древней Руси, 3-е изд., СПБ 1910, стр. 67.

[2] *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, СПБ 1890, стр. 1.

[3] *Дьяконов*, цит. соч., стр. 68.

ная территория и свой народ и самостоятельная верховная власть»[1]. Форму этой государственности Сергеевич определяет, как «смешанную, в которой участвуют два элемента: монархический — в лице князя, и народный — в лице веча»[2].

Взятая в целом, древняя Русь не имеет с этой точки зрения единой государственной организации. И попытки определить формальную сторону «единства Русской земли» не дали удовлетворительного результата. Трудно говорить о единстве ее государственной территории даже по отношению к иноплеменным соседям, так зыбки и неустойчивы стали ее очертания, так непрочны оказались усилия Киевщины достигнуть территориального самоопределения. Но еще глубже подрывается самое представление о такой древнерусской территории, которую можно бы назвать государственной, раздробленностью ее на отдельные земли-волости, отношения между которыми часто принимают характер междугосударственных. Число таких волостей-земель менялось. Обособленность их политического бытия была то более, то менее сильной. Первый пример крайнего обособления одной волости, почти полного выхода ее из связи с общей системой русских волостей — это выделение Полоцкой земли во владение рода Изяслава Владимировича; второй — выделение Галицкой земли в роде Ростиславичей после Любецкого съезда 1097 г. И эти так называемые «выделения» непосредственно примыкают к периоду, когда ряд моментов напряженной борьбы за единовластие во всей области восточного славянства создавал на время господство одного князя (Владимир, Ярослав) над рядом волостей без внутренней органической их связи в единое государство. Иногда исчезала реальная обособленность той или иной волости, и она поглощалась соседней землей. Так, Киевская волость уничтожила автономию Деревской земли, дреговицкой Турово-Пинской волости, оторвала от Волыни Погорынье, но это не создало расширенного единства собственной киевской территории, в составе которой сохраняется различие киевской — русской в тесном и техническом смысле — и киевских волостей.

Трудно говорить в государственно-правовом смысле слова о единстве населения древней Руси, слабо объединенного бытовыми и культурными связями. Для этого характерно отсутствие общенационального термина. Лишь медленно, и то больше книжным путем и в противопоставлении иноземцам, усваивалось словами «Русская земля» такое значение. Национальное определение отдельного лица, как «русского», возникает лишь к концу рассматриваемого периода и то в книжно-поэтической форме «русичи». Слабо связаны разные области и материальными интересами. По мере подъема западноевропейского мира в материальном и культурном благосостоянии с ним теснее вяжутся интересы юго-западной и северо-западной Руси; последняя в середине XI в. глубже входит и в эксплоатацию лесных богатств поморского севера; с XII в. северо-восточная окраина обо-

---

[1] *С. А. Корф*, История русской государственности, 1908, стр. 70, 84.
[2] *В. И. Сергеевич*, Лекции и исследования, 3-е изд., СПБ 1903, стр. 130.

собляется в особый народнохозяйственный район. И южная торговля теряет постепенно свою непрочную гегемонию в экономическом быту восточного славянства, гегемонию поверхностную, не проникавшую в глубины народного быта. Слабы и внешние духовные связи. Нет национального просвещения, носителя национальной идеи, а церковная организация, стройная и влиятельная, еще далека от позднейшего значения, ибо далеко еще в грядущих веках отождествление понятий «русский» и «православный» народ.

Не менее трудно говорить для всей древней Руси, как целого, о единой «власти, стоящей во главе этого общественного союза». Чтобы спасти представление о государственном единстве древней Руси, Костомаров пробовал определить ее как федерацию. Но юридическое понятие это требует наличности «федерального» правительства, а такого значения история права не может признать ни за властью великого князя киевского, ни за княжескими съездами.

Обратимся от этих юридических размышлений к конкретным явлениям древнерусской жизни и прежде всего рассмотрим характер княжеского владения в XI—XII вв. — после 1054 г.

Мне уже приходилось говорить о княжеском владении до смерти Ярослава. И в известиях о том времени я не нашел следов какого-либо старейшинства и проявлений родового начала. Поэтому и завет детям Ярослава представился как нововведение, как попытка установить в линии Ярослава начало старейшинства с помощью того, что юристы называют семейным законом (Hausgesetz). Конечно, идея устава Ярославова не была без корней в древнеславянском обычном праве: он имел аналогию в порядках семейной общины (задруги), в которой, как мы видели, преемство в старейшинстве устанавливалось по соглашению ее членов или по завету предыдущего главы, и притом иногда наряду с другими вариантами в виде преемства брата после брата. Но различие лежало в том, что задружное старейшинство покоилось на общности нераздельного владения, а всякий раздел (реальный, в натуре), уничтожая эту общность, устранял и старейшинство, дробя общину семейную на ряд независимых единиц. В завете же Ярослава перед нами попытка сохранить старейшинство при наличности раздела частей общего владения между членами княжеской семьи. Функции этого старейшинства определены в летописном тексте о завете Ярослава так: «се же поручаю в себе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Киев, сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы будеть в мене место». Цель этого послушания в поддержке семейного согласия братьев, которые должны «имети в себе любовь, понеже они братья единого отца и матере», для того чтобы бог помог им «покорить противные» и быть «мирно живуще» и не погибнуть в распрях и не лишиться «земли отець своих и дед своих, юже налезоша трудом своим великим». Вот для чего должны братья держаться и по разделе вместе, охраняя совместными силами общую отчину и дедину, «пребывая мирно, послушающе брат брата», держась попрежнему, несмотря на раздел братской общины, под общей

опекой старшего, обязанного, «аще кто хощеть обидети брата своего», помогать обижаемому [1].

Создавшееся положение во второй половине XI в. может быть характеризовано борьбой двух противоположных тенденций: понимания каждой волости, выделенной тому или иному из сыновей Ярослава как отчины потомства этого сына, и стремления князей, владевших Киевом, сохранить единство распоряжения силами всей страны, а также судьбой ее частей. Ошибку старой родовой теории я вижу в попытке явления, обусловленные борьбой двух указанных *противоположных* тенденций, во что бы то ни стало объяснить из *одного* принципа обычного права. Эта ошибка создала ряд искусственных толкований текста источников. Проследим фактические данные по истории княжеских отношений второй половины XI и XII вв.

По смерти отца «Изяслав седе Кыеве, Святослав — Чернигове, Всеволод — Переяславли, Игорь — Володимери, Вячеслав — Смоленьске». Действующей силой видим союз *трех старших* братьев. В 1059 г. они втроем выпустили «ис поруба» дядю Судислава и, взяв с него присягу, постригли его в монахи. Это, кстати сказать, первый пример столь обычного в позднейшее время приема удалять пострижением неудобных людей с политического поприща.

Когда в 1057 г. умер Вячеслав смоленский, то братья «посадиша Игоря Смоленьске, *из Володимеря выведше*». Последнее выражение устраняет возможность видеть в этом случае пример «лествичного восхождения» князей. Игорь «выведен» волей братьев, причем Волынь никому не дана, повидимому, она осталась под управлением киевского триумвирата. Это предположение подтверждается известием, что по смерти Игоря в 1060 г. ни этот город, ни какой-либо другой не достался его сыну Давиду, а «разделиша Ярославичи Смоленск себе на три части» [2]. Подобные примеры деления города (доходов) на части встречаются и позднее, например, в Москве (завещание Калиты). В 1064 г. бежит в Тмутаракань, где сидел Глеб, сын Святослава, Ростислав Володимирович, и, выгнав Глеба, «сам седе в него место»; Святослав идет на племянника, и начинается борьба за Тмутаракань; Ростиславу удается отстоять ее за собой, но в 1066 г. его отравили греки. Мы ничего не знаем о предыдущей судьбе этого Ростислава, сына того Владимира Ярославича, который ходил в 1043 г. на Византию и умер раньше отца. Грушевский делает остроумное и не лишенное вероятности предположение, что он по смерти отца (ум. 1052 г.) сидел в червенских городах, где на опасном посту нужен был князь; потом Перемышль и Теребовль получают его сыновья Василько и Володарь на Любецком съезде 1097 г. [3] Как и Волынь, видим Галичину [4] в руках

[1] См. «Летопись по Лаврентьевскому списку», 3-е изд., СПБ 1897, стр. 157.

[2] «ПСРЛ», т. XV (Тверская), стр. 153; там же, т. XX, 1-я пол. (Львовская), стр. 91; там же, т. V (Соф. I), стр. 139 и т. VII (Воскр.), стр. 333. Ср. *М. С. Грушевский*, История Украини Руси, т. II, Львов 1905, стр. 52.

[3] *М. С. Грушевский*, История Украини Руси, т. II, стр. 46, 363.

[4] В 1097 г. Святополк Изяславич называет Галичину «волость отца моего и брата» («ПСРЛ», т. II, стр. 244).

Изяслава киевского. Одновременно разыгрывается борьба за Полоцк. В 1067 г. Ярославичи заманили к себе Всеслава Брячиславича, внука Изяслава, и посадили его в поруб с двумя сыновьями. В Полоцке Изяслав посадил позднее, после нового изгнания Всеслава, сына своего Мстислава, потом, после его смерти, и другого — Святополка, и только в 1071 г. удалось Всеславу вернуть себе отчину свою, выгнав Святополка.

Перед нами картина вполне ясная. Мы видим *такую же борьбу за соединение всех волостей в руках киевских князей*, какую наблюдали в X и в первой половине XI в., с той только разницей, что роль «собирателя» играет не один князь, а союз трех Ярославичей. Захватив Полоцк, они достигли цели. Держат они волости, посадив в главных городах либо посадников, либо сыновей.

Отношения между братьями-триумвирами неожиданно осложнились раздором между Изяславом и киевским вечем, которое привело к освобождению из поруба Всеслава полоцкого, провозглашению его киевским князем, бегству Изяслава к двоюродному брату (сыну его тетки Владимировны, которая была за Казимиром Обновителем), Болеславу Смелому польскому. Когда Всеслав из-под Белгорода перед битвой с Изяславом и Болеславом бежал в Полоцк, только коснувшись злата стола киевского, кияне послали звать Святослава и Всеволода: «идета в град отца своего», и братья поставили Изяславу требование — «не водить ляхов Кыеву», грозя ему ратью, не желая дать ему погубить «града отца своего». И союз трех князей восстановился, причем был торжественно освящен перенесением в 1072 г. мощей Бориса и Глеба в новую церковь. Эти святые стали с тех пор идеалом братского миролюбия, и весь культ их проникнут определенной тенденцией, столь жизненной для эпохи усобиц. Но уже в 1073 г. Святослав и Всеволод, опираясь на недовольство киевлян, снова выгоняют Изяслава из Киева. На этот раз Болеслав не дал помощи Изяславу, не помогло ему и обращение к императору Генриху IV и папе Григорию VII. И на три года установилось господство над Русью двух братьев, только Полоцк ускользнул из их рук. 27 декабря 1076 г. умер Святослав, и характерно, что его хоронят не в Киеве, а в его личном княжении, в черниговской церкви св. Спаса [1].

Положение снова меняется: в 1077 г. Всеволод сел было на столе киевском, но приход Изяслава с польской помощью привел к новому соглашению между братьями. Изяслав и Всеволод вдвоем стремятся теперь сосредоточить в своих руках все волости русские. Черниговские Святославичи теряют свою отчину — там видим Всеволодича Мономаха, и выбитые из земли Русской младшие князья собираются в Тмутаракани: Святославичи Роман и Олег, Борис, сын Вячеслава смоленского, потом Игоревич Давид, Ростиславич Володарь. Настает разгар усобиц, в которых гибнет Изяслав, убитый в 1078 г. на Нежатиной ниве под Черниговом. Усобицами полно и княжение Всеволода (1078—1093 гг.), но ему

---

[1] *М. Грушевский*, История Украины Руси, т. II, стр. 67.

уже приходится итти на компромиссы с так называемыми «изгоями». Смысл борьбы удачно определил Грушевский в словах: «Сироты, отчины которых захватили старшие Ярославичи во время их малолетства, ничего им не оставив, вырастали один за другим и шли добиваться своего добра» [1].

И кто не погиб, — добились. Не говоря об Изяславичах, которых Всеволод посадил — Святополка в Новгороде, а Ярополка на Волыни, придав ему Туров, Игоревич Давид, захватив Олешье, перехватив, стало быть, артерию византийской торговли Киева, заставил Всеволода дать ему Дорогобуж (1084 г.), а потом и Владимир, отчину свою, как и Ростиславичам Всеволод уступил червенские города (после войны с ними в том же 1084 г.) [2]. Этому устройству «изгоев» на волынско-галицких вотчинах мешал сидевший там Ярополк Изяславич, — вот причина убиения его в 1085 г. «проклятым Нерадцем», который скрывается затем у Ростиславича Рюрика.

Так, Всеволод, сидя в Киеве, по словам летописца, много терпел огорчения от племянников своих, которые ему докучали, требуя волостей, один такой, иной другой, и, умиряя их, раздавал им волости.

Смерть Всеволода в 1093 г. открыла снова вопрос о столе киевском. Перед смертью он вызвал из Чернигова Мономаха. Но Владимир не решился взять в свои руки наследие, потому что предвидел, что в таком случае придется «рать с Святополком взяти, яко есть стол преже отца его был» [3].

Этот текст часто приводили в доказательство, что Мономах признавал родовое старейшинство. Но говорит он только о конкуренции двух отчинных прав и свидетельствует о желании Мономаха возобновить со Святополком двоевластие их отцов, ввиду особенно его непрерывной борьбы со Святославичами за Чернигов. Пришлось развить дальше компромиссы с «изгоями». В 1094 г. Мономах уступил Олегу Чернигов и пошел «на стол отень Переяславлю».

Так подготовлялись постановления Любецкого съезда 1097 г. Собрались князья «на устроенье мира» и порешили восстановить в своей среде единодушие: «да ныне отселе имемся по едино сердце и блюдем Руские земли», а для этого «кождо да держить отчину свою: Святополк Кыев, Изяславлю отчину, Володимерь Всеволожю отчины, Давид, Олег и Ярославль — Святославлю отчину; а им же роздаях Всеволод городы: Давыду Владимир, Ростиславичем Перемышль Володареви, Теребовль Васильковы». И целовали крест все на том, «аще кто отселе па кого будеть», то на того будут все князья и вся земля Русская [4].

Прежде всего бросается в глаза отсутствие упоминания о старейшинстве: санкция неприкосновенности волостей по Ярославову

[1] Там же, стр. 69.
[2] Там же, стр. 75.
[3] Лавр., стр. 210.
[4] Там же, стр. 247.

завету — в защите прав обижаемых старшим князем, по Любецкому съезду — в союзе всех князей на обидчика.

Затем — признание начала отчины, вне которого остается только Новгород (ср. события 1102 г.) [1]. Кроме того, соглашение это объемлет лишь Ярославово потомство: полоцкие князья остались в стороне от всего дела.

Общеполитическая цель Любецкого соглашения — объединение для борьбы с половцами. Основной мотив: «половци землю нашю несуть розно и ради суть, оже межю нами рати». И в этом отношении постановления Любецкого съезда подготовлены были событиями предыдущих лет. Трижды наводил Олег Святославич «поганых» на русскую землю, и половцы вообще получили возможность вмешательства во внутренние дела Руси. В 1095 г. Святополк и Всеволод «начаста гнев имети на Олега за то, что он не шел с ними на половцев, держал у себя Итларевича, которого он не хотел выдать, и «бысть межи ими ненависть» из-за половецких отношений. В 1096 г. они звали Олега в Киев, чтобы урядиться с ним перед духовенством, мужами своих отцов и градскими людьми, «да быхом оборонили Русьскую землю от поганых». Олег не пошел на суд духовенства и смердов.

Так во вторую половину XI в. грозило совершенно распасться намеченное единство Русской земли и единение ее сил для борьбы со степью. Любецкий съезд был второй после завета Ярослава попыткой примирить раздел Русской земли на ряд волостей-отчин с необходимостью единения сил для внешней самообороны. Но как созданное Ярославом старейшинство не вошло в жизнь, так не создал и Любецкий съезд новых отношений, не установил братского договорного союза князей, сколько-нибудь прочного. Суть дальнейших отношений (съезды в Городце — 1097 г. и Уветичах — 1100 г.), за которыми в деталях следить не буду,—в борьбе князей за вотчины-волости без всякого влияния любецкого крестоцелования, причем Галицкая земля и Черниговская остаются в руках местных княжих линий. Киевский Святополк расширяет свои владения на западе, подчиняя себе Волынь и Турово-Пинскую волость, Мономах держит Переяславль, Смоленск, Новгород и Поволжье. Во главе общих действий против половцев стоит Святополк при деятельном участии Мономаха. Походы решались на съездах (на Золотьчи под Киевом — в 1101 г.; на Долобьске — в 1103 г.).

16 апреля 1113 г. умер Святополк Изяславич, и кияне послали к Владимиру Мономаху: «пойди, княже, на стол отен и деден». В этой формуле можно видеть признание эвентуального или гипотетического, как выражаются историки, права, — права на стол каждого князя, чей отец был князем данного города. Названный тип наследственного права очерчивает круг лиц, могущих быть призванными к наследованию, но не определяет порядка последовательности, реального осуществления их прав.

---

[1] Лавр., стр. 265; игнорируя «ряд» Святополка Изяславича с Владимиром Мономахом, «яко Новгороду быти Святополчю», новгородцы отказались признать Святополка и «пояша» себе Мстислава, сына Мономаха.

Такой вид наследования господствовал, например, в германском мире, где «гипотетическое» право очерчивает группу призванных к княжению, а определенное лицо из этой группы получает доступ к действительному наследованию актом народного избрания. Наиболее сильный из князей, Мономах, несколько помедлив, прибыл в Киев и принял власть в 1113 г. Старшие линии Ярославичей — Изяславова и Святославова — с этих пор сходят на второй план, и мы не слышим при Мономахе о притязаниях на Киев «старших в роде» черниговских князей.

Мономах возобновляет централизующее влияние Киева на рассыпанную храмину древней Руси. Возобновляет он и попытку, удавшуюся в других условиях Ярославу: свести владение Киевщиной к владению своей семьи наперекор интересам других линий Ярославлего рода. С 1117 г. ясно его намерение передать по себе киевской стол сыну своему Мстиславу, которого он переводит из Новгорода в Белгород под Киев. Такая тенденция, как и постоянное стремление киевских князей владеть и Волынью, делает понятным разрыв Мономаха с другим отчичем на Киев — Ярополком Святополчичем, князем на Волыни. Сперва Мономах его смирил на всей воле своей, «наказав его о всем, веля ему к собе приходити, когда тя позову» (1117 г.) [1], потом (1119 г.) посадил на его место своего сына (Романа, ум., 1119 г., потом Андрея). Ярополк бежал в Угры, но, несмотря на венгерскую и галицкую помощь (Ростиславичи боялись соединения Волыни с Киевом, «концентрационной» политики Мономаха), Волынь осталась в руках Мономаха. То же по отношению к Глебу Всеславичу минскому: сперва Мономах смиряет его, заставив его обещать «по всему послушати Володимера», потом лишает волости (1116 и 1119 гг.), «приведя его Кыеву», где он в тот же год и умер. Со Святославичами черниговскими Мономах живет мирно, и их видим послушными его сотрудниками во всех его предприятиях.

19 мая 1125 г. 73 лет от роду умер Владимир Мономах. Киев беспрепятственно переходит к Мстиславу (1125—1132 гг.). В Новгороде и Смоленске его сыновья — Всеволод и Ростислав, в Переяславле, Турове, на Волыни, в Поволжье (Ростов и Суздаль) братья — Ярополк, Вячеслав, Андрей и Юрий. При Мстиславе все Мономашичи держатся дружно и составляют основную силу в древней Руси.

В Черниговщине гнездом сидит потомство Святослава. В их внутренние счеты вмешивается Мстислав властной рукой, под ней действуют черниговские князья в походах Мстислава, а южную часть их владений Мстислав отрезал для своего сына Изяслава (Курск с Посеймьем). Распространяется гегемония его и на галицких князей. А с полоцкими он поступил круто. Смирив их большим походом 1127 г. и заставив их признать свою власть, он через три года «поточи полотские князи с женами и с детьми в грекы» за то, что они, преступив крестное целование, «не бяхуть в его воли и не

---

[1] «ПСРЛ», т. II, стр. 285.

слушахуть его, коли е зовяшеть в Русскую землю в помощь, но паче молвяху Бонакови Шелудивому во здоровье» [1].

Смертью Мстислава, 1132 г., Грушевский заканчивает целый период в истории Киевщины, когда «традиция единства и объединительные стремления еще борются с распадением и не без успеха». За этот период не выработалось устойчивой системы объединения русских земель, основанной на каком-либо государственно-правовом или династическом принципе. Ни старейшинство, ни начало организованной союзности князей не вошли в жизнь сколько-нибудь прочно. И если «традиция объединения» по временам не без успеха боролась с окончательным распадением комплекса земель-волостей на отдельные княжения-уделы, то, как мы видели, в те именно моменты, когда она совпадала с интересами личными и семейными той или иной энергичной личности или союза двух-трех князей, державших в руках Киев, его силу и влияние. Киевщина оказалась не в состоянии создать единое государство и преодолеть внутреннюю разрозненность отдельных земель-волостей, спаяв их в одно национально-государственное целое.

Наша древность не знает единого «государства Российского»; она имеет дело со множеством единовременно существующих небольших государств. Обратимся к анализу внутреннего строя древнерусской волости-государства.

---

[1] «ПСРЛ», стр. 293, 303.

ГЛАВА XI

ВОЛОСТЬ, ВЕРВЬ И ВЕЧЕ

Княжеская власть и не могла стать исторической силой, которая создала бы единое русское государство, прежде всего потому, что и внутри отдельных волостей, в частности в Киевской, не доросла до государственного властвования.

Основной элемент древнерусской государственности — городская волость. Что же она такое «сама в себе», как сказал бы Пассек?

Напомню здесь некоторые выводы, которые получены в предыдущем изложении при рассмотрении племенного быта восточных славян. Исходными точками их социальной эволюции пришлось признать, с одной стороны, семейную общину, построенную на экономическом и кровном началах в своеобразной их комбинации, с другой — территориальные союзы, создававшие наряду и поверх задружной системы расселения и эксплоатации природных богатств древнейшую известную нам систему племенного господства над занятой территорией.

На вопрос о происхождении и внутренней основе этих территориальных союзов мы имеем в литературе сравнительного правоведения два различных ответа. Один выдвигает указания на то, что такой основой были первично кровные связи, более широкие, чем те, на каких покоилась задруга, причем новые потребности, ведшие к возникновению территориальных союзов, построенных на политическом и социально-экономическом начале, пользовались группировкой задруг по более широким кровно-племенным связям как готовой основой для этих новообразований, перерабатывали их постепенно в союзы, потерявшие архаические черты кровной основы. Другой предполагает образование территориальных союзов от той группировки членов племени в отряды, какая существовала в организации народного ополчения в период расселения и захвата новых территорий: по сотням и тысячам селились согласно этой гипотезе славяне, как и воевали.

Наконец, обе теории можно примирить естественным предположением, что в основе военной организации племени лежала группировка его членов в меньшие союзы, связанные бытовыми связями общего происхождения, общего культа, как югославянские братства, врвные братства, греческие филы и фратрии и т. п.

Как бы мы ни смотрели на эти вопросы, перед нами с древнейшего времени, о каком мы только можем составить себе хоть кое-какое представление,— ряд территориальных союзов, частей племени, которые, захватывая под свое поселение и под хозяйство входивших в их состав семейных общин определенную территорию, тем самым образовали ряд соседских общин, функция которых — осуществлять территориальное господство племени не только защитой его во вне, но и поддержкой мирного его распределения внутри.

Как такие соседские территориальные общины, над дворищем-задругой в древней Руси стоят верви. Я в свое время указывал на то, что термин этот, по этимологическому своему происхождению, поддерживает теорию о значении в первичном образовании древнейших территориальных союзов традиции кровной связи. Но теперь нам незачем и вспоминать об этом. В историческое время нет уже следов ее происхождения, нет их кровного союза, и слово это означает чисто территориальную единицу, соседскую общину, личный состав которой называется просто «людие».

Вервь — носительница того, что можно назвать общинным самоуправлением. С этой точки зрения можно ее рассматривать как союз внутреннего соседского мира и как единицу, входящую в состав более широкой организации — волости-земли, для которой вервь одно из орудий, и притом главное, поддержания правового порядка и внутреннего мира всей волости. Как союз мира соседская община представляется и основной носительницей обычно-правового уклада отношений.

Чтобы разъяснить и обосновать эти определения, напомню некоторые черты древнего землепользования. Основной хозяйственной единицей древнего быта в предыдущем изложении было признано поселение семейной общины (задруги) — дворище, которое, захватывая путем запашки, закоса, зарубок в лесу свой эксплоатационный участок, создавало село в древнейшем смысле слова — хутора или заимки со всем, что к нему потягло, а тянуло все, куда топор и соха ходили. По свойствам первобытного хозяйства, о которых речь уже была выше, состав этих заимок не мог быть устойчивым. Тогдашнее хозяйство, как я указывал, не впивалось в землю, а скользило по ней хищнически, поверхностно, не создавая прочной связи земледельца с землей, той «власти земли» над земледельцем, которая лежит в основе крестьянской земельной собственности. Лес и пастбища оставались в вольном захватном пользовании. Бортные деревья и покосы осваивались отдельным хозяйством на данный хозяйственный период. И пашня была подвижной, часты были перезахваты, передвижения хозяйства.

В условиях крепнувшей оседлости эти черты древнего экономического быта вели к усложнению соседских отношений внутри территориальной общины. Нарастала потребность охраны внутреннего мира путем развития начала союзности и самоуправления, например, в столкновениях, вытекавших из захватного пользования природными богатствами. Союз соседства выступает тут с характером не столько экономической, сколько административно-

распорядительной и судебной организации, даже когда распоряжается распределением земельных угодий: над захватным пользованием возвышается общинное владение и право распоряжения ими. Общинное владение не создает общего хозяйства, а только общинный контроль над взаимоотношениями отдельных хозяйств.

Только при таком определении характера древней общины понятны для меня некоторые черты древнего права. Прежде всего, судьба выморочного участка. Заимка отдельного дворища при исчезновении владевшей «селом» семьи не становится ничьей, так как входит в состав общинной территории. И недаром славянский перевод византийской «Эклоги» — текст о выморочном имуществе, который в оригинале говорит о том, что при отсутствии наследников имущество идет в казну, передан так: «аще ли ни жены будеть умершему, и тогда все имение его или апостольская церковь, или царьское сокровище, или людский сонми да примет». Такое наследование соседской общины в выморочных имуществах знало и франкское право и право византийское (особого типа) [1]. Западное, германское право выработало и другие ограничения личных прав в пользу соседской общины как контроль ее над правом отчуждения и над иммиграцией, т. е. право допустить или не допустить чужака на участок какого-либо поселка. У нас сходные черты развиваются или, точнее, делаются заметными в источниках только позднее.

Другая характерная черта верви — ее судебно-административные обязанности и связанная с ними ответственность. Она особенно ярко выступает в так называемом «гонении следа» и в уплате виры.

Население обязано содействовать разысканию преступника. Если на месте преступления есть след, по которому можно гнаться за вором, то потерпевший или заинтересованный криком сзывает людей (послухов) и «гонит след». Приведет ли след к селу или товару (обозная или торговая стоянка), то они должны отсочить от себя след и гнать по нему (итти на след); если же этого не сделают или даже отобьются, то платят и татьбу, т. е. вознаграждение потерпевшему, и продажу, т. е. уголовный штраф (погоня же ведется с чужими людьми и послухи) [2].

Так ведется розыск внутри верви: это называется «по верви искать татя». Приведенный выше текст требует уплаты и татьбы и продажи той группой, к какой приведет след, если она не отведет следа и не поможет гнать его дальше. Другая статья «Русской Правды» [3] указывает общее правило, что при наличности следов татьбы обязательно «то верви искать (к себе) татя или платить продажу». Владимирский-Буданов толкует так, что тут платит продажу вервь, к которой привел след, за неотыскание вора, за неисполнение своей полицейской обязанности; поэтому она платит только продажу и не

---

[1] *Brunner*, Deutsche Rechtsgeschichte, B. II, S. 71.
[2] *В. И. Сергеевич*, III ред., статья 102.
[3] Там же, III ред., статья 95.

платит татьбы [1]. Едва ли так: след не может привести «к верви», а разве на территорию верви, к одному из ее сел или на пустое место. В первом случае платит село и продажу и татьбу, во втором — по той же 102 ст., если потеряют след на большой дороге, а села не будет, или на пусте, где не будет ни села, ни людей (товара), то никто не платит ни продажи, ни татьбы. Обе статьи (102 и 95) равносильны и, если в 95-й названа продажа и не названо татьбы, то это обычная манера «Русской Правды» всегда упоминать княжой доход и лишь случайно — частное вознаграждение.

Иное дело при убийстве. Разыскать убийцу прежде всего обязанность той верви, на территории которой совершено преступление. Собственно речь идет в соответственных статьях «Русской Правды», единственном источнике нашем, прежде о случаях убийства княжого человека. Мы имеем эту статью в двух редакциях — более ранней и позднейшей. Обе имеют в виду обязанность отыскать убийцу, головника. Если же его не изыщут или даже не ищут, то за убитого огнищанина, княжого мужа, платит князю виру в размере 80 гривен та вервь, в которой «голова лежить». (Позднейшая редакция, приписавшая к сведениям о княжих требованиях относительно княжих мужей кое-какие нормы и общего права, добавляет: «пакили людин, то 40 гривен» (III,5 и II, 2). Причем такая вира, которую платят «без головника», называется дикой, и верви дается рассрочка на несколько лет: «колико лет заплатить ту виру».

Кроме случая необнаружения убийцы, вервь участвует в платеже виры, если убийство произошло открыто, в ссоре или на пиру. Тогда головничество, т. е. вознаграждение родственникам убитого, платит сам убийца, а виру в 40 гривен (не полувирье ли? как думает Ланге) [2] уплачивает вервь, причем и убийца вносит свою долю в эти 40 гривен. Такое соучастие, или помощь убийце, имеет место, если головник — участник и в дикой вире, «аще ли кто не вложиться в дикую виру, тому людье (вервь) не помогають, но сам платит».

Последнее правило обычно, как, например, Владимирский-Буданов, понимают в том смысле, что платеж дикой виры, «круговая порука», «не установленная князьями с целями полицейскими и фискальными», а возникает путем договорного соглашения [3]. Это, однако, противоречит категорическому требованию статьи о дикой вире за огнищанина. Вервь освобождается от помощи преступнику, если убийца не вложился при случае в платеж дикой виры, «если он раньше в подобном случае отказался от участия в платеже по раскладке» [4], а помогает, если он прикладывался к ним вирою. Другой случай, когда вервь не платит, если убийца — ведомый

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, Кар. сп., 80 и 88 и примечания 111 и 119, стр. 64, 66.

[2] Н. *Ланге*, Исследования об уголовном праве Русской Правды, «Архив исторических и практических сведений, относящихся к России», кн. 1, 3, 5, 6, 1859, стр. 122.

[3] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, Кар. сп., ст. 6, стр. 39, примечание 13.

[4] *Н. Рожков*, Рус. Ист. с соц. точки зр., ч. I изд. 2, стр. 30.

разбойник; за такого люди не платят, а вервь выдает его всего, с женой и детьми, на поток и на разграбление. Не платит вервь, если убит неизвестный бродяга (III, 20).

Корень всех этих правил, формулированных в «Русской Правде» по поводу требований князя при случае убийства княжих людей, лежит в праве и обязанности верви искать и отыскать убийцу, и либо выдать его, либо выкупить его своей помощью в уплате виры, либо платить за неисполнение своей судебно-административной функции. Владимирский-Буданов справедливо указывает, что в этих данных нельзя не видеть права общины, которым она обязана пользоваться, — преследовать преступления и карать за них, право, которое в дальнейшем развитии создало копные общинные суды Западной Руси [1].

Княжая власть имеет дело не с убийцей, а с вервью, которая его ищет, за него платит (если убит княжой муж), его выдает. Важно при этом отметить, что древнейшая редакция «Русской Правды» ничего не знает еще о вирах, поступающих к князю, а только плату за голову 40 гривен одинаково за гридя, дружинника, вообще за княжих людей и за любого людина, «аще не будеть кто мьстя».

Жизнь древнерусских общин лишь случайно и косвенно отражается в наших источниках, которые как летописи, так и грамоты и «Русская Правда» отражают полнее лишь княжескую деятельность и княжеские интересы.

Самоуправляющийся территориальный союз верви — элементарная ячейка волости, которая, однако, скорее, как увидим, суммирует их более или менее механически, чем сливает в высшей государственно-административной организации. Черта, указанная в этих словах, весьма существенна, чтобы оттенить примитивный характер той государственности, которой основным элементом история русского права признает именно волость. Волость в историческое время — это территория, тяпувшая к определенному стольному городу. Оставляя в стороне вопрос о положении князя в волости, сосредоточим внимание на главном земском органе волостной государственности — вече, прежде всего, чтобы дать себе отчет, в чем состояло объединение более мелких территориальных союзов данной земли в высшем единстве — волости.

Слово вече (совещание) употреблялось и в более широком значении, чем то, какое технически с ним связалось — собрания жителей города. Вечем называли всякое сборище, а так как вечем западнорусские источники позднее называют копу, т. е. собрание для судебного дела жителей соседних деревень, wiec'ами назывались и у поляков судебные собрания, то надо полагать, что вечами назывались и у нас собрания верви.

Но в летописи и в нашем представлении термин вече укоренился за народным собранием городского населения, именно жителей главного города земли (хотя существовали и пригородные веча).

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Обзор истории русского права, 5-е изд., Киев 1907, стр. 337.

Доисторическим предком этого веча были племенные собрания, существовавшие у славян на ранней заре их истории, по свидетельству VI в. у Прокопия (славяне «с древнейших времен живут в народоправстве; счастливые и несчастные случаи созывают их в общее собрание») и Маврикия, продержавшиеся у вятичей, где слабо развился городской быт, до XII в. (Ипат., 1146 г.: Давыдовичи «създваша вятиче и реша им»).

Процесс развития веча из племенного собрания в городское Владимирский-Буданов представляет себе так, что в IX — X вв. «для решения дел сходятся в старший город лучшие люди всей земли и обсуждают земские вопросы в присутствии граждан этого города», называя такое переходное явление «общеземской думой, совмещающей в себе два будущих учреждения — боярскую думу и вече» [1]. Примеры Владимирский-Буданов находит в рассказах летописи: 1) под 987 г., как Владимир *«созва боляры своя и старцы градъские»* для обсуждения вопроса о вере, а *«бояре и старци»* предложили отправить послов для испытания вер, причем речь их «бысть люба князю и всем людем»; затем перед болярами своими и старцами Владимир выслушивает отчет послов. 2) Под 997 г., как осажденные печенегами белгородцы «сотвориша вече в городе» и «совет створиша» сдать город; но один старец, не бывший на вече том, узнав, что «людье хотят ся предати печенегам», послал «по старейшины градьския» и предложил им избавить город от печенегов хитростью.

И в этих примерах и в рассказе 983 г. о том, *как старцы и боляре* предложили принести Перуну жертву — отрока и девицу, а когда варяг не дал сына, то «они же шедше поведаша людям», и те бросились на хулителя богов, — видна руководящая и *явно официальная* роль старцев или старейшин градских, которые всегда поминаются рядом с княжими боярами. Вариант Лаврентьевской летописи дает еще наименование — старци людстии. Те же старцы вместе с епископами, советуют Владимиру обратить виры на военные расходы. Их же можно видеть в тех «нарочитых мужах, лучших мужах, иже держаху Деревску землю», которых древляне посылают к Ольге: взявши Искоростень, Ольга «старейшины града изыма», а прочих людей «овых изби, а других работе предасть мужем своим» (Лавр., стр. 58).

Кто же они такие? Владимирский-Буданов и Ключевский склонны признать их социальным слоем, древнейшей аристократией. Представление текстов уже: оно связывает старцев или старейшин градских с определенной ролью, притом постоянной, правительственного характера. Это всегда определенная группа лиц, которую можно созвать, которая распоряжается, которая «держит землю».

Некоторый свет на вопрос о них бросает рассказ о пирах, на которые Владимир приглашает вместе с боярами и гридями группу гостей, называемую, то «старцы градские», то «старейшины»,

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Обзор истории русского права, стр. 54.

то «сотские и десятские». Отождествление «старцев» с сотскими поддерживается, повидимому, и рассказом летописи о новгородских событиях 1015 г., где руководители новгородского общества и военные вожди их ополчения называются то «нарочитые мужи», то «вои славны тысяща», то «старосты», а князь зовет их «честная и любимая дружина».

Эти соображения позволяют сопоставить с мнением Владимирского-Буданова указание Никитского: «До тех пор пока народный элемент в Новгороде еще не получил полной организации, сотские пользовались большим значением не только в своей собственной сфере, но даже и в политических делах как Пскова, так и Новгорода» [1], а специальной их сферой была судебно-административная деятельность в сотнях.

Наблюдения эти существенны потому, что указывают, хотя и в чертах не совсем ясных, на существование внутренней организации населения тех городов, которые стали в древней Руси во главе волостей-земель. Они раскрывают нам характер древнейших городов в их внутреннем строе как союзов ряда меньших общин, соединенных в одной общине городской, — явление, напоминающее греческий синойкизм и особенно ярко выступающее в строе Великого Новгорода. Устройство территориальных волостей, тянущих к определенному городскому центру, характеризуется в третий (по счету Владимирского-Буданова) период развития вечевого строя-XI — XIII вв. — установлением гегемонии старшего города над землей-волостью, какая выражена в известном тексте Лаврентьевской летописи (под 1176 г.): «Новгородцы бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти, якоже на думу, на веча сходятся: на что же старейшие сдумають, на том же пригороды станут».

В то же время и вече принимает окончательно форму народного собрания граждан главного города. О «старцах градских» мы более не слышим. Ключевский правильно отметил, что их участие в княжом совете «не началось, а кончилось при Владимире». Не видим их и во главе веча, во главе жизни города. Значит ли это, что вожаками вечевой общины перестали быть наиболее зажиточные и влиятельные ее члены как социальная сила? Конечно, нет. Это означает только, что отодвинулась в сторону руководящая роль выборной городской старейшины, должностной. Сотских мы и далее видим существенным органом, но уже княжеской администрации, с назначаемым от князя тысяцким во главе (до 1089 г. нет упоминаний о тысяцком): недовольные княжеским управлением киевляне в 1113 г. громят дворы тысяцкого и сотских [2].

Главный город стал представителем земли; его вече — верховной властью волости. В идее — это народное собрание всей волости; и пригорожане, на что имеются прямые указания, и, вероятно,

---

[1] *Никитский*, Святой великий Иван на Опоках, «ЖМНПр.» № 8, 1870, стр. 203.

[2] «ПРСЛ», т. II, стр. 275 и сл.

хотя указаний нет, вообще свободные жители земли, могли участвовать на вече: под «кыянами» надо разуметь часто не жителей только Киева, а Киевской земли. Этот общеземский в принципе характер веча подчеркивается случаями, когда по обстоятельствам именно верховное вече волости собиралось в пригороде: тут с пригородным вечем действуют представители веча главного города. Так можно толковать случаи, когда в 1159 г. в Друцке дрючане и полочане принимают нового князя или когда в 1166 г. князь вызывает новгородцев на поряд в Луки. Но обыкновенно в таких случаях перед нами раскол между вечевыми партиями [1].

В чем же выражалась роль веча как органа верховной власти государства-волости?

Весьма любопытна попытка (Сыромятникова) установить два момента в развитии компетенции веча. Первоначально-де функции веча обнимали всю сферу государственного правления: правообразование, суд, управление, роль веча как послуха, удостоверяющего фактические вопросы спора о праве, и т. п. Позднее, постепенно за вечем остаются функции высшего управления: призвание и изгнание князей, ряд с ними, контроль над управлением, высший суд, вопросы войны и мира, международные договоры, законодательство.

Эту мысль можно признать правильной, если под первой стадией веча разуметь народные собрания древнейших территориальных союзов — верви, сотен и т. д. Но исторически известное городское вече как орган верховной власти волости может быть характеризовано только «функциями высшего управления».

С этим связан и вопрос о «периодичности» собраний веча. Владимирский-Буданов считает ее вероятной, полагая, что «летописи, рассказывая весьма часто о народных собраниях, соединенных с каким-либо переворотом, пропускают обыкновенные мирные собрания для решения текущих дел» [2]. Ему нужно допустить периодичность собраний веча, потому что он утверждает, что «вече занималось текущими делами суда», для подтверждения чего он приводит только текст из толкования Упыря [3] на библейский текст пророка Амоса, а также из позднейшей практики Новгорода и Пскова— суда княжого и посадничего на вече. Вывод весьма искусственный и необоснованный.

Напротив, нельзя не согласиться с отрицанием у Сергеевича «самой мысли о периодичности вечевых собраний» и с его объяснением, что «для периодических собраний не было повода, так как вече не занималось никакими текущими вопросами законодательства, суда и управления», как относительно законодательства и управления признает это и Владимирский-Буданов (конечно, кроме Новгорода и Пскова). Недавно Сергеевич в статье о «Первичных народных собраниях у германцев и греков» особенно выдвинул различие непериодических русских и периодических германских

---

[1] «ПСРЛ», т. II, стр. 493, Новг. I, стр. 146 и 128—129.

[2] *М. Владимирский-Буданов*, Обзор истории русского права, стр. 57, 58.

[3] «Нрав есть прьвыя чади всея пред враты граду творити веще и суды».

народных собраний, объясняя это различие именно тем, что германское собрание было судебным, а наше вече нет [1].

Это отсутствие постоянного и органического участия веча в текущих делах суда и управления, а, стало быть, и правообразования, надо признать характерным и существенным его признаком.

Текущее управление (в составе которого нераздельно надо мыслить и суд и обычное правообразование) оставалось делом городских и местных общин, сотен и вервей, и постепенно разраставшейся княжеской администрации. Об этой последней и об ее отношении к общинному самоуправлению речь пойдет особо.

Итак, вече не централизовало управления волости, не имея вне княжеской администрации и органов для какой-либо своей администрации. Созывается оно князем или тысяцким, сходится само или по зову сограждан лишь в особо важных случаях. Среди дел, ради которых созывалось вече, можно различать такие, которые без веча не могли быть решены, и такие, где участие веча проявлялось лишь в случаях экстраординарных. Различие это, как увидим, относительно и условно.

К первому разряду следует отнести признание и изгнание князей и вопросы войны.

Не буду приводить многочисленных примеров призвания князей, например, киевлянами «на стол отен и деден». Мне уже приходилось отмечать, что тут перед нами комбинация гипотетического права наследования князей-отчичей и народного решения, кто из возможных наследников в данном случае получит княжение. С этой точки зрения следует понимать если не намерения, то реальное значение попыток князей Ярослава I, Владимира Мономаха ограничить круг возможных наследников на Киев своей линией Рюрикова дома, как и возражение черниговских Ольговичей против такой попытки Мономаховичей исключить их из круга возможных наследников: «Мы не угры и не ляхи, а единого деда внуки». Если князья пытались установить по своей воле наследство (как те же Ярослав и Мономах, как Игорь Ольгович), то это не соответствовало настроению населения: «не хотим, — говорили киевляне, — быти аки в задничи». С другой стороны, тенденция к ограничению разросшегося круга Ярославовых внуков часто соответствовала и воле веча. Киевляне предпочитают старшую линию Мономаховичей, хотя, охотно воюя с Ольговичами, не хотят поднять руку на Володимирово племя, на Мономаховичей суздальских. Или другой пример: в 1177 г. владимирцы посадили «на отни и на дедни столе» Всеволода Большое Гнездо, целовав ему крест «и на детях его», ограничивая, как правильно толкует Сергеевич, на будущее время свое право избрания средой потомства Всеволода [1]. И действительно, в 1211 г. они еще при жизни Всеволода целовали ему

---

[1] «Древности русского права», т. II, 3-е изд., СПБ 1908, стр. 55 и «Журнал министерства юстиции», декабрь 1907.

[2] Там же, т. II, стр. 76.

крест «на Юрия». Такие случаи признания князем преемника, им предложенного еще при жизни предшественника, встречаем в XII в. в Киеве (1146 г.), Ростове (1157 г.), Галиче (1187 г.) [1].

Признание князя вечем необходимо сопровождалось «рядом» между ними и взаимным крестоцелованием. Князья занимали стол, «весь поряд положьше», «створив людем весь поряд», урядившись с ними и утвердившись крестным целованием. Содержанием ряда было то, как князь будет волость «держать и рядить». Так, в 1146 г., принимая на княжение Игоря Ольговича, киевляне жалуются ему и брату его Святославу на тиунов — киевского Ратшу и вышегородского Тудора: «Ратша ны погуби Киев, а Тудор — Вышегород; а ныне, княже Святославе, целуй нам крест и с братом своим: аще кому нас будет обида, то ты прави». И Святослав ответил: «аз целую крест с братом своим, яко не будет вы насилья никоторогоже, а се вам и тиун, а по вашей воли». Потом и Игорь подтверждает это соглашение, целуя киевлянам крест: «на всей их воли и на братьни» [2].

Наряду с этой основной функцией веча стоит его власть над народным ополчением. Оно мобилизовалось не иначе, как по решению веча. И случаи обращения к вечу, и случаи его согласия или отказа нередки в летописи. Иногда вече заставляет князя заключить мир или говорит: «аще ты мир даси ему, но мы ему не дамы». Только войны против половцев организуются, повидимому, иногда без предварительного обсуждения на вече: им население всегда сочувствовало.

С другой стороны, в рассматриваемый нами период необходимо для мобилизации народного войска организующее участие князя. После поражения киевского войска половцами в 1068 г. люди киевские «прибегоша Киеву и створиша вече на торговищи и реша, пославшеся к князю: «се половци росулися по земли; дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними» [3]. На такую экипировку воев всего нужнее князю средства. Епископы и старци говорили Владимиру Святому: «рать многа; оже вира, то на оружьи и на коних буди». Для этой цели князья держали большие табуны коней. В «Русской Правде» упоминается «конюх старый у стада» князя Изяслава Ярославича, под 1145 г. упоминается табун в 4 000 голов, принадлежащий черниговским Ольговичам [4]. Но одних табунов нехватало: они, вероятно, шли больше под дружину, а под воев приходилось брать коней смердов, живших на княжой земле. На съезде 1103 г. дружина Святополка киевского возражала против похода на половцев весной, чтобы не погубить смердов, лишив их пахоты. А Мономах отвечал: «дивно ми, дружино, оже лошадей жалуете, ею же кто ореть; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати смерд, и приехав половчин, ударить и стрелою... то лошади

---

[1] «ПСРЛ», т. II, стр. 320 и сл., 656—657 и Лавр., стр. 330.
[2] «Там же», т. II, стр. 322.
[3] Лавр., стр. 166.
[4] «ПСРЛ», т. II, стр. 335.

жаль, а самою не жаль?» [1] Из слов Мономаха видно, что война отрывала от рольи (пашни) — не смерда, а его лошадь. Когда же князь из похода наспех зовет киевлян на помощь, то говорит: «братье кияне, доспевайте от мала и до велика, кто имееть конь, кто ли не имееть коня, а в лодьи» [2]. Сам полк народный шел в поход всегда под тысяцким, который держал воеводство данной тысячи.

Уже в этих чертах видна как зависимость князя от веча, так и малая дееспособность веча без князя.

Остальные известные нам проявления силы и значения веча носят всецело характер выступлений его в чрезвычайных случаях. Властно вмешивается оно своими требованиями и протестами в княжое управление, но не берет его в свои руки. Оно судит и карает неугодных ему людей, вмешивается иногда по своему почину, иногда вследствие обращения князя в междукняжеские отношения и в политику князей, но все эти проявления вечевой жизни не выработались нигде, кроме Новгорода и Пскова, в постоянную и систематическую организованную правительственную деятельность.

Лишь в делах высшей политики стояло вече во главе волости. Управление ею было в руках либо дробных местных общин, либо — увидим, в какой мере — княжой администрации. Поэтому деятельность веча не могла создать прочной и внутренне объединенной организации волости.

Посмотрим теперь, какое значение в этом отношении имела правительственная деятельность князей.

---

[1] Лавр., стр. 267.
[2] Там же, стр. 300.

ГЛАВА XII

ВОЛОСТЬ. КНЯЗЬ И ДРУЖИНА

В своей работе «История русской государственности» С. А. Корф относится иронически к старому взгляду, будто князь-правитель был необходимым атрибутом древнерусской государственности, необходимым элементом волости, и развивает мысль, что в течение всего древнего периода князь оставался «придатком волости», только случайно и далеко не прочно с нею связанным. Верховным органом государственной власти в волости представляется ему вече, а князь — органом подчиненным. Трудно более поверхностно и менее удачно определить положение князя в волости.

Конечно, князь для волости — не государь, и нельзя представлять себе волость, как маленькую монархию. «Все социальное положение, все условия тогдашнего времени решительно не благоприятствовали образованию абсолютной власти. Пока весь народ был вооружен, пока войско не специализировалось и не поступило в заведывание князя, не могла образоваться абсолютная власть. Народ составлял главную силу князей, которые поэтому необходимо должны были вступать с ним в соглашение» [1]. Эти слова В. И. Сергеевича верно схватывают суть дела. Народ составлял главную силу князей. Народ, а не дружина.

Рядом надо поставить другую цитату из лекций В. И. Сергеевича: «Народ сознает свою неспособность устроиться без князя и вместе с тем понимает необходимость дать ему высокое положение в своей среде, без чего не было бы возможно достижение целей призвания. Князь есть народная власть» [2].

Такова другая сторона изучаемого явления. Князь — народная власть, а не внешний и случайный придаток к волости. Он необходимый орган древней государственности для удовлетворения насущных общественных потребностей населения — внешней защиты и внутреннего «наряда».

Такой представляется власть князя с точки зрения населения волости-земли. Для самих князей княжение есть отчина, средство для поддержки своего княжого значения, своего «отечества», в старом смысле слова, своих владельческих интересов. Лишь по-

---

[1] *В. И. Сергеевич*, Лекции и исследования, стр. 134.
[2] Там же, стр. 143.

степенное взаимодействие и слияние обеих тенденций в сложном историческом процессе создаст монархический принцип с его двумя сторонами: государственно-правовой и династической. Лишь в исключительных случаях, как в северных вольных городах, выработает вечевая жизнь особый строй земли-волости вне указанного компромисса двух противоположных воззрений на значение и цели княжеской власти, строй, который легко может обойтись без нее и обратит ее, действительно, в «придаток» к волости, и без князя законченной в своей государственной организации.

Наша задача, отметив общие основные черты изучаемого явления, проследить его эволюцию в конкретных проявлениях исторической жизни.

Предание о «призвании варягов», как на него ни смотреть, само по себе не решает вопроса о происхождении княжеской власти. Признавая древнейших князей пришлыми варягами, мы должны, прежде всего, спросить себя, в какую общественную организацию они вошли и особенно — не взяли ли они в свои руки каких-либо функций, которые до их появления осуществлялись какими-нибудь иными органами. Подобный вопрос имеет смысл, потому что на него наводят некоторые черты летописных преданий о древнейших русских князьях.

Одна из черт древнерусского быта, докняжескую древность которой трудно не признать, это организация восточного славянства в ряд мелких территориальных общин, а в военном отношении — в сотни. Чем и как объединялись эти более дробные единицы в одно боевое целое, когда приходилось соединять силы для защиты? Весьма вероятно, что роль таких объединителей племенной силы играли племенные князья, скорее выборные, чем наследственные, судя по аналогии с древностями германскими, причем более крупные предприятия происходили, вероятно, под руководством избираемых на данный поход, на данную войну. Возникновение варяжских князей всего естественнее представлять себе так, что, принеся с собой больше военного опыта и выработанную военную технику, эти князья упрочили и развили далее местную сотенную военную организацию; так, как говорит старое предание: княжили в Киеве братья Кий, Щек и Хорив, а после братьи той «придоста два варяга» и «беста княжаща в Кыеве». Летописные сказания о военных действиях древнейших князей изображают их военные силы состоящими из воев многих, собираемых из среды местного населения. Собирает эти народные ополчения князь, а ведет их — либо без князя, либо рядом с князем воевода, первое лицо после князя, рядом с ним, близкое ему, часто его «кормилец» или его «воевода отень», упоминаемый даже, как Свенельд при Святославе, в договоре. С конца XI в. во главе народного ополчения видим тысяцких, держащих воеводство киевской, смоленской и так далее тысячи, княжих мужей, князем назначаемых. Отмечу мимоходом, что мы не имеем указаний на то, чтобы участие народного ополчения до середины XI в. стояло в зависимости от решений веча. Напротив, присматриваясь, например, к летописным рассказам о Владимире

Святом, как он идет по «верховые» вои для борьбы с половцами, строит города на южной границе и заселяет их гарнизонами «лучших людей» от славян, кривичей, вятичей и чуди, — получаем представление о сильной княжеской власти, распоряжавшейся на Руси свободно. В эпоху объединения племенных областей восточного славянства политическое самоуправление было придавлено. Вспомним, что это явление совпадает с тем моментом в развитии веча, по схеме Владимирского-Буданова, когда племенные собрания стали невозможны, а заменило их участие в деятельности князя городской старейшины при пассивной, второстепенной роли собрания граждан главного города. Если связать эти два наблюдения, то получится вывод, что сила княжой власти Владимира опиралась на тесный союз его со старейшиной народных общин, которую княжеская власть объединяет в одно целое своим творческим и энергичным руководством.

И можно повторить с Грушевским, что «сформирование земли-волости, как замкнутого политического организма, и превращение гегемонии города в формальную власть, с зависимостью от него пригородов» — все, стало быть, основы, на каких опиралась позднейшая деятельность веча, сложились, по всей вероятности, уже под влиянием княжеско-дружинного строя [1]. И в той форме, в какой вече выступает в следующее время, начиная с выступления киевлян в 1068 г. против Изяслава Ярославича, оно должно быть признано, согласно с Владимирским-Будановым и Грушевским, новым созданием русской исторической жизни XI в.

Эта новая форма народно-городской общинности, конечно, сильно повлияла на положение князя. Народное войско стоит под властью не его, а веча, хотя так значительна роль князя в мобилизации народного полка, хотя во главе его стоит княжой тысяцкий, хотя мы не знаем ни одного случая выступления его помимо, независимо от князя. Князь с тысяцким — необходимые элементы народного военного строя. И, тем не менее, если вече не согласно на поход, то полк не идет, и тысяцкий остается в городе, как видно из рассказа о событиях 1147 г.

Необходимость народного признания для занятия княжого стола, согласия с населением, чтобы на нем удержаться, и поддержки веча, чтобы иметь в руках народное ополчение, достаточно подтверждают вывод В. И. Сергеевича, что «народ составлял главную силу князей». Но сила эта слишком самостоятельна в рассматриваемый нами период, чтобы считаться подвластной князю. И мне вспоминаются только два примера репрессий со стороны князя против враждебного ему населения города: в 1069 г. Изяслав, возвращаясь в Киев, послал вперед сына Мстислава, и тот «исече кыяне, иже беша высекли Всеслава, числом 70 чади, а другыя слепиша, другыя же без вины погуби, не испытав». А другой в 1144 г., когда Володимерко галицкий «многы люди изсече, а иные показни казнью лютою» [2].

---

[1] *М. Грушевский*, Історія Украïны-Руси, т. III, стр. 209.

[2] Лавр., стр. 169.

Первый случай расправы над горожанами за попытку заменить князя другим (Всеславом) стоит в начале, второй в конце того периода, когда вече было сильно, и притом последний пример относится к земле, где оно ранее всего пало.

Но, опираясь на свое «одиначество» с вечевой общиной, скрепляемое взаимным крестоцелованием и рядом, князь имел вне ее свою опору, получавшую чем дальше, тем больше значения, — в дружине.

Явление, о котором мы думаем при слове «дружина», было широко распространено в европейском мире, знакомо было и тюркам, — наши летописи не раз говорят о дружине половецких ханов. И нелишним будет предпослать речи о дружине русских князей более общую характеристику этого явления.

Германские вожди окружены группой лиц, стоящих к ним в особом личном отношении; она в военное время служит им отрядом телохранителей и своего рода штабом, в мирное — почетной свитой, личным советом и при случае дает контингент помощников в различных делах, будь то правительственного, будь то частного, бытового или хозяйственного характера. Среди этой дружины царила особая дисциплина, основанная на личной верности и безусловной преданности воле вождя. Его воля определяла, кого принять в дружину и какое ему положение дать в дружинном строе: простого воина он мог сделать великим мужем. Все, что составляло доходы и добычу вождя, прежде всего давало средства содержать дружину, опору личного, независимого значения и положения. Но и вся добыча дружины принадлежала вождю. Перед нами дружинная община, если можно так выразиться, с общей жизнью, общим имуществом. Дружинные связи и сознавались как аналогичные родственным: на дружине лежал долг мести за вождя, на вожде — за дружинника.

На этой почве развились и те отношения, которые так ярко выступают в законе вестготов. Lex Wisigottorum дружинника называет bucellarius — от bucella, хлеба особого сорта, — отмечая этим, что дружина жила при вожде и кормилась в его доме. Этот bucellarius — свободный человек, может покинуть господина и перейти к другому, но это редкое явление, так как переход ему весьма убыточен. Уходя, дружинник должен вернуть оружие и все, что получил от того, кому служил, а также половину всего, что приобрел себе во время службы. Едва ли будет смелым предположение, что тут перед нами смягчение более древней практики, когда дружинник, уходя, не уносил с собой никакого имущества. Он был членом дома, σιχί. Известно, что со времен Каракаллы дружина проникла в числе других варварских элементов и в римскую жизнь, окружая императоров, военных вождей, всякого сильного человека. Она свита — sequentes, επομενοι, домочадцы — ἒχ της οἰχίας ὀντες, οἱ τον ἀρτον τινος εστιοντες [1] (παραμενειν). Поэтому дружинники —

[1] «питающиеся чьим-нибудь хлебом» с тем, чтобы всегда при нем «состоять».

bucellarii comitis. Их связь с вождем так сильна, что, на личную их свободу, близка к понятию его собственности: при конфискации имущества высшего военного лица император конфискует и его дружину и либо зачисляет ее в ряды своих военных сил, либо даже раздает ее приближенным. Так и у нас позднее — во времена Ивана III — на государя отписывали не только земли княжат, но и их «детей боярских добрых».

Не думаю, чтобы эти явления римского и московского времени можно было объяснять, как новые, произвольно созданные. Их исторический корень в том древнем представлении о дружиннике, как домочадце, вся судьба которого — и личная, и имущественная — нераздельно связана с личным и экономическим бытом вождя.

В составе дружины и германские и римские источники различают два слоя — высший и низший. Поэтический язык англо-саксонской песни о Беовульфе различает их словами Tugend и Jugend; у алеманнов видим amicos junctissimos (ближнюю дружину) и толпу comites; у Прокопия — копьеносцев и щитоносцев; у Малалы — κόμητες και ἄλλοι παῖδες (отроки).

Принадлежность дружины к дому вождя (огнищу?) и ее правовое, как и личное положение делают понятными нередко изумляющие нас своей видимой противоречивостью черты: подчеркнутое у Тацита и в сказаниях германских благородство дружины и ее зависимое служилое положение, выводящее ее из сферы гражданской свободы в область частно-правовой зависимости. И в отражениях германской дружины на римской почве видим ту же двойственность: практика и право рассматривают дружину под углом зрения, близким к признанию ее собственностью вождя, а рядом подчеркнутая привилегированность дружины телохранителей (protectores), которая служит при императорском дворе и дает штаб, из которого прямой путь к офицерским должностям в армии или к префектурам.

Императорская дружина — путь для карьеры из рядовых воинов на верхи военной команды и администрации. А, между тем, мы знаем определенно, что, например, Каракалла набирал в нее и свободных и рабов (Dio Cassius), и они сопоставляются у других авторов с личными слугами и рабами. Вспомним, что во главе франкской королевской дружины стоит major domus, что у нас из нее выработался позднейший «двор» князей, как их личная военная сила и центр княжой администрации.

Таковы основные черты этого характерного явления древней жизни. Стоя вне общенародного общинно-политического союза, дружина, говоря нашим новейшим слогом, относится не к области политических, государственно-правовых учреждений древней жизни, а входит в сферу частно-правовых явлений древнего быта [1].

---

[1] Англия: gesind-comes (langol gasind) — minor followers of high thanes, members of the family of a landowing thane. Knight—в основе не социальное состояние, а служилое. Ср. Gesinde (от sind—Reise, Fahrt)—спутники(боевые).

Эта основная точка зрения вполне подтверждается данными относительно древнерусской дружины и, быть может, четко поставленная, поможет разобраться в некоторых неясных или спорных вопросах.

Слово «дружина» употребляется в летописных текстах в различном значении. Прежде всего, отделим и отбросим те случаи, где бытовое значение «дружины» равно, более или менее, словам: «наши», «свои люди» — и только. Особенно в памятниках церковной письменности (переводных) слово это значит близкие, окружающие вообще, спутники и т. д. Быть в дружине=быть вместе. И в летописи можно найти тому примеры. Например, когда в 968 г. отрок пробирался из осажденного печенегами Киева, то люди с оноя стороны Днепра выехали к нему навстречу в лодке и «привезоша и к дружине». Или в обращениях ко всему войску: «князь уже почал, потягнете, дружина, по князе» (946 г.); «потягнем мужьски, братья и дружино» (971 г.). В этих случаях, как и в тех, где дружиной называется все войско (Лавр., 10; Владимир вошел в Корсунь «и дружина его»; 139 — притиснули Святополка с дружиной ко льду; 271 — Литва (в 1106 г.) победила Всеславичей и избила девять тысяч дружины) или вообще сопровождающие князя, — я не считаю возможным искать технического смысла слова дружина. Не ищу его и в том, что Ярослав дружиной называет избитых им новгородцев, или что киевляне в 1068 г. освобождают из погреба «дружину свою» — заключенных там киевлян (а не князя Всеслава с сыновьями, которые сидели не там, а в порубе), или когда в 1097 г. Святополк II прибежал к Владимиру с несколькими князьями и прочей дружиной. Думаю, что в том же общем, не техническом смысле слова называют дружиной древляне «нарочитых мужей», посланных к Ольге, и даже Владимир — бояр и старцев градских, перед которыми он предлагает изложить свои впечатления послам, ходившим испытывать разные веры.

Дружина в техническом смысле — это круг ближайших соратников, сотрудников и слуг князя, постоянно находящихся с ним и при нем. «И приидох к нему, — рассказывает автор сказания о князе Васильке Ростиславиче о своем разговоре с кн. Давыдом Игоревичем, — и седяху около него дружина» [1]. Так и Владимир сидит с дружиной во дворе теремном, ожидая Ярополка [2]. Мономах в 1085 г. забирает в Киев «матерь Ярополчю и жену его и дружину его и именье взем его»[3]. Изяслав Ярославич (1051 г.) идет на богомолье в Печерский монастырь «с дружиною своею». Дружина окружает князей на съездах, как видно из описания съездов князей в Уветичах (1100 г.) и на Долобьске (1103 г.). Это понятно, так как с ней князья постоянно советуются: «Седше ду-

---

Скандинавская дружина: hirdmenn (hird — Hausgenossenschaft, huskarbar). Ср. Итларева — чадь.

[1] Лавр., стр. 255.

[2] Там же, стр. 76.

[3] Там же, стр. 199.

мати с дружиной» входит по «Поучению Мономаха» в расписание ежедневных занятий князя. «Думал с дружиной» и старый Святослав; «бе любя дружину и с ними думая о строи земляпем и о ратех» Владимир. При всяком серьезном деле князья «созывают дружину свою на совет» и начинают думать с ней (Лавр., 212, 1093 г.). Дружину князь тешит и балует. Известный эпический анекдот о серебряных ложках, которые вытребовала дружина у князя Владимира, дает и причину тому: «дружиною налезу сребро и злато, якоже дед мой и отець мой доискася дружиною злата и сребра», — говорит Владимир. У них общая добыча, общее богатство. Дружинники говорят князю: «поиди, княже, с нами дань, да и ты добудеши, и мы». И дельный князь «любляше дружину повелику, именье не щадяше, ни питья, ни еденья браняше». С этой более тесной дружиной идет Игорь по вторичную дань к древлянам, Ольга обходит землю, уставляя уроки и дани, на нее ссылается Святослав, говоря, что если крестится, то «дружина смеяться начнуть». «Дружина отня» переходила от отца к сыну. И летопись подчеркивает тот авторитет, каким должна пользоваться при князе старшая, заслуженная дружина. В Лавр. и Ипат. сводах под 1093 г. читаем укоризну Святополку за то, что он не советовался «с большею дружиною отнею и стрыя своего» (Изяслава и Всеволода — времени их соправительства), а только «совет сотвори» с пришедшими с ним — со своей личной дружиной, бывшей с ним в Турове. Сурово осуждает летопись и старого князя за неуважение к старшей дружине, как, например, Всеволода Ярославича, что тот под старость «нача любити смысл уных, совет творя с ними» и «негодовати дружины своея первыя».

Но кроме этого различия старших и младших дружинников, чисто бытового, внутри ближней дружины, которую нельзя себе представлять особенно численной, дружина, выступающая в битвах как самостоятельная сила, была явлением более широким. Вспомним, что Игорь идет в Деревскую землю с дружиной и с данью отпускает ее домой, а сам возвращается «походить еще» «с малом дружины», что Мстислав Владимирович в битве против Ярослава у Листвена (1024 г.) «исполчив дружину, и постави Север в чело против Варягом, а сам ста с дружиною своею по крилом» [1]. Как боевая сила дружина была более обширна, чем круг ближайших спутников и сотрудников князя, заключая в себе и толпу «младшей дружины», отроков, так сказать, рядовых дружинников. Впрочем, насколько можем проследить по нашим скупым источникам, это явление есть результат постепенного расширения первоначальной дружины по мере того, как князья стали создавать для себя более значительные личные военные силы. Первоначально, опираясь, главным образом, на силу народного ополчения, князья дружиной пользуются как кругом ближайших сотрудников в своей деятельности и как своего рода штабом. Из ее среды выходили воеводы для народного полка: когда вои во время неудачного

[1] Лавр., стр. 144.

похода на Византию в 1043 г. вынуждены были по суше искать пути на Русь, затруднение было в том, что с ними не хотел итти никто из княжой дружины, сохранившей для себя один корабль, пока не пошел Вышата, которому поручено было воеводство и который потому зовет воев своей «дружиной». Действуя помимо веча и народного полка, князья набирали охочих людей, становившихся на время их дружиной в широком смысле слова. Так, думается мне, следует понять рассказ 1096 г., как Мстислав Мономашич ходил в Суздальскую землю на Олега черниговского и, обманутый им, «распусти дружину по селом», а потом еле успел в два дня собрать эту дружину — новгородцев, ростовцев, белоозерцев. Припоминание, что этот князь перед тем сидел в Ростове и в Новгороде, объяснит нам состав этой «дружины». Сходное указание дает и рассказ 1147 г., как Изяслав Мстиславич, не добившись согласия киевского веча на поход против Юрия Долгорукого, кликнул клич: «а тот добр, кто по мне поидеть» — и собрал много воев [1]. Такой же сборный состав можно предположить и для упомянутой дружины Мстислава под Лиственом, куда он пришел из Тмутаракани.

Таким образом, дружина представляется мне не «главной военной силой княжества», как ее иногда называют, а лишь отборным ядром княжих воинов-телохранителей, его «двором», говоря по позднейшему, постоянными спутниками и советниками, и штабом, который давал организаторов и вождей от руки князя народному ополчению.

Дружина, в широком смысле «двора» княжого, была и главным орудием княжеской администрации, как и княжеского хозяйства. Но эту роль ее, как и общественное положение дружины, можно выяснить себе только в связи с изучением правительственной деятельности и общественного положения самого князя.

---

[1] Лавр., стр. 230; «ПСРЛ», стр. 344.

ГЛАВА XIII

КНЯЗЬ

Из предыдущего уже выяснились некоторые черты, характеризующие положение князя в волости. В государстве-волости, этой древнерусской политии, не могла обойтись без князя прежде всего организация народной обороны, народного ополчения. Несмотря на власть веча, он был центром объединения народных сил. Такова же роль князя и в установлении внутреннего наряда. Мы видели, что вече не держало в своих руках ни администрации земли, которая объединяла бы ее отдельные общины в одно государственно-административное целое, ни в древней жизни нераздельного с администрацией судебного дела. А ведь судебно-административная практика была в старину главным фактором правообразования — и притом таким, значение которого усиливалось по мере усложнения и изменения общественной жизни. Старые нормы обычного народного права не отличались достаточной гибкостью, чтобы, изменяясь и усложняясь, отвечать на новые вопросы, новые потребности, возникавшие в жизни. Таково было основное условие возникновения правительственной деятельности по созданию нового права. Она имела две формы — судебно-административную практику, создававшую по отдельным случаям решения прецеденты, которые, применяясь к ряду новых сходных случаев, обобщались и вырастали до значения новых норм права; и уставную деятельность, прямо создававшую новые нормы в руководство этой практике. Ни текущая судебно-административная практика, ни текущее законодательство не были делом веча. И тут центром был князь.

Чтобы понять причины, вызвавшие к жизни правительственную деятельность князя, его значение как судьи, управителя и законодателя, надо представить себе те явления в общественной жизни древней Руси, которые создавали положения и вопросы, не разрешавшиеся народным обычным правом и в то же время требовавшие решения в интересах общего мира. Основная черта народного права — то, что оно рассчитано на определенную оседлость и союзность. Это — право народных общин, которые мне уже приходилось характеризовать как союзы для охраны мира. И во внутреннюю их самодеятельность княжая власть весьма долгое время не вмешива-

лась: лишь медленно стала она преодолевать замкнутость самоуправляющихся общинных миров уже за хронологической гранью рассматриваемого нами периода русской истории. Но объединение их в волости, развитие городской жизни, более постоянные сношения с иностранцами, развитие торговли, наконец, ряд перемен в социально-экономических условиях древнерусского быта, — словом, усложнение жизни создало ряд таких явлений, которые и вызвали к жизни новое право — право княжое. Оно возникло — это необходимо иметь в виду — не как сознательное и намеренное противопоставление новых норм и тенденций обычному народному праву, а как необходимое его дополнение. Ведь князь не только начальник военных сил, охранитель земли от внешних врагов, он и установитель «наряда», и это его значение растет по мере развития в жизни явлений, которые выходили за рамки сложившегося «по старине и пошлине» народного быта.

И прежде всего в источниках наших бросается в глаза возникшая необходимость определить правовое положение лиц — нечленов народной общины, неоседлых в данной местности, потому ли, что они вошли в волость со стороны, потому ли, что они вышли из обычно-правовых союзов — семейных, родовых, общинных, — оказались «изгоями».

С такими элементами населения древнее право разно обходилось у разных народов. Греческая и римская древность разрешала задачу с помощью патроната члена общины над пришельцем путем представительства патрона за клиента или путем hospitium'а — союза гостеприимства между членами разных общин или даже союза между целой общиной и стоящим вне ее лицом. Русская древность идет, в сущности, тем же путем, но активную роль она дает тут только князю, а затем, отчасти, и церкви.

Мне уже приходилось касаться состава лиц, выбитых жизнью из тех или иных обычно-правовых союзов или определенных общественных положений и потому потерявших необходимые условия для защиты их личных и имущественных прав и потому нуждавшихся в особой опеке, не предусмотренной народным правом. Это, прежде всего, изгои и родственные им задушные люди, прощеники и тому подобные социальные категории церковных уставов. Не буду повторять того, что уже было о них сказано. Напомню только, что основной элемент изгойства — это холопы, вышедшие на волю путем выкупа, путем отпуска на волю (задушные люди), а также свободные люди, потерявшие свое бытовое положение в силу ли материального разорения или каких-либо других условий, прощеники, калики перехожие и т. п. Они оказывались вне правового союза и к ним не приложимы обычные нормы права. Им мудрено было найти мстителя за смерть свою или преследователя убийцы перед судом, некому было требовать за их голову плату — головщину, некому было поручиться за них в обычной форме старого процесса — очистительной присяги с соприсяжниками. Они выходили не только из состава обычно-правовых союзов, но и из-под норм древнего права и процесса.

В этом отношении эти обездоленные судьбой стояли в том же положении, как и пришлые люди, иноземцы-варяги, колбяги, как приезжие купцы-гости, откуда бы они ни пришли, из далекой чужбины или из другой земли русской. Из последнего вы видите, что я представляю себе новгородца в Киеве, или киевлянина в Черниговщине, или на Волыни пришлым, одиноким человеком, каково бы ни было его положение дома. Обычное народное право, рассчитанное, как сказано, на определенную оседлость и союзность, на местный суд и местную расправу, их не охраняло. Расследование и кара за преступление производились в пределах земли-волости: «А из своего города в чюжю землю свода нетуть; но такоже вывести ему послухи любо мытника, перед кимь же купивше. То истьцю лице взяти, а прока ему желети, что с ним погибло, а оному своих кун желети». Эта статья (48) III редакции «Русской Правды» сохранила, повидимому, весьма архаическую черту: свод — способ розыска украденного и вора — действует лишь в пределах данной земли-волости, замирая на ее границе. Позднейшие списки добавляют: «дондеже налезеть». Понимать ли это, как толкует Владимирский-Буданов, «пока не встретит в пределах своей земли продавца, у которого он купил краденую вещь», или тут неясный намек на позднейшую эволюцию, нарушившую строгую замкнутость земли-волости, — не знаю.

В таком же положении, как изгои или пришлые люди, были по отношению к народному праву и княжие дружинники. Не говоря о том, что они по своей роли помощников и слуг княжих легко могли попадать в чужие земли, чуждые месту их оседлости, они часто бывали людьми со стороны, то иноплеменники, то иноземцы русские.

Задача определить правовое положение всех этих разнородных элементов выпала на долю княжеской власти. И она идет к той цели двумя путями: 1) распространяя на них общие нормы путем создания особых условий, с помощью которых это оказалось бы возможным, и 2) создавая новые нормы, по существу отличные от обычно-правовых, народных. Князь берет на себя защиту людей, у которых нет обычно-правовых защитников, и требует за них той же платы, какая требовалась «за голову» каждого «людина». Древнейшая редакция «Русской Правды» ставит рядом общую норму мести (т. е. убиения за голову), ограничивая круг мстителей членами ближайшего кровного союза; «еще ли не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову». Отсутствие мстителя, указанное здесь, и ставит на очередь вопрос, на который отвечает перечнем или сводом отдельных примеров третья статья: 40 гривен за изгоя, за купца-гостя, за княжих чиновников и дружинников — гридя, ябетника, мечника. Что же такое названные тут русин и словенин? Я перевожу — киевлянин, новгородец, разумея их тут убитыми на чужбине, ходившими, например, для торговли, хотя не решаюсь настаивать на таком понимании. Во всяком случае, тут мы имеем лишь применение общей нормы к специальным разрядам лиц

и III редакция «Русской Правды» знает 40 гривен платы за всякого людина (ст. 5).

Характернее II редакция «Русской Правды», содержащая устав князей Изяслава, Всеволода и Святослава во время их троевластия, т. е. до 1068 г. Она устанавливает повышенные вдвое виры — в 80 гривен за людей, находящихся под особой, личной защитой князя. Тут названы: огнищанин, княжой тиун, княжой конюх старый у стада, как обеспеченные 80-гривенной карой за голову, но III редакция, можно сказать с уверенностью, не исказила дела, говоря, что 80 гривен платится вообще, если убит будет княжой муж или тиун княжой.

Таковы примеры деятельности князей, создававшей наряду с обычно-правовыми особый «союз княжеской защиты, стоящий вне общегосударственного союза членов племени и построенный на совершенно иной основе» [1]. Эта основа — не взаимная порука и защита членов общины, а властная опека князя над теми, кого он берет под свою защиту.

Эта особая «княжая защита» — общеисторическое явление у всех европейских народов. Удвоенная и утроенная вира за лиц, состоящих под особой опекой конунга,—общая черта права германских народов. Общее явление и применение этой особой защиты к отдельным лицам, когда они по исключительности своего положения не могли быть охранены обычным правом. Останавливаться на этом не буду.

Отмечу теперь одно существенное для древнерусского быта социальное последствие возникновения того, что я назвал «союзом княжеской защиты». Из общества древнерусского выделялась группа лиц, стоящая вне общей связи и вне общей, обычно-правовой юрисдикции. Стоящие под княжой защитой подсудны княжому суду. Не знаю, можно ли это назвать их судебной привилегией, как и то, следует ли называть повышенную виру княжих мужей их привилегией. Ведь в обоих случаях суть дела не в увеличении прав данного лица, а лишь в экстраординарной их защите, причем повышенная кара, шедшая в княжью казну, была привилегией князя, а не его мужей. Лишь косвенно создавалось для них преимущество социального значения, которое легло в основу развития из этого слоя и материально и юридически выделенной из общей массы населения аристократии.

А первоначально дело не в привилегированности, а в возникновении особого, если можно так выразиться, социального организма, сплоченного княжеской силой вокруг себя.

По составу эта среда «княжих людей» весьма разнообразна. Те элементы, которые мимоходом попадали в сферу действия княжой охраны — приезжие купцы, иноземцы,— не представляют для нас интереса. Вира за них шла князю, а если не было под рукой их родни, то, вероятно, и головщина, как в польском праве;

---

[1] *A. Halban-Blumenstok*, Königsschutz und Fehde, «Zeitschrift der Savignys Stiftung», B. 30, 1898.

вероятно, их наследство шло князю, как в праве франкском, но все это предположения, которые основаны на одних аналогиях. Наши источники молчат об этом. Остается двор княжой — дружина в тесном смысле слова и отроки княжие, которых тоже можно зачислять в дружину, — среда, в которой, повидимому, люди несвободного происхождения не были так резко обособлены от мужей свободных, чтобы возвышение их на княжной службе не могло быть путем к свободе и высокому положению. И рядом с двором княжим — население княжих сел.

Княжеское землевладение и княжое хозяйство слабо обрисованы в наших источниках, точнее, вовсе не обрисованы, а лишь указаны случайно, мимоходом. Уже приходилось упоминать о княжих стадах и табунах. Немало можно набрать указаний на княжие дворы и села. Домашнее и полевое хозяйство княжеское велось преимущественно на труде челяди, труде холопском, под надзором тиунов сельских, тиунов ратайных, тиунов конюших и рядовичей. Но в связи с вышесказанным особенно существенно отметить, что опскаемые княжой защитой изгои, прощеники селятся на княжой земле, входят в состав княжого хозяйства. В грамоте смоленского князя Ростислава 1150 г. князь дает церкви «прощеники, с медом, и с кунами, и с вирою, и с продажами, и не надобе их судити никакому же человеку»; близ Пскова было село, называвшееся Пущеник; та же грамота дает церкви «село Дросенское со изгои и с землей», «село Ясенское... и с землею и со изгои» [1].

Отмечу тут одну черту: прощеники и изгои дарятся церкви со всеми доходами, в том числе судебными, и переходят под юрисдикцию епископа. Князь дарит свое: и та юрисдикция, которую он дарит, — это юрисдикция не общего права, а его собственная, вотчинная. Это — отчуждение прав князя, сложившихся внутри «союза княжеской защиты», стоящих вне сферы его государственно-правовых отношений к волости-княжению.

Теперь мы можем несколько расширить выставленные выше положения относительно дружины. Принимая общее заключение В. И. Сергеевича, что «народ составляет главную силу князей», я уже отметил, что князь, опираясь на свое «одиначество» с «вечевой общиной», имел и вне ее другую опору — в дружине. Но для правильного представления о положении князя в волости необходимо это суждение расширить, заменить другим, более широким. Дружина, в собственном смысле слова, лишь один из элементов той своеобразной организации, стоящей внутри волости, но вне народной общины, которая составляла самостоятельную опору того, что можно назвать общественным положением князя. Вся эта организация, состоящая из княжого двора и княжих сел, из княжой дружины, княжих отроков, челяди (челядь = люди; чел + ядь, как чел + век), людей княжих, несвободного и полусвободного населения княжих сел, не только окружала князя группой людей,

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, стр. 257.

дававших ему личные силы для развития его княжой деятельности, правительственной и военной, но также давала независимую материальную базу его общественному положению в особом княжом, по позднейшему сказать, дворцовом хозяйстве. И вся эта организация, с входившим в ее состав населением, стояла, говоря современным слогом, вне обычно-правового союза народной общины, вне государственной правовой организации государства-волости. Внутри ее действовало особое право, которое можно назвать, по позднейшему, вотчинным правом. Оно слагалось по аналогии с общенародным, но с теми изменениями, какие вызывались отличиями внутреннего строя «княжого общества» сравнительно с общиной народной.

Особенно яркий пример дает нам право наследственное. Оно вырастает исторически на основе единства владения. «Право наследства, — говорит Владимирский-Буданов, — возникает не из искусственного измышления, а коренится в совладении лиц, живущих в одном доме с наследодателем, разделявших труды приобретения имущества и право пользования им» [1]. На почве единства владения в двух сравниваемых нами социальных организмах вырастало в одном из них ограничение имущественных прав лица в пользу общины, семейной и соседской, в другом — в пользу князя. На одном принципе вырастало два разнородных порядка.

С другой стороны, объединенные на основе единства имущества или владения союзы были союзами защиты. И необходимо иметь в виду связь права наследования с местью за убитого, с правом получать и платить за него виру. Эта связь ярко выступает в германском праве. По «Тюрингенской Правде» месть, плата за убитого и его земля переходят к одному и тому же лицу. По «Правде Салической» (tit, 60) — кто отрекается от родства, теряет faida, compositio, haereditas, sed hereditatem ipsius fiscus adquirat [2]. Разобраться в спорных вопросах древнейшей истории русского наследственного права можно, только имея в виду взаимную связь указанных сторон древнего быта.

Мы видели, что князь защищает своих людей двойной вирой. Естественно задаться вопросом, помогало ли «княжое общество» своему члену в уплате, например, головщины, если он совершил убийство? Ведь перед вервью стояла дилемма— либо выдать сочлена, либо платить за него. Такая же дилемма стояла перед господином холопа-преступника: если холоп совершит кражу, то по 57 ст. III редакции «Русской Правды» господин, будь то князь, будь то боярин, будь то монастырь, — платит вдвое истцу; ударит ли холоп свободного мужа, то господин может или выдать его или уплатить 12 гривен, сумму, которая значительно выше обычной цены холопа: повидимому, эти 12 гривен штраф за невыдачу холопа, так как в вознаграждение обиженному, кроме того, полагалась гривна кун, если он не предпочитал получить удовлетворение лич-

[1] *Владимирский-Буданов*, Обзор..., стр. 491, примечание.

[2] «свою часть виры», «вознаграждение за увечье», «наследство», «но наследство его получает фиск».

ное: «бити и развязавше», а прежде — во времена Ярослава — даже убить холопа обидчика или взять холопа себе (судя по варианту Карамзинского списка).

Отношение князя к преступлениям своих свободных слуг не отмечено в наших источниках. Могу лишь привести рассказ саги об Олафе, как он в Новгороде убил некоего Клеркона, и когда народ сбежался, требуя его смерти, княгиня приняла Олафа под свое покровительство и готова была защищать его своими слугами. Князь примирил обе стороны и присудил плату за убийство, которую княгиня и уплатила, выкупив, таким образом, Олафа от мести [1].

Связанные защитой и службой с княжим двором, дружинники стояли к князю и в особом имущественном отношении. След его остался в статье (119) «Русской Правды» о наследстве, которая в первоначальной редакции должна читаться так: «аже в боярех любо дружине (=из первичного: аже в дружине?), то за князя задница не идеть. Но оже не будет сынов, а дчери возьмут».

В нашем контексте «Русской Правды» противополагаются относительно наследства высшие слои княжих людей, называемые тут бояре и дружина, — низшему их слою, который в «Русской Правде» фигурирует под названием смердов. Об их наследстве в «Русской Правде» читаем «аже смерд умреть (без дети), то задница князю; аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аже будуть замужемь, то не даяти части им» [2].

Толкование этих статей крайне спорно в нашей научной литературе. Но прежде чем касаться разногласий, я установлю свое толкование.

Прежде всего, о каком имуществе идет речь, когда оно называется статок? В старших текстах статок — имущество движимое: «и двор зажгоша, и статок его весь поимаша» читаем в Ипат. лет. под 1190 г. Еще в Судебнике 1497 г. полное наследство описывается, как «статок весь и земли». Затем отмечу, что сама отрицательная форма статьи о боярском и дружинном наследстве вызывает представление, что перед нами отмена порядка, прежде бывшего обычным: наследство дружинника шло князю при отсутствии сыновей. Перед нами смягчение прежней нормы в пользу дочерей-наследниц.

Как на смягчение прежней, более суровой, нормы смотрит Павлов-Сильванский и на статью о наследстве смерда, считая ее первоначальной редакцией вариант, читаемый так: «аже смерд умреть, то задница князю», и признавая допущение до наследства сыновей смерда уже новостью [3]. Как бы то ни было, в обеих статьях перед нами особый порядок наследования, в котором обеспечены в известных случаях права князя, уже отодвигаемые в эпоху III редакции «Русской Правды» XII в. на задний план в вопросе о насле-

---

[1] *В. О. Ключевский*, Боярская дума древней Руси, приложение 2-е.

[2] «Русская Правда» в четырех редакциях, изд. В. И. Сергеевич, 2-е изд., СПБ 1911, ст. 22, ст. 117 III редакции.

[3] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, СПБ 1907, стр. 59.

довании и бояр и дружины, но еще сохранившие силу относительно наследства княжих смердов.

Корень этого явления лежит в отмеченных выше особенностях положения дружины и населения княжих земель, которые ставили их вне общего правового строя. И мне уже пришлось указывать на черты германского (вестготского) права, характеризующие ограничение имущественных прав дружинника в пользу князя. Там они проявлялись в правилах, соблюдавшихся при выходе из дружины. Теперь приведу еще примеры, освещающие вопрос о наследстве дружинников, и возьму их из прав славянских.

У сербов бояре служилые назывались властели или властелины. И в «Законнике» Стефана Душана, царя сербского, читаем: «Каде умре властелинь, конь добр и оружие да се да цароу, а свита велика бисерьна и злати поиас да оузьме сын его, и да му царь не оузьме». И тут видим уступку в пользу бояр-дружинников. И далее: «а коли не има сына, но има дщерь, да има дьщи узети или продати или отдати свободно».

В «Польской Правде» XIII в., ст. 21 и 22, читаем: «Если умрет рыцарь, имеющий сына или двух или более, которые и получат наследство, то они должны держать мать свою в такой же чести (власти), как была она прежде, пока она захочет оставаться без мужа... Если же муж не оставил сына, то жена владеет имением, пока остается без мужа; а когда она умрет, то наследство берет господин мужа; а если он оставил дочерей, то должен их господин пристойно наделить и дать столько вещей, как имела мать...

Так же, если умрет крестьянин, не имея сына, то его господин берет его имущество... Оставил ли муж дочерей, их должен наделить, кто его наследство берет, сын ли его или господин».

Все это варианты смягчения старого права в пользу сыновей, вдов, дочерей, но не далее. Аналогичные примеры можно, конечно, привести и из германского права. Но это завело бы нас слишком далеко.

Основные черты описываемого явления и так ясны. Перед нами следы эволюции, состоявшей в постепенном выделении личных и наследственных прав лиц свободных, но входящих в личную зависимость от князя, черты из истории особого княжого права. Немудрено, что источники не сохранили первоначальных норм, а дают лишь их изменения и смягчения. Обычное право подвергается записи и кодификации, лишь когда оно переживает ломку, кризис, и потому-то древнейшие памятники права содержат всегда почти смесь архаизмов с новообразованиями, а не стройные системы права.

Какое же право было общим, рядом с этим особым вотчинно-княжим? Это непрерывное владение семейной общины, постепенно вырабатывающее понятие семейного наследования. Кто был наследником в эпоху «Русской Правды», — на это нам ответ дает древнейшая духовная грамота XIII в., в которой завещатель новгородец Климент делит свое наследство между разными лицами. Главный наследник, кредитор Климента—Георгиевский монастырь,

потому что «не было у мене ни брата, ни сыну». Что касается судеб выморочного имущества по народному праву, то указание на его судьбу вижу в приведенном выше тексте из славянского перевода «Эклоги», вошедшего в наши «Кормчии», где в числе наследников такого имущества назван «людский сонм» = соседская община. Такое толкование этого указания, как было отмечено, поддерживается и аналогиями западного права и явлениями позднейшего общинного быта на Руси.

Итак, в соответствии дуализму князя и веча видим в древней Руси два социальных организма — народную общину и княжих людей, и две системы права — общенародное и княжое.

Что такое княжие люди, жившие под особым княжим правом, об этом уже было говорено. Я должен только прибавить несколько слов в пояснение термина, который я позволил себе употребить: княжие смерды. Такого выражения вы в источниках не встретите. Это — не цитата, а толкование. Дело в том, что нельзя понять статей о смердах «Русской Правды» Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей, не признав, что тут речь идет о людях, зависимых от князя и стоящих под особой его опекой, мало того, — имеющих определенное и особое отношение к княжому хозяйству, если взять эти статьи вместе со статьями о смердах III редакции.

Из этих статей о 117-й я только что говорил. Ее толкуют иначе. Сергеевич, Дьяконов, Владимирский-Буданов видят тут общий закон, а не специальное право.

Я бы затруднился найти пример более искусственного толкования текста, чем то, какое находим на 544—546 страницах лекций Сергеевича [1]. Прежде всего он разрывает связь между 117 и 118 статьями, утверждая, что «нет ни малейшего повода их сливать». В первой дано «общее правило о судьбе выморочного имущества», а источник ее—византийское право, именно та самая статья «Эклоги» ,которая говорит, что при отсутствии наследника, «universum parimonium fisco infertur» [2]. При этом Сергеевич для оценки рецепции этой статьи на Руси не принимает во внимание, что славянский перевод ее изменил, передав слово «fiscus» тремя понятиями: церковь, «царское сокровище» и «людский сонм». Вторую половину постановления «Русской Правды» о наследстве смерда Сергеевич не только произвольно отрывает от первой, но и толкует как признание за дочерьми права на часть наследства, равную части братьев! Владимирский-Буданов не разрывает тесно связанных статей 117 и 118 и не игнорирует антитезы смердьего и боярского наследства. Он видит «простой и ясный смысл статей «Русской Правды» в различении порядка наследования в классе бояр, боярской дружины и людей, с одной стороны, и в классе смердов — с другой [3]. Эти два класса определяются им как класс городской — разных

---

[1] *В. И. Сергеевич*, Лекции и исследования по древней истории русского права, 3-е изд., СПБ 1903.

[2] «Все наследство вносится в фиск».

[3] *М. Владимирский-Буданов*, Обзор истории русского права, стр. 490.

слоев, с одной, и класс сельский, с другой стороны. Смерды — это все сельское население, а особенность их наследственного права объясняется тем, что «земли общинные считались государственными, и смерды, населявшие их, были смердами князя» [1]. Так, и Владимирский-Буданов приходит к понятию «княжого смерда», но расширяет его на все свободное сельское население древней Руси. Тут нет насилия над текстом, но имеется крупное нарушение исторической перспективы. Положение князя, подобное рисуемому Владимирским-Будановым, сделало бы совершенно непонятными значение веча и его власть над ополчением земли. Будь вся земля и все смерды в руках князя, его власть была бы несоизмеримо сильной сравнительно с силой городской общины. То «окняжение» всей земли и обращение всего населения в подвластное непосредственно князю, какое вносит Владимирский-Буданов в «Русскую Правду»,— явление позднейшее, созданное удельным периодом.

Обратимся к другим статьям о смерде. И, прежде всего, к 14-й (во II редакции=103-й III редакции). «Или смерд умучат, а без княжого слова за обиду 3 гривны. А в огнищанине и в тиуньце и в мечнице 12 гривен». Слово «мука» в старой письменности употребляется в значении «наказание». Так, последняя статья (135) Карамзинского списка «Русской Правды» говорит: «оже утяжуть в муке, а посидит у дворянина, 8 ногат за ту муку». И следует принять для данного текста толкование Владимирского-Буданова: мука— самоуправный суд (арест, наказание) [2]. Тут незаконна та мука, которой смерд или княжой человек подвергнуты без княжого слова. Князь тут защищает не столько их, сколько неприкосновенность своей юрисдикции над ними. Это особенно ясно, если прочесть эту статью так, как находим ее в III редакции. Правда, тут текст испорчен непонятным началом: «аже смерд мучить смерда *без княжа слова*» (in verbo regis), но ценно, что идет дальше: «то 3 гривны продажи, а за муку гривна кун; аже огнищанина мучить, то 12 гривен продаже, а за муку гривна (кун)». 3 гривны и 12 гривен шли князю за нарушение его права судить смердов и огнищан, а сами потерпевшие получали одинаково по гривне. Это установление, по сути дела, совершенно параллельное 80-гривенной вире за княжих мужей. Вот почему и волхвы в известном рассказе требуют «княжого слова»: «нама стати пред Святославом, а ты не можеши сотворити ничтоже», — говорят они Яну Вышатичу [3].

Остаются две статьи. В одной (9=56) читаем таксу за скот, которую III редакция называет «уроци смердом, оже платят князю продажу». Урок — вознаграждение потерпевшему, например, от кражи. Продажа — уголовный штраф. Перевод будет такой: «таковы назначаемые взыскания смердам, подсудным князю». При краже скота продажа 3 гривны 30 резан, а урок — по расценке. Тут записана практика суда княжого в среде смердов. Эта статья

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Обзор..., стр. 34.

[2] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия, вып. I, стр. 32, примечание 14; стр. 67, примечание 120.

[3] Лавр., стр. 173.

особого интереса не представляет. Остается наиболее спорная и трудная статья 7 (=16), которая читается различно: либо «а в рядовице княжи 5 гривен, а в смердьи в холопе 5 гривен», либо— «а в смерде и в холопе 5 гривен». Как ни читай, трудность толкования остается. При первом чтении равенство платы за княжого рядовича и за смердьего холопа плохо вяжется с повышенной охраной всего княжого. При втором непонятно уравнение смерда, свободного человека, платящего князю продажу, с холопом, которого князь продажею не казнит, зане есть не свободен. Третьим стоит рядович или рядовник — в той же цене. Это слово Сергеевич толкует — рядовой раб [1]. Такое значение этимологически возможно, но старыми текстами не подтверждается. Рядович княжой — помощник тиуна: «не держи села близ княжа села, — советует Даниил Заточник, — тиун бо его яко огнь трепетицею накладен, а рядовичи его яко искры». «А сотским и рядовичем без наместника и посадника не судити», — постановляет договор новгородцев с князем [2]. Не ясно ли из этих текстов, что рядович — не рядовой холоп, а помощник тиуна по уряженью работ и управлению княжой челядью? В таком случае несомненным представляется, что 5 гривен взимаются по нашей статье за лиц разного положения.

Но что такое эти 5 гривен? Прежде всего, сумма эта стоит в ряду княжих доходов. Но это, конечно, не цена за голову смерда, не вира и не продажа. Смерд — свободный человек и мы должны исходить из того, что вира за него 40 гривен или, по крайней мере, головщина равна этой сумме [3]. Сорок — но не более. Хотя мы ставим смерда в то, что назвали «союзом княжой защиты», но нет никаких оснований приписывать ему повышенную виру. Повидимому, наиболее соответствующее понимание текста сведется к признанию, вместе с Владимирским-Будановым, что 5 гривен эти— «вознаграждение князю за нанесенный ему убыток по равной оценке всякой рабочей силы», что не исключает обычного взыскания 40 гривен за свободного, как и — согласно статье 116, III редакции — 12 гривен продажи за убитого без вины холопа, — эти 5 гривен не уголовная кара, а «урок» [4].

Смерд — необходимый элемент княжого хозяйства. Это сближает его с теми изгоями, прощениками, пущениками, о которых речь была выше.

Мы стоим тут перед весьма важным социально-экономическим явлением — выделения среди массы сельского населения особой части, стоящей вне обычного склада отношений, выделения из

---

[1] *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, 2-е изд., СПБ 1902, стр. 106 и 185.

[2] «Собрание государственных грамот и договоров», т. I, № 20, стр. 30: «а сотским и рядовичем, без князей великих наместника и без посадника не судити нигде» (договор Новгорода с великим князем Иваном III, 11 августа 1471 г.).

[3] *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, 2-е изд., СПБ 1902, стр. 184.

[4] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, ч. I, 5-е изд., 1899, стр. 31, примечание 6; стр. 71, примечание 133.

массы земель, части, состоящей в особом от обычного владении и под особой новой формой эксплоатации. В XI — XII вв., когда под напором степной силы русская жизнь все больше замыкалась в лесном пространстве, когда по необходимости сузился размах русской колонизационной и завоевательной силы, пришлось восточному славянству подобраться, сконцентрироваться на более определенной территории, осесть на ней плотнее. Пришлось приступить к более усиленной разработке местных богатств природы, завоевывать у нее новые и новые участки почвы, занимая лежавшие впусте пространства, отнимая их у леса. Начался процесс внутренней колонизации.

И в этом деле, наряду с разрастанием починков, исходящих от общин сельского населения, более гибким и предприимчивым, лучше вооруженным и силами организующими и средствами материальными оказалось княжое хозяйство, с одной стороны, и хозяйство опиравшихся на князя церкви и боярства, с другой. Развившаяся в этом направлении частная предприимчивость названных сил рано переросла условия ведения хозяйства руками несвободных слуг — челяди и холопов. Потребность в рабочих руках привела к пользованию трудом полусвободных людей — выражение, которым обыкновенно характеризуют двойственное положение людей, у которых правовое положение лично свободных и полноправных соединялось с экономической зависимостью живущих на чужой — необщинной — земле и работающих в чужом хозяйстве. Эта экономическая зависимость связывалась для них с особой опекой и защитой, с особой подсудностью, ставила их под власть особого права. Так возникал особый разряд полусвободных зависимых людей, стоявших между холопами-рабами и свободными членами народной общины. Личный состав этого класса набирался преимущественно из лиц, вышедших из тех или иных обычно-правовых состояний. Это либо вольноотпущенники, вышедшие из холопства, либо свободные люди, ищущие защиты и обеспечения вне круга обычно-правовых союзов под властью сильных людей и в составе крупного хозяйства.

Начало княжой защиты, княжого покровительства было средством привлечения этих элементов в круг княжого хозяйства и княжого права.

Явление это широко распространено по всей Европе. Во Франции XI в., в лесных пространствах, требующих расчистки, видим множество новых починков, сел, где живут и работают так называемые hospites — пришельцы, полусвободные держальцы участков во владении крупных землевладельцев. Это колонизационное движение столь сильно, что мы слышим жалобы на запустение старых, давно насиженных поселений. В Польше тот же элемент чужаков в селе, присельников, состоявших обычно либо из отпущенников, либо из младших членов семей, вышедших на новые места, называется в латинских источниках тем же термином hospites, а по-польски lazęgi (вольные, гулящие люди). Это наши изгои или смерды на княжой земле, два главные элемента внутренней колонизации XI—XII вв.

Таков запас рабочих сил, направленных на расчистку новин, на пользу вновь возникавшего крупного хозяйства и крупного частного (т. е. стоящего вне обычно-правовой народной организации) землевладения.

Наряду с княжим мы знаем два вида этого землевладения — церковное и боярское. О церковном мне уже приходилось говорить. Оно возникает рано. Печерский монастырь владеет селами уже вскоре после своего основания в XI в., как видно из Несторова жития св. Феодосия (в «Патерике»). Источником церковного землевладения были пожалования князей и вклады других лиц. Так, в Ипат. лет. под 1158 г. читаем, что князь Ярополк Изяславич дал Печерскому монастырю «всю жизнь свою Небльскую волость и Деревьскую и Лучьскую около Киева». Был у Печерского монастыря двор и в Суздале с церковью св. Дмитрия и с «селы» — дар митрополита Ефрема (Лавр., стр. 230). Первая дошедшая до нас жалованная грамота на землю 1130 г. — грамота Мстислава Мономашича Юрьеву монастырю (новгородскому) на село Буицы с данию, с вирами и с продажами. Эта грамота, как и приведенные выше тексты грамоты Ростислава смоленской епископии 1150 г., и церковных уставов свидетельствуют, что предметом пожалования были земли с населением их и с административно-судейскими правами и доходами над этим населением зависимых людей.

На другой способ расширения монастыря указывает упомянутая уже духовная новгородца Климента (игумен Варлаам Юрьевского монастыря, ум. в 1270 г.). Климент взял в долг у монастыря 20 гривен серебра и зато дает монастырю: «два села с обильем и с лошадьми и с бортью и с малыми селищи, и пень и колода — одерень». Тут первое известие о денежных операциях монастырей, сыгравших столь крупную роль в развитии монастырского землевладения в следующие века. Далее духовная дает еще черту существенную: Климент «приказывает игумену Варлааму и всей братьи» свою жену, которой завещал двор свой городской и часть другого имущества с тем, чтобы она постриглась, а монастырь бы ее обеспечил на безголодную жизнь, а если не пострижется, то наделил бы меньше. Тут пример приказыванья монастырю под опеку, закладыванья за монастырь лиц, ищущих опеки.

Учесть размер монастырского и вообще церковного землевладения в домонгольский период по нашим отрывочным данным не представляется возможным. Можно только повторить с Милютиным, что церковь «к началу XIII в. успела уже сосредоточить в своих руках довольно значительное земельное богатство» [1].

Важнее подчеркнуть характер социально-политического властвования, связанный с этим землевладением. Население церковных имений подчинено церковным властям, они судят его своим судом, собирают с него княжии доходы. Князь, его бояре, его администрация не вмешиваются в управление «церковным обществом». Оно

[1] *В. Милютин*, О недвижимых имуществах духовенства в России, «Чтения в Московском обществе истории и древности», кн. 4, 1859, стр. 39.

обособлено в особый организм, стоящий вне народной обычно-правовой организации, как и общество княжое. И таким оно остается на ряд веков, хотя с усилением княжеской власти эта иммунитетная автономия церкви несколько ограничивается. Древнейшее содержание этих иммунитетов шире: всякий суд над церковными людьми принадлежит церковным властям, а дела между ними и сторонними людьми судит «обчий» суд из представителей духовной и светской власти. Позднейшие тексты вносят уже оговорку: «развее татьбы с поличным, таже и душегубления, то судити с моим судьей княжим, а в иные дела никакоже моим не вступатися».

Третье явление того же порядка — боярское землевладение. Насколько можно уловить его древнейшие черты, оно, однако, строилось на принципиально иных основах, чем княжое или церковное. В XI—XII вв. в Киевской Руси не видим еще признаков существования в боярских вотчинах вотчинного суда, вотчинной власти. Время иммунитета, уже народившегося для церкви, для боярства, впереди, в удельной эпохе. Нет данных, чтобы говорить и о княжеских земельных пожалованиях как источнике боярского землевладения. Упоминания о боярских селах случайны и немногочисленны, но это — упоминания мимоходом, как о явлении обычном. В 1150 г. князь Изяслав Мстиславич говорит дружине своей: «Вы есте по мне из Руские земли вышли, своих сел и своих жизний лишився». А князь Владимир Василькович упоминает в своей духовной грамоте село Березовичи, которое он купил у боярина Федорка Юрьевича Давыдовича за 50 гривен кун, 5 локтей скарлату и броню дщатую [1].

Возникнуть это боярское землевладение могло путем заимки и распашки новин на незанятых участках. Ставилось и велось это хозяйство руками челяди. Но потребность в рабочих руках и тут создала применение полусвободного труда. Но отсутствие в руках боярства такой политической силы, какой располагали князь и церковь, создает иной, чисто экономический прием для достижения этой цели,— закупничество. В составе третьей редакции «Русской Правды» исследователи давно отметили ряд статей о закупах, легко выделимых в особый «Устав о закупах» (71—86 и 90). Что же такое закуп?

1. Закуп — свободный человек. За его обиду платеж такой же, «якоже в свободнем». Он стоит под общей подсудностью: может бежать «обиды деля» от своего господина к князю или к судьям. За продажу его в холопы—кара 12 гривен, как и за отдачу в залог другому [2].

2. Свобода его понижена его социальным положением: только «в мале тяже», «по нуже», можно сложить послушество на закупа.

3. Причина этого в том, что он состоит в личной зависимости от господина, который, например, если бьет закупа «про дело», «то без вины есть». А при совершении закупом кражи обращаются

[1] «ПСРЛ». т. II, изд. 2-е (Ипат.), стр. 409, 904.

[2] *М. Ф. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, стр. 59—60, примечание 97; *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, 2-е изд., СПБ 1902, стр. 195.

к господину, который может или заплатить за него и взять его себе в холопы или, если не хочет, продаст его в холопы и уплатит «урок», а остаток себе возьмет.

4. Закуп состоит на чужой работе, и если сбежит от господина, то обращается в полного холопа. Не ясно, всегда ли он «ролейный» закуп. Пашет он; по крайней мере, иногда на своем коне (ср. смердьего коня II редакции), но иногда (еже) получает борону и плуг от господина и должен платить, если их «погубит», как и в том случае, если пропадет господский скот, буде он его не загнал во двор и не запер, как ему велено.

5. Связь господина с закупом — связь договорного обязательства. Содержание и характер договора неясны и вызывают различное толкование: то видят в закупничестве наем с платой вперед, то заем под залог личности с обязательством отрабатывать долг, то соединение и того и другого. Соответственные статьи «Русской Правды» толкуются и переводятся различно[1]. Основных затруднений два: 1) перевод слова *купа* (копа, кова) в статье 74 и в связи с этим толкование статьи 78 и 2) понимание статьи 79.

Купа — обыкновенно переводят — цена, плата. Слово это в таком смысле не указано вне «Русской Правды», и потому другие, например, Владимирский-Буданов, видят тут копну — долю копен половника, а Соболевский предпочитает вариант — кова, толкуя его сопоставлением со словацким chova — корм, польским chow — прокормление. Сторожев переводит — ссуда. В статье 78 слово «отарица» переводят «имущество» на том основании, что суздальский архиепископ Дионисий в грамоте 1382 г. перевел словом этим «peculium». Но «отара» значит стадо и потому Владимирский-Буданов и Соболевский переводят — долю в скоте, стадце. Споры эти, однако, ничего не меняют в общем представлении о закупе как о зависимом, полусвободном человеке, работающем в чужом хозяйстве, с которым его связала та или иная экономическая связь[2].

Перед нами прошел в беглом очерке ряд крупных явлений древнерусской жизни. Вне и над строем народно-общинной жизни создаются новые организации иного типа на началах экономического и политического властвования. Их опора — в крупном хозяйстве, его основа — все разраставшийся элемент полусвободного населения, стоявшего вне обычно правовых отношений народных общин. Князь, церковь, боярство — новые социальные силы, связанные тесно друг с другом, родственные по типу и социально-политическому значению, это явления, пророчащие гибель старому складу жизни волости-государства. И первым шагом к этому результату стало развитие правительственной силы князя.

---

[1] Ср. *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, 2-е изд., СПБ 1902, стр. 189—199; *М. А. Дьяконов*, Очерки общественного и государственного строя древней Руси, стр. 108—110; *М. Н. Ясинский*, Закупы Русской Правды и памятников западнорусского права, «Сборник статей по истории права, посвященный Владимирскому-Буданову», Киев, 1904.

[2] *А. И. Соболевский*, Язык Русской Правды, «ЖМНПр.», апрель 1886 г., стр. 380; Киевская Русь, сборник статей под ред. В. Н. Сторожева, т. I, 2-е изд., М. 1910, стр. 589.

ГЛАВА XIV

КНЯЗЬ-ПРАВИТЕЛЬ

Если мы оглянемся назад, на рассмотренные черты внутреннего строя древнерусской волости-земли, то окажемся перед сложной картиной. Каждая такая волость, объединенная вокруг главного стольного города, состоит из ряда городских (пригороды) и сельских (верви) общин со значительно развитым самоуправлением, самодовлеющих во внутренней жизни своей. Над ними стоит власть веча главного города, нигде, однако, кроме Новгородской и Псковской земель, не выработавшаяся в деятельное управление землею посредством органов городской вечевой общины. Вообще по всей остальной Руси деятельность веча не создала прочной внутреннеобъединенной организации волости. Оно стояло во главе волости-земли лишь в делах высшей политики, а текущие дела по управлению ею оставались в руках либо дробных местных общин, либо княжой администрации.

Рядом с вечем и народными общинами стоит князь — вождь и организатор народного ополчения, глава общего управления земли, охранитель внешней безопасности и внутреннего мира, внутреннего «наряда». В этой двойной роли своей он стоит во главе земских сил народного полка, во главе того союза общин, какой представляется внутренняя организация земли-волости, — он, а не вече. Правда, высшая решающая власть для народного войска и народных общин — вече, а не князь. Правда, полк тысячи земской идет в поход по решению веча, а не по княжому приказу; и «пригороды станут» на том, на чем старшие города «положат», а не на том, что князь решит. Но как войско народное требовало для своих выступлений организующей деятельности князя, так же значительна была его роль в судебно-административной и финансовой организации земли-волости. Если правы историки права, что вече, а не князь, должно быть признано носителем верховной власти древнерусской политии-волости, то, с другой стороны, элементарные нити древнерусской волостной администрации сходились в руках князя, а не веча или каких-либо его органов. В этом оригинальная черта древнерусской государственности. И Корф только затемняет ее своеобразие, называя князя зависимым, несамостоятельным, подчиненным вечу органом управления, которому вече уступало добровольно исполнение из-

вестных административных функций [1]. Вече не могло уступать князю того, чего само никогда в своих руках не держало. И дуализм князя и веча был своеобразным внутренним противоречием в древне-русской государственности, которого не разрешила жизнь Киевской Руси, а потому не должны разрешать в истории русского права искусственные юридические конструкции.

Дело именно в том, что положение и деятельность князя в волости, в сфере управления, фактически не зависели от веча, пока не возникало резких конфликтов, пока не вырабатывались «ряды» между князем и вечем более конкретного и подробного содержания, чем простое взаимное крестоцелование с обещанием князя судить и рядить по правде и, особенно, пока не выработалось постоянных органов веча, ограничивающих и контролирующих его деятельность. А все это произошло только в северно-русских народоправствах.

Более независимое положение князя на киевском юге обусловливалось не только недостатками вечевой организации, но и самостоятельным общественным положением князя, опиравшегося на свой двор и свое землевладение, на дружину, на полусвободное и несвободное население своих сел, на связь свою с церковью и с землевладельческим боярством, т. е. на особую сложную силу, стоявшую вне вечевой и народно-общинной организации и независимую от веча.

И на юге, как увидим, так же как и по всей Руси, кроме Новгорода и Пскова, силой, с которой пришлось князьям считаться, которая вступила с ними в конкуренцию, явилось, в конце концов, не вече народное, а землевладельческое боярство, когда оно окрепло до значения самостоятельной социально-политической силы, стремившейся к подчинению себе и веча и князя. Но прежде чем рассматривать это позднейшее явление, нам надо изучить правительственную роль князя в древнерусской волости XI и XII вв.

Я как-то назвал народные общины — городские (пригороды, сотни) и сельские (верви) — главным орудием для поддержания обычно-правового порядка и внутреннего мира всей волости. А теперь характеризую князя как охранителя этого мира и порядка, стоящего во главе судебно-административной организации всей земли-волости. Необходимо выяснить взаимные отношения княжой администрации и общинного самоуправления.

В центре древней администрации стоит судебное дело. То, что можно назвать древней правительственной властью, не вмешивалось в текущую жизнь, не пыталось регулировать ее нормальное, обычное течение. Акты ее возникали лишь в случаях нарушения обычного порядка, в случаях необходимости защитить и восстановить его. Именно защита внешней и внутренней безопасности составляет суть и назначение древней правительственной власти.

Наибольшей активности от нее требовала первая из этих задач — охрана внешней безопасности. Тут все лежало на князе — и организация военной силы, и ее экипировка оружием и конями, и руко-

---

[1] *С. А. Корф*, История русской государственности, т. I, стр. 68.

водство военными действиями. Дельный князь должен военным делом сам заведывать: «вышед на войну» «не лениться», «не зреть на воеводы»; «ни питью, ни еденью» «не лагодить», «ни спанью»; «и стороже» «сам должен наряживать», а ночью «отовсюду нарядивше около вои» может лечь, по рано встать, «а оружия не снимать с себя вборзе, но все розглядавше» [1]. И военные неудачи объяснялись иногда тем, что «князя не было, а боярина не все слушают». Для этой военной деятельности своей князь-правитель почерпал и личные силы и материальные средства из недр того социального организма, который создался вокруг него из круга дружины княжой челяди, подвластного населения [2] княжих сел и из своего княжого хозяйства. Организация личного постоянного княжого войска, ядро которого составляла дружина, — дело, начавшееся в изучаемую нами эпоху, — дала новую и могучую опору княжой силе в дальнейшем.

Что же касается активности княжой деятельности в охране внутреннего «наряда», то она развивается и усиливается лишь постепенно. Княжеская администрация и княжой суд постепенно расширяют сферу своего значения. Расширение это и внешнее и внутреннее. Внешнее в том смысле, что княжие суды были вначале редкостью, постоянно функционировали только в крупных городских центрах, и лишь постепенно утверждаются и в менее значительных пунктах, лишь наездом появляясь в среде сельского населения, предоставленного собственной своей управе. Внутреннее — в постепенном расширении самой компетенции княжой власти, круга лиц и дел, подчиненных ее решению.

Это, прежде всего, потому, что самый характер древнего судебного дела предопределял большую пассивность судьи, будь то князь, будь то судящий по поручению князя муж княжой.

Начать с того, что в старину сама заинтересованная сторона производила следствие, без участия представителей какой-либо власти. Потерпевший должен найти доказательства своего иска — свидетелей, поличное. Он сам должен отыскать преступника путем свода, гонения следа, или обеспечить себе право на возврат краденого или право иска против вора путем «заклича на торгу» — объявления об утрате. Если ему в этом нужна была помощь, то искать ее приходилось, прежде всего, у соседей, у тех, кого соберет криком на гонение следа, у свидетелей, каких соберет, чтобы перед ними сделать свои заявления, констатировать нужные ему факты. Повидимому, несколько позднейший уже порядок, не заменивший старого, а лишь его дополнивший, рисует статья 146 III редакции «Русской Правды», что если истец найдет украденного холопа в чужом городе, то должен заявить посаднику и взять у него отрока,

---

[1] См. «Поучение» Владимира Мономаха (Лавр., стр. 332 и сл.).

[2] Мы видим в некоторых известиях летописей смердов в войске (см. статью Б. А. Романова),—это слуги княжие (и дружины?), обозная челядь, вооруженная, быть может, но не воины в собственном смысле слова. *Б. А. Романов*, Смердий конь и смерд в летописях и в Русской Правде, «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», кн. XIII, 1908 г.

с которым и итти, чтобы «увязать» холопа. За это истец должен уплатить отроку «вязебное» — 10 кун. Сам же истец вызывает на суд противника, и стороны условливаются о сроке, когда им стать перед судьей. Так и перед судьей все дело ведут стороны в форме состязания, а роль его может быть названа ролью лишь председателя, руководящего процессуальной борьбой, которая должна итти в строго установленной обычаем форме, и затем констатировать исход ее вполне формально, как предрешает тот или иной исход обычай. Наконец, и само исполнение приговора лежит на выигравшем процесс. Не говоря уже о древнейших временах родовой мести, кредитор сам устраивал продажу должника или обиженный сам расправлялся с обидчиком, подлежащим телесной каре. Помощь должностных агентов лишь предполагается возможной и, повидимому, эвентуальна. С тех, «кому помогуть», они в таком случае получают особые «уроци» в зависимости от величины иска.

При таком характере процесса главное назначение суда состояло в определении тех норм обычного права, которые подходили к данному случаю, но не в этом была роль княжого судьи. Правда, мы мало знаем об этой стороне дела, но аналогия судебного дела у германцев и западных славян позволяет представить себе дело так, что самое «нахождение права», предрешавшее приговор, было функцией присутствовавших на суде членов местной общины. Один памятник древнерусской письменности называет судебный процесс: «прюсъставить перед князем и *перед людьми*» [1]. С другой стороны, в иных делах отзыв послухов-свидетелей бывал, по существу, приговором и установлением обычно-правовой нормы для данного случая (ср. III редакцию, 110: «А тыя же тяже все судят послухи свободными»). Так в статье 19 древнейшей «Русской Правды» читаем: «Аще где взыщеть на друзи проче, а он ся запирати начнеть, то ити ему на извод пред 12 мужа».

Как видите, общинный характер судебного дела лежит яркой печатью на всех основных чертах древнего судопроизводства. На общине лежали, как мы раньше видели, обязанность борьбы с преступлениями, преследование преступников, то, что можно назвать полицейским делом, в тесном смысле слова. Ведомых лиходеев — разбойника (III редакция, 10) и конокрада (III редакция, 42) — она выдает князю на уголовную кару, на поток. Если все основные судебно-административные функции того времени лежали, так. обр., на самом населении, то к чему сводилась тут роль княжеской власти?

В ответе на такой вопрос надо различать личный суд князя и отношение княжеской власти к общинному самоуправлению и суду. Древняя Русь придавала особое значение личному суду князя, лишь неудовлетворявшим население суррогатом которого считался суд княжих людей. Княжой суд — особый вид суда, и его значение можно понять, только приняв во внимание, что усложнение и видо-

---

[1] Вопросы Кирика епископу Нифонту, «Русская историческая библиотека», т. VI, стр. 46.

изменение жизни, особенно в городских центрах, создавало ряд правовых вопросов, не раз решавшихся традиционным народным обычным правом. Устойчивое, медленно изменяющееся, консервативное по самой сути своей обычное право легко отстает в своем развитии от потребностей жизни. И тут основная причина крупного значения князя как судьи. Его суд не связан в своих решениях строгой зависимостью от обычного права. Случаи сложные, неясные, новые, случаи, при которых применение обычного права привело бы к явной несправедливости, — вот, прежде всего, область княжого решения. Это judicium aequitatis[1], игравшее существенную роль в развитии права у всех народов. Это фактор творчества нового права путем прецедентов, какими становились отдельные княжие приговоры.

Такое значение признавалось, прежде всего, за личным судом князя. Личное его судопроизводство входило нормальным элементом в постоянную деятельность князя. В расписании княжого дня у Владимира Мономаха входит и момент — «людей оправливати». И в принципе от князя ожидали весьма широкой судебной практики. На нем в глазах населения лежала и ответственность за суд его людей, судивших по его поручению. Именно тем, что весь суд судей считался княжим, объясняется, что судьями мы видим не только бояр-посадников, но и тиунов, которых следует представлять себе либо несвободными слугами князя, либо людьми из младшей дружины княжой. Это суд — на княжом дворе, суд перед князем, суд князя и судей, повидимому, без принципиальной разницы. Всякий суд — княжой, потому и не возникало понятия апелляции. Характерен в этом отношении рассказ (Ипат., 1146 г.), как киевляне, требуя смены прежних тиунов притеснителей, говорят: «а ныне, княже Святославе, целуй нам крест и с братом своим: аще кому нас будеть обида, то ты прави», требуя личного контроля князя над деятельностью тиунов. Мы видим тут нечто аналогичное с тем, что уже наблюдали в других вопросах: княжая сила вступает более гибким, творческим фактором в крепкий традицией, но косный склад народной жизни.

В такой же организующей и руководящей роли, как в деле военном, видим княжую силу и в ее отношении к народно-общинному самоуправлению. На нем, как мы уже знаем, лежала львиная доля текущей судебно-административной деятельности. Княжой суд, не только личный, но и через заместителей, был мало доступен народной массе. Он играл свою роль только в городских центрах, лишь наездом вмешиваясь в жизнь сельских общин. Но и эта несовершенная форма вмешательства имела свой глубокий исторический смысл как характерный момент в развитии древнерусской государственности.

В чем же она состояла? Как в вопросе об определении прав лиц, стоящих вне обычно-правовых союзов, так и в деле воздействия на деятельность (судебно-административную) народных общин, княжая власть берет на себя развитие права и судебно-административной практики в тех случаях, где обычный порядок оказывается

---

[1] «Решение по справедливости».

недостаточным. Так, это воздействие сказывается, например, в такой форме, которую можно назвать карой верви за бездействие.

Примером может служить дикая вира: за мертвое тело, найденное на общинной земле, платит община за то, что не отыскала и головника, убийцу («а головника не ищють», «Р. Пр.», III ред. ст. 5). Другой пример дает статья 95 III редакции: «Аже будеть росечена земля или (на земли) знамение, им же ловлено, или сеть, то по верви искати татя, ли платити продажу». Ланге удачно связывает эту статью с предыдущей (ст. 94): А«же украдеть кто бобр, то 12 гривен», понимая так, что если в месте бобрового промысла найдены будут следы или остатки орудий ловли, то обязательно для жителей гонение следа — розыск вора по верви или уплата 12 гривен продажи за неотыскание вора. Это правило, сходное с обычаем дикой виры,— частный случай общего установления, которое видим в статье 102 III редакции, где село, которое не отсочит от себя следа, не идет по нему или отобьется от гонящих след, платит и татьбу и продажу. Во всех этих случаях видим ответственность населения за бездействие по отысканию преступника или возможное укрывательство его. Ибо при обстоятельствах, где нет данных для розыска или для подозрения, что преступник должен оказаться в данной среде, нет и платежа: статья 20: «А по костех и по мертвеци не платить верви, аже имени не ведають, ни знать его», и статья 102: «Аже погубять след на гостиньце на велице, а села не будеть, или на пусте, где не будеть ни села, ни людии, то не платити ни продажи, ни татьбы». Но воздействие княжой власти на судебную деятельность народных общин не ограничивается этими случаями. Она налагает руку на все процессы, на все преступления, требуя, наряду с вознаграждением потерпевшего, и уголовной кары в свою пользу, вир или продаж, смотря по характеру преступления.

Прежде, чем разбирать по существу это явление, попробуем дать себе отчет в том, как оно возникло.

Начнем анализ этого вопроса с одного места летописного рассказа о Владимире Святославиче. Под 996 г. читаем в Лаврентьевской летописи: «Живяще же Володимер в страсе божьи и умножишася разбоеве, и реша епископи Володимеру: «се умножишася разбойници; почто не казниши их?». Он же рече им: «боюся греха». Они же реша ему: «ты поставлен еси от бога на казнь злым, а добрым на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытом». Володимер же отверг виры, и нача казнити разбойникы. И реша епископы и старцы: «рать многа; оже вира, то на оружьи и на коних буди». И рече Володимер: «тако буди». И живяше Володимер по устроенью отню и дедьню».

В. О. Ключевский посвятил толкованию этого отрывка особое приложение «Боярской думы». Указывая, что слово «казнь» в древнем языке отнюдь не имеет значения смертной казни (Ипат., 226: «Володимер же, вшед в Галичь, многы люди исече, а иные показни казнью злою»; «Русская Правда»: князь холопов «продажею не казнить»), а означает вообще наказание, в частности же, наказание правительственное, возмездие от правительства, и если это денеж-

ная пеня, то в пользу правительства, а не частных лиц. Ключевский видит в рассказе о совете епископов казнить разбойников указание на то, что «при Владимире — действовало другое уголовное право, не похожее на «Русскую Правду», по которой (III, 10) разбойник наказывался «потоком и разграблением». Кроме того, в словах, что Владимир «отверг виры, нача казнити разбойникы», Ключевский видит свидетельство о том, что «при нем вира не была штрафом в пользу князя», так как Владимир виру за разбой заменил казнью, а по «Русской Правде» вира и есть казнь, уголовная пеня в пользу князя.

Что же касается второго известия о том, что Владимир принял совет епископов: «оже вира, то на оружье и на коних буди», — то, по Ключевскому, оно не стоит в прямой связи с предыдущим, а сообщает о другом, новом постановлении. Первое заменяло виру за разбой каким-то правительственным наказанием (потоком и разграблением?). Второе обращало виру вообще, т. е. все остальные виры, в «казнь», в наказание правительственное, каким они являются в «Русской Правде». Таким образом, заключает Ключевский, «оба постановления Владимира ставят нас при начале законодательного процесса, создавшего «Русскую Правду» [1].

Этот остроумный комментарий можно поддержать некоторыми наблюдениями над «Русской Правдой». Древнейшая редакция ее еще не знает «казни» вирами и продажами. Она устанавливает или, точнее, записывает цифры платы «за голову» или «за обиду», а кому шла эта плата, видно из статьи 6-й: «аще ли себе не можеть мьстити (подвергшийся побоям), то взяти ему за обиду 3 гривны, а лечьцю мьзда». Повидимому, из уплат, в ней упоминаемых, князю шла только та 40-гривенная плата, какая полагалась по статье 3 за лиц, состоявших под княжой защитой.

Картина меняется, как только мы от этой древнейшей «Правды Русской» перейдем к той, которая «установлена Русской земли, егда ся совокупили Изяслав, Всеволод, Святослав» с мужами своими. Тут рядом с установлением двойной 80-гривенной виры за убийство княжих людей: огнищанина, ездового, княжа тиуна, конюха; рядом с перечнем «уроков» за княжих людей, как сельский или ратайный княжий староста, рядович, смерд и холоп, «уроков» в вознаграждение за пропажу имущества, встречаем впервые различение в пене за преступление — «урока» за убыток, и уголовного штрафа — продажи в пользу князя. Например, статья 15: «Аще ли лодью украдеть, то за лодью платити 30 резан, а продажи 60 резан», или статья 16: «а в голуби и в куряти 9 кун, а в утке и в гуси и в жерави и в лебеде 30 резан, а продажи 60 резан». Или статья 32: если и 10 человек одну овцу украли, «да положат по 60 резан продажи». В этой редакции мы не находим указаний на различие в плате за убийство соответственно различию урока и продажи при краже двух элементов: головщины в пользу родных убитого и уголовной виры в пользу князя. Это понятно: она, эта «Правда Ярославичей», в ру-

[1] *В. О. Ключевский*, Боярская дума в древней Руси, приложение II.

списках не встречается отдельно, а приписана к первой, древнейшей. Но некоторые статьи III редакции дают нам ясное представлени и об этом: при плате за убийство виру платит в известных случаях вервь по раскладке, а головничество уплачивает целиком сам головник, внося и свою долю в 40 гривен виры (обычной).

Может быть, есть некоторое основание предположить, что практика взыскания в пользу князя «продаж» с провинившихся в краже установилась первоначально в среде княжого управления населением княжих сил. По крайней мере, III редакция «Русской Правды», повторяя «уроци скоту», т. е. таксу плат за кражу скота, приведенную во II редакции, где, как мы видели, слово «смерд» означает полусвободного поселенца на княжой земле, замечает: «то ти уроци смердам, оже платят князю продажу». Но если и так, то несомненно, что взыскание не только вир, о чем свидетельствуют статьи о верви, но и продаж, распространилось на всю судебную практику в земле-волости и касалось всего населения. Об этом свидетельствует вся III редакция «Русской Правды», о том же говорят и княжие грамоты XII в.

Недостаток известий крайне затрудняет попытку пояснее представить себе, как тут происходило дело. Сбор судебных доходов в пользу князя легко представить себе на суде княжом, самого ли князя или княжого мужа. Но как осуществлялся он в сельских общинах, в суде местном? Если мы обратимся к аналогиям германского мира, то найдем там ряд явлений, которые, быть может, пояснят нам некоторые черты, отразившиеся и в наших источниках. Увидим там конунга, или княжого графа, или иного княжого судью, объезжающего волость, чтобы созывать в заранее назначенные сроки судебную сходку местного населения, творить с нею суд и расправу. Но у нас нет следов того [1], чтобы такая практика получила сколько-нибудь широкое значение. Возможно, что князья и княжие посадники во время своих разъездов творили суд и расправу. Можно, пожалуй, указать и рассказ летописи, как в 1071 г. «приключился прийти на Белоозеро от Святослава дань емлющу Яневи, сыну Вышатину, и поведаша ему белозерци яко два кудесника избили многы жены»[2]. Но пример этот не совсем-то подходящий, так как речь шла не о местных жителях, а о княжих смердах, и судит их сам Ян. Источники нам говорят не о разъездах судей для суда, а только о разъезде княжих вирников для сбора вир. Правда Ярославичей устанавливает, сколько корму себе и слугам своим может брать у населения вирник в неделю, пока соберут виру, и сколько коней имеет право кормить. Эту таксу она называет «уроком Ярославлим». Как виры собирает вирник, так продажи — емец (II редакция, 24, 23). Это обстоятельство надо сопоставить с данными грамот новгородского князя Святослава Ольговича 1137 г. и уставной грамотой смоленского князя Ростислава Мстиславича смоленской епископии 1150 г.

---

[1] Над строкою приписано: «есть? Лавр., под 1190 г.? Ср. 1154, Новг. IV».
[2] «ПСРЛ», т. II, изд. 2-е, стр. 165.

Первая дает св. Софии новгородской десятину от дани, от вир и продаж, определяя последнюю круглой ежегодной цифрой в 100 гривенных кун. Вторая называет доход с села Дедичей — «дань и вира 15 гривен». И обе оправдывают вопрос Владимирского-Буданова: «Каким образом вира могла попасть в окладные доходы?» и его ответ: «Ясно, что общины откупались от платежа виры общей суммой, условленной заранее», а преступников судила и карала в таком случае сама община [1]. С этой точки зрения толкует Грушевский и статьи «Русской Правды» о вирнике и емце. «Князь, — говорит он, — оставлял общинным судам полную свободу, и только от времени до времени посылал своих агентов собирать виры и продажи, которые должны итти в княжую казну с виновных». Но если данным грамот XII в. такое понимание дела вполне соответствует, то в толковании «Русской Правды» остается трудность. Тут доход вирника определен в виде процента не с какой-либо общей оброчной суммы, а с каждой виры; так и доход емца — процентом с каждой 12-гривенной продажи. Предположить же, что сбор вир вирником совпадал с судебной сессией, мешают слова: «а борошна колко могут изъясти, доцдели же виру соберуть вирницы» и отсутствие корма для судьи. Или сам вирник был председателем судебной сходки, играя при ней только роль блюстителя княжого дохода?

В датских судебных собраниях, сотнях, видим вместо судьи — королевского umbuzmann (exactor regis), который собирает пени, помогает исполнению приговора и руководит судом.

Тут еще много неясного. Но как бы то ни было, совокупность имеющихся данных заставляет признать, что упомянутое воздействие княжой власти на судебно-административное дело земли-волости не развилось до такой степени, чтобы она взяла это дело последовательно в свои руки. Воздействие это осталось внешним и поверхностным. Таким осталось оно и за пределами рассматриваемого нами периода. Достаточно прочесть для северной Руси, например, уставную белозерскую грамоту 1488 г. или для Руси западной познакомиться с характером народных копных судов в Литовско-Русском государстве, чтобы убедиться в правильности нашего освещения судебно-административного дела в древней Руси. Воздействие княжой власти на это дело не доразвилось до действительного заведывания им. Отношения, сложившиеся к концу рассматриваемого периода, характеризуются по-старому широкой самодеятельностью народных общин, предоставленных себе в деле внутренней управы, под внешним воздействием княжой власти выродившимся, в конце концов, в средство извлечения дохода, ставшего окладным и взимавшегося в виде общей ежегодной суммы «вир и продаж» вместе с данью.

Это приводит нас к рассмотрению финансовых средств, извлекавшихся князем из волости, княжих доходов. «Всякий налог, — скажем словами В. И. Сергеевича, — первоначально возникает

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. 1, стр. 260, примечание 25.

в форме окупа, платы за мир и спокойствие сильным соседям с тем, чтобы они не воевали, не нападали: это дань»[1]. При организации специальных средств самозащиты дань обращается в сбор на содержание князя и дружины. Новгородцы платят варяжской дружине «мира деля», дань идет князю на содержание дружины, отроков, детьских. Таково основное назначение волостных доходов князя: содержание дружины, заготовка оружия и коней для нее и народного ополчения. Летописный свод XIII в. хвалит старых князей: «Ти князи не сбираху многа имения, ни творимых вир, ни продаж вскладаху на люди; но оже будяше правая вира и ту возма, даяше дружине на оружие»[2]. Единицей обложения были дым или рало; и они переживают киевский период: впоследствии в Западной Руси господствует подымная, а в Московской — посошная подать. Способ определения ее размера — неизвестен; вероятно, он устанавливался обычаем как «урок». Древнейший способ сбора — полюдье, носившее характер военного похода по дань с дружиной. Позднее видим князя «Ростове в полюдьи», «в Переяславли в полюдьи», под чем можно понимать разъезды князя для суда и расправы и сбора дохода[3]; или видим княжого мужа, ездящего по погостам «дань емлющи». Так и вирник ездит собирать виры. При разъездах князя и его людей они получали корм от населения и подарки — «полюдье даровное», «ссадную гривну», прикладную. Сборщики княжих доходов получали известный процент в свою пользу. Вирник — с 40 гривен — 8, с 80 гривен — 16. Дань княжую собирали посадники, получая свою долю. Грамоты XII в. называют ее «боярскою данью».

Кроме этих сборов, видим пошлины, которые мы назвали бы косвенными налогами, как мыто, сбиравшееся мытниками в торговых пунктах, перевоз, судебные пошлины. Но, как мы видели, они обращались иногда в своего рода окладные сборы, уплачивавшиеся населением данной местности в форме общей откупной суммы. Поэтому и слово дань получило позднее более широкое, общее значение, как читаем в позднейших жалованных грамотах: «а не надобе ему никоторая моя дань ни мыт, ни мостовщина, ни коня кормити». Рядом с такими сборами стоят натуральные повинности: содержание приезжего князя с его свитой или княжих мужей, обязанность «кормить коней», кормить и постоянных должностных лиц данного города — посадников. Повинность населения составляли постройка и ремонт укреплений, мостов, «городовое дело». В «Русской Правде» находим «уроци городнии» — сколько платить городнику и давать ему корма, пока он руководит работой и «город срубит» (III редакция, 126), или мостнику, который мост мостит (III редакция, 127). От конца XIII в. Ипатьевская летопись (1289 г.) сохранила любопытную грамоту князя Мстислава Даниловича: «Се аз князь Мстислав, сын королев, внук Романов, уставлюю

---

[1] *В. И. Сергеевич*, Лекции и исследования, стр. 326.
[2] «ПСРЛ», т. V, стр. 87.
[3] Лавр., стр. 387, под 1190 г., Новг. IV; «ПСРЛ» (т. IV, стр. 9), под 1156 г.

ловчее на Берестьяны и в веки, за их коромолу: со ста по две лукне меду, а по две овцы, а по пятинадесять десятков льну, а по сту хлебов, а по пяти цебров овса, а по пяти цебров ржи, а по 20 кур; а потолоку со всякого ста; а на горожанах 4 гривны кун; кто мое слово порушить, а станет со мною перед богом» [1].

Но это позднее известие, не характерное для предыдущего времени. Это — памятник усилившейся вотчинной власти князя над землею при переходе к новому, удельному строю.

Как судебно-административная деятельность князя не развилась до действительного управления волостью-княжением, так и совокупность приемов извлечения доходов не сложилась в финансовую систему. Нет и повода говорить даже о зачатках того, что мы называем государственным хозяйством. Правительственная власть князя не доросла за изучаемый период до государственного властвования. Поэтому она и не могла стать силой, которая создала бы единое и прочное государство. И когда в конце изучаемого нами периода, в XIII в., княжеско-дружинный строй пошатнулся в Киевщине и был внешней силой сметен с областей южной окраины Русской земли, они рассыпались на мелкие автономные общины. Ни вечевой строй, ни княжеско-дружинная сила не создали прочного, устойчивого их единства. А где княжая власть удержалась, там она овладела землей на новых, вотчинно-владельческих началах, сама раздробляясь и землю раздробляя на ряд удельных единиц.

---

[1] «ПСРЛ», т. II, изд. 2-е, стр. 932.

ГЛАВА XV

КНЯЗЬ-ПРАВИТЕЛЬ
«РУССКАЯ ПРАВДА» И УСТАВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Выяснившийся из предыдущего общий характер правительственного значения древнерусских князей отчасти предрешает представление об их участии в правообразовании данной эпохи.

Не вдаваясь в сложные вопросы философии права и психологии правообразования, мы можем ограничиться следующими исходными точками зрения для разбора вопроса о характере древнерусского права.

Из общего строя обычаев, какими определялось обычное течение древней общественной жизни, те приобретают правовой характер, назначение которых охранять личность и имущество членов общества. На практике это те из обычаев, которыми определяется деятельность самих общин и органов управления в сфере суда, в широком смысле слова «суд», как означающего всю совокупность приемов охраны прав населения от их нарушения и восстановления этих прав в случае их нарушения. Это — древнерусское значение слова, обнимавшего, как выше было отмечено, всю совокупность административных действий по установлению и защите внутреннего наряда.

В эпоху господства обычного права, при возникновении вопроса о его нарушении и восстановлении, оно, прежде всего, предполагается существующим и в отношении к данному случаю должно быть «найдено», «высказано», как красноречиво подчеркивают самые названия постановляющих приговор у германцев: «Rechtssprecher», «Urtheilsfinder»; то же основное представление лежит и в корне нашего слова суд (суждение). Право надо в спорном случае найти и формулировать. Эти формулы права — в виде судебных приговоров — становятся прецедентами: найденные формулы облегчают нахождение и применение права на будущие потребы. Понятно, что сама формулировка может естественно вносить сознательные или бессознательные изменения в действующее право, обращаясь в его толкование, расширение, дополнение при его применении к новым случаям.

Усложнения жизни, создающие ряд явлений, не предусмотренных обычным правом, вызывают потребность в действиях, дающих правовое определение таким явлениям, которых не уложить в рамки

обычного права путем даже свободного и расширительного его толкования, так как они стоят вне обычного уклада жизни. Эта потребность, как мы видели, создает, прежде всего, значение княжого суда, как «judicium aequitatis» [1], не связанного строго нормами обычного права. И такое новое или измененное право, не коренящееся в обычно-правовой мудрости и памяти старейшин-старожильцев, естественно, раньше всего приводит к потребности записи, начатков кодификации. Ей удовлетворяют «уставы», формулирующие нормы новой судебно-административной практики, или «своды», составляемые для памяти. Запись сама по себе вначале не меняет юридического характера этих норм и не имеет юридического значения. Но технические преимущества писанного памятника перед простой памятью людей придают ему значение источника права, характер официальности. Запись становится уставной грамотой, уложением, авторитетным документом с правовым весом. Но такое значение памятников кодификации — позднейшее явление. Первые записи — лишь вспомогательное средство для памяти, без самостоятельного правового значения. Поэтому и содержание их отличается неполнотой и односторонностью. Они и не стремятся обнять все содержание древнего права, предполагая основную массу его хорошо известной и памятной всем. Кроме того, самые условия возникновения старейших записей права предопределяют и еще одну их черту — отсутствие того, что мы назвали бы системой. Составители древних записей имели в виду не те или иные общие теоретические понятия о разных сторонах права, а практику суда и его органов. Перед ними картина судебного состязания, спора о праве, и они записывают те правила, по которым эти состязания должны вестись и разрешаться. Существенное содержание их сводится к определению предметов тяжб и правил для их разрешения судом. Наконец, это содержание определяется и еще одним моментом: те интересы, обеспечение которых побуждало к составлению записи, диктовали особое внимание к той или иной стороне дела, например, к доходам князя от судебного дела, к определению правил тяжб того или иного содержания и т. д.

Что сказать о древнейших записях русского права? Вопрос о них прекрасно поставлен Ключевским в XIV лекции его «Курса русской истории» как вопрос, который еще не разрешен нашей исторической наукой и для решения которого материалы далеко еще не собраны с желательной полнотой. Именно Ключевский указывает на разбросанные в нашей древней письменности «следы частичной кодификации», состоящие в том, что в древнерусской письменности, преимущественно церковно-юридической, встречаем «одинокие статьи русского происхождения, как будто случайно попавшие в то место, где мы их находим, не имеющие органической связи с памятником, к которому они прицеплены». И Ключевский указывает примеры таких статей в сборниках, как «Книги законные», «Мерило праведное», главное содержание которых — выдержки из визан-

---

[1] «Решение по справедливости».

тийского законодательства, отмечая при этом, что «другие такие же бродячие статьи попадали только в некоторые списки «Русской Правды» более позднего времени, не попав в древнейшие».

Это наблюдение Ключевского имеет весьма существенное значение для правильного понимания так называемой «Русской Правды», разъясняя ее характер как компиляции очень сложного состава. Указывая, что «систематической кодификации, из которой выходили памятники, подобные «Русской Правде», предшествовала частичная выработка отдельных норм, которые потом подбирались в более или менее полные своды или по которым перерабатывались своды, раньше составленные», Ключевский полагает, что «участием такой частичной выработки и разновременного подбора статей в составлении «Русской Правды»... «можно объяснить несходство списков «Русской Правды» в количестве, порядке и изложении статей».

Итак, в ряде списков «Русской Правды» перед нами сложная компиляция, пересоставлявшаяся в течение долгого времени из разнородного материала. И в неизданных рукописях ее есть элементы, которые не вошли в списки обнародованные и изученные, так же как ряд элементов того же типа и той же эпохи находятся в других компиляциях, например, в памятниках церковно-юридической письменности или в тех вопросах-ответах, какие возникали как результат пастырской деятельности епископов.

«Русская Правда» — сложная компиляция, напоминающая своими судьбами в старой письменности наши летописные своды. Это необходимо иметь в виду при изучении права «Русской Правды». Изучая его, мы стоим не перед законченной системой, а перед рядом наслоений, разновременных и разнохарактерных.

Сказанного не следует преувеличивать. Те разрозненные материалы и варианты, которыми необходимо окружить «Русскую Правду» для полного и систематического ее изучения, не могут существенно изменить наше представление об основных типах, или редакциях, памятника. По крайней мере, все, что пока известно, не колеблет этого представления в его целом, хотя, несомненно, что понимание и оценка отдельных составных частей и статей «Русской Правды» может много выиграть от дальнейшего изучения указанного, еще неиспользованного материала.

Списки «Русской Правды» делятся на три редакции. Сергеевич первую из них расчленяет на две, что не составляет само по себе принципиального разногласия, так как первая редакция обычного счета (17 + 26 = 43 статьи) есть соединение в рукописях двух редакций Сергеевича (25 + 25 статей), причем никто не отрицает их разновременного происхождения. Кроме того, при пользовании «Русской Правдой» нельзя упускать из виду, что деление ее на статьи есть уже комментарий к ее содержанию: его нет в большей части рукописей, и встречающиеся в некоторых списках опыты деления на статьи (независимо от заголовка, с помощью киноварных букв) есть также комментарий, но не современного ученого, а старого книжника. А, между тем, как мы видели на примере статей о наследстве,

разрыв или признание связи по содержанию двух соседних статей имеют существенное влияние на понимание их содержания.

Ключевский из своей характеристики компилятивного характера «Русской Правды» делает еще один существенный вывод, предостерегая от стремления видеть во всех статьях «Русской Правды» согласованное содержание. Так, он указывает, что не только денежный счет «Русской Правды» не может быть сведен к единству, — в ее таксе денежных взысканий «отразились все денежные курсы, испытанные русским рынком в XII в.», — но не может быть примирено и содержание некоторых статей без предположения, что они разновременные и что «Русская Правда» — «сводная кодификация, старающаяся собрать в одно целое всякие нормы, какие она находила в своих источниках». Примеры приводятся такие:

Статья 57, III редакции: «Аже будут холопи татие... их же князь продажею не казнить, зане суть не свободни, то двоичи платить ко истцю за обиду».

Статья 83: «Аже холоп обельный выведет конь чей-любо, то платить зань 2 гривны», т. е. столько же, сколько и со свободного по статье 55.

Статья 154: «Аже холоп крадеть кого-любо, то господину выкупати и любо выдати и с ким будуть крал... паки ли выкупает господин [и соучастников]».

Или статьи 25 и 27: «Аже кто ударить мечом не вынез его или рукоятию, то 12 гривен продажи за обиду». «Аже кто кого ударить батогом, любо чашею, любо рогом, любо тылеснию, то 12 гривен».

Статья 36: «Аче попхнет муж мужа... любо по лицю ударит, то 3 гривны продажи» [1].

Чтобы покончить замечания о том, что сделал Ключевский для правильной постановки вопроса о «Русской Правде», я должен коснуться его объяснения и его происхождения. Этому посвящена лекция 13 его «Курса русской истории», где доказывается, что «Русская Правда» явилась ответом на «нужды местной церковной юрисдикции» и была попыткой «составить кодекс, который воспроизводил бы действовавшие на Руси юридические обычаи применительно к принесенным церковью или измененным под ее влиянием понятиям и отношениям».

Теорию эту, подробно развитую Ключевским, надо признать *неудачной, прежде всего, потому что она построена на пространной редакции «Русской Правды», а не на древнейшей, более первоначальной.* Только к ней приложимо главное основание Ключевского, что «Русская Правда» является не как особый самостоятельный судебник, а только как одна из дополнительных статей к «Кормчей». Другие же два, что «Русская Правда» не знает судебного поединка потому-де, что церковь его не признавала и что «Русская Правда» «составлена не без влияния памятников церковно-византий-

---

[1] На стр. 292 Ключевский называет 12-гривенную продажу «четверной» по отношению к 3-гривенной, на стр. 279 объясняет разницу различием денежных единиц, ср. «только» на стр. 278.

ского права», сильно преувеличены. Максимейко в статье «Русская Правда» и «литовско-русское право» указал, что «всего вероятнее молчание «Русской Правды» о поединках объясняется тем, что она возникла в той местности, где поединки не практиковались: ни в законодательных памятниках, ни в судебных актах княжества Литовского нет указаний на судебные поединки» [1]. В наших источниках судебный поединок упоминается впервые в договоре Смоленска с немцами 1229 г. [2] Владимирский-Буданов и Сергеевич полагают, что судебный поединок у нас был в ходу с древнейших времен и что умолчание «Русской Правды» случайно [3]. Грушевский считает вопрос открытым[4]. Но наблюдение Максимейко требует внимания и делает это умолчание многозначительным, впрочем, не в пользу Ключевского, так как, с одной стороны, в «Русской Правде» встречаем испытания железом и водой, еще более трудно примиряемые с воззрениями церкви и исчезающие в XIII в., а с другой — господство «поля» в праве московском трудно понять как реакцию в пользу обычая, столь резко осужденного церковью в древней Руси. Преувеличивает Ключевский и влияние византийского права, видя его в статьях, которые не содержат ничего типично византийского, а дают нормы общие и западноевропейским варварским «правдам», где мудрено установить черты византийского влияния. Таким образом, теория Ключевского 1) может относиться только к одной из редакций «Русской Правды», 2) построена на соображениях, по крайней мере, спорных и 3) не разрешает вопроса о происхождении «Русской Правды» в его целом.

То, что я решился бы даже назвать основной ошибкой Ключевского, состоит в недостаточной оценке древнейшей краткой редакции «Русской Правды», т. е. первых двух редакций, по Сергеевичу, и в переоценке III редакции, пространной. Ключевский о первой подчеркивает, что он «обыкновенно попадается в памятниках чисто литературного свойства, не имевших практического судебного употребления» — в летописных сводах, а «Русская Правда» пространная встречается большей частью в сборниках канонического содержания, — и отсюда заключает, что «Русская Правда» жила и действовала в церковно-юридическом обществе», и потому ее преимущественно и изучает как памятник действовавшего права [5].

Думаю, что ближайшее рассмотрение различных редакций «Русской Правды» приводит скорее к обратной оценке их сравнительного значения.

---

[1] В «Сборнике статей по истории права, посвященных М. Ф. Владимирскому-Буданову», К. 1904.

[2] Договор смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ригой, Готландом и немецкими городами 1229 г., в «Хрестоматии» Владимирского-Буданова, стр. 113.

[3] *М. Владимирский-Буданов*, Обзор истории русского права, стр. 646 и сл.; *В. И. Сергеевич*, Лекции и исследования, стр. 593.

[4] *М. Грушевский*, История Украины Руси, т. III, стр. 247.

[5] «Русская Правда» получила законченный состав во второй половине XII и в начале XIII в. (264).

Древнейшая редакция «Русской Правды» сохранилась всего в двух списках (Академический, в списке конца XV в., Новг. I Академии наук, и Археографический, рукопись Новг. I лет. Археографической комиссии половины XV в.). Эти списки дают подряд два памятника, которые Сергеевич и различает, как I и II редакции «Русской Правды». Первая (17 ст.= 25 ст.) носит печать наибольшей древности. «Краткую редакцию, — говорит Ключевский, — можно признать первым опытом кодификационнго воспроизведения юридического порядка, установившегося при Ярославе и его сыновьях». Первая ее половина—древнейшая «Русская Правда», по Сергеевичу, составлена в первой половине XI в., во времена Ярослава: это надо думать на том основании, что в нее внесена статья, приписываемая III редакцией Ярославу (22 и 88 ст. «бьють—убьють», так Сергеевич, Владимирский-Буданов, Ключевский). Грушевский считает ее еще более древней, доярославовой, на том основании, что в ней нет смертной казни, которая, судя по III редакции ст. 4 и 88, была в ходу при Ярославе, но отменена его сыновьями. Само по себе это соображение неубедительно, потому что 1) смертная казнь в древней «Русской Правде» указана, 2) статью 4 III редакции можно понять как литературное недоразумение.

Древнейшая «Русская Правда» говорит о мести за убийство, мести родственников, предполагая плату за убийство лишь в тех случаях, «аще не будет, кто мьстя».

Статьи 6—7 предполагают месть и за нанесение побоев или оскорбительного удара, с заменой ее платой, «аще ли себе не может мстити» или если обидчика «не постигнуть». Статья 10 предполагает месть детей за изувеченного отца. О характере этой мести у нас в литературе большие разногласия. Сергеевич полагает, что «Русская Правда» сохранила указания только на досудебную месть» [1]. Максимейко доказывает, что «Русская Правда не знает «досудебной расправы»[2]. Владимирский-Буданов занимает среднее положение, считая, что в статьях 6—7 «суд предваряет месть», но что «в большинстве случаев месть, конечно, предваряла суд, который лишь потом санкционировал ее, если она совершена законно» [3].

Содержание древнейших памятников права сложно и вызывает разногласия в толковании, потому что в нем отражаются моменты кризиса правового быта, переходные эпохи его истории, когда старое отмирает или изменяется, новое возникает. Явление мести и смысл самого термина имеет свою историю. Основное значение мести — «возмездие за уголовную неправду, совершенное руками потерпевшего» (Владимирский-Буданов). Месть — прежде всего бытовой факт. Правовой характер акты мести получают, когда она регулирована не обычаем только, а обычным правом, т. е. допустима

---

[1] *В. И. Сергеевич*, Лекции и исследования, 3-е изд., СПБ 1903, стр. 378.

[2] *Н. А. Максимейко*, Мнимые архаизмы уголовного права Русской Правды. «Вестник права», март — апрель 1905.

[3] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, в. I, стр. 24—25, примечание 7 и «Обзор истории русского права», 5-е изд. стр. 334 и сл.

«правая месть» под контролем обычного суда. Едва ли при этом для древнего правосознания была такая принципиальная разница между «досудебной» местью и местью по приговору суда, как для современных ученых. И то и другое — акты правомерные. «Русская Правда» допускает убиение татя на месте кражи, признает, что нет вины, если кто на удар батогом ответит ударом меча, заменяет месть за обиду платой, только если не настигнут обидчика. По рассказу летописи (Лавр., 1070 г.) княжий муж Ян Вышатич спрашивает белозерцев-повозников про волхвов: «Ци кому вас кто родин убьеп от сею»? Они же реша: «мне мати, другому сестра, иному роженье». Он же рече им: «Мстите своих». Они же поимше убиша я и повесиша я на дубе. «Отместье, — добавляет летописец, — приимша от бога по правде». Что тут: месть или смертная казнь? Одно переходит в другое. И я думаю, что белозерцы не обращались бы к княжому мужу, если бы дело не шло о княжих смердах и если бы они не боялись волхвования. От этого их расправа с волхвами не потеряла бы характера правомерного акта.

Месть древнейшей «Русской Правды» есть форма смертной казни — «убиенья за голову». Так понял ее первый её комментатор — составитель III редакции, усмотревший в постановлении Ярославичей о вирах за княжих мужей реформу, которую выразил в словах: «отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати». Это он говорит, изложивши с некоторой перефразировкой то, что считает «судом Ярославлим», т. е. статьи о мести и взыскании платы при отсутствии мстителя, а потом приводит то, что тут изменили Ярославичи, заключая: «а ипо все яко же Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша».

Указывают еще на одну статью, 23-ю, «Русской Правды», как упоминающую о каре смертью, но статья 22 дает текст испорченный и неясный, а 23-я — ее заключение. Исследователи понимают в ней слова «да биют его», как — да убьют, видя тут то самое постановление Ярослава, на которое ссылается III редакция, статья 88.

Это приводит нас к следующему замечанию относительно состояния текста древнейшей «Русской Правды», как он дошел до нас в своих поздних списках XV в. Если сравнить статьи 22—23 ее с 87—88 III редакции, то не ясно ли, что архаические черты первоначального вида древнейшей «Русской Правды» подверглись некоторому влиянию, их исказившему, последующих редакций? Такое же сомнение вызывает во мне и статья 6: «аще ли себе не может мстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а лечьцю мзда», если ее сравнить со статьей 34 III редакции: «аже ударить мечем, и не утнеть на смерть, то 3 гривны [продажи] а самому гривна за рану же лечебное [оже лечебно есть»], — именно двойственность вознаграждения, понятная в III редакции, вызывает в 1-й недоумение [1].

Таким образом, для меня не убедительны приведенные основания в пользу доярославова характера древнейшей «Русской Правды».

---

[1] *Владимирский-Буданов*, наоборот, поправляет первую по третьей. См. примеч. 7 к Акад. сп. *(Прим. автора.)*

Но самое это мнение надо, кажется, признать правильным и вот почему. Основное отличие древнейшей «Русской Правды» то, что она не знает вир и продаж. И это отличие трудно поставить на счет Ярославичам, установившим виры и продажи. По летописному сказанию, как мы видели, обращение «вир», в казнь, т. е. в уголовный штраф в пользу князя, относится ко временам Владимира. И я принимаю это известие не по текстуальному достоинству данного летописного отрывка, а по двум соображениям: 1) вторая редакция «Русской Правды» Ярославичей уже трактует уголовные штрафы как существующие и не содержит никаких указаний на то, что устанавливает их вновь; 2) тот крупный успех княжеской власти, каким надо признать введение уголовной ответственности перед княжой казной, должен быть отнесен ко времени установления и организации княжеско-дружинного строя в Киевщине, т. е. ко временам Владимира и Ярослава, и едва ли исторически мыслим при Ярославичах, когда началось ослабление княжой власти и подъем значения веча.

Конечно, оба соображения эти гипотетичны и представляют собой обобщение данных, извлеченных из материала, как я указывал, недостаточно еще обработанного. В пользу его говорит, однако, и общий характер древнейшей «Русской Правды», настоящего судебника, не выдвигающего еще так энергично княжой интерес на первый план, как «Русская Правда» Ярославичей.

Эта II редакция «Русской Правды» так говорит о своем происхождении: «Правда уставлена Русской земли егда ся совокупил Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячько, Перенег, Микифор Кыянин, Чудин Микула». Исследователи довольно единодушно относят это заглавие только к первым четырем статьям. Не понимаю, почему? Вся эта «Правда» носит однородный характер в самом существенном: *это — такса княжих доходов*: виры за огнищанина, ездового, тиуна, конюха и уроки за княжих старост (сельского и ратайного), рядовича, смерда, холопа, кормилицу (1—8); продаж — по 12 гривен, по 3 гривны, 30 резан и по 60 резан за разные преступления (12, 14, 15, 16, 22); процентов с княжого дохода в церковную десятину и княжим чиновникам; корма княжому вирнику (23—24), и мостнику пошлина (25). Тут 16 статей из 25. Остальные 9 распределяются на 2 группы: 1) 11, 17, 18, 19, 20 — касаются процессуальных правил, причем 11-я повторяет 4-ю древнейшей «Русской Правды» и обрывает изложение, которое там идет в 5-й и 6-й по тому же вопросу, точно случайно вписана, а четыре остальных, связанных вместе, регулируют самоуправство над татем в пользу суда княжого; 2) три статьи (9,13 и 21) дают «уроки» — вознаграждения за украденное имущество, причем на первом месте имущество князя —его конь, его борть. Остальные уроки о скоте в III редакции названы «уроки смердам» и сюда же можно отнести четвертый урок за сено и дрова (статья 21). Статья 10 остается для меня непонятной. Не могу объяснить, как она сюда попала. Назвать ее 12 гривен за обиду уголовным штрафом на основании статьи 47, III редакции, как делает Владимирский-Буданов, — не могу, не вижу осно-

ваний. Подобно статье 10, она стоит в ряду статей II редакции клином.

Эта «Русская Правда» называет «покон вирной» — «уроком Ярославлим». Новое указание на то, что уголовные штрафы — виры — старше времени Ярославичей. Иное дело — продажи. Вопрос о времени их возникновения сложнее. Я уже имел случай указать, что при понимании смерда II редакции как смерда княжого, живущего на княжой земле под его вотчинной властью, возникает соблазн предположить, что и взыскания продаж установились сперва в сфере вотчинной юрисдикции князя, чтобы потом распространиться на все население. Это соображение поддерживается замечанием составителя III редакции, что «уроки» за скот, которые он берет из II,— это «уроки смердам, оже платят князю продажу». Но III редакция и княжие грамоты XII в. ясно свидетельствуют о том, что продажи, как и виры, шли князю со всего населения. Если примем во внимание, что виры существуют уже в эпоху «Русской Правды» Ярославичей, что видно из 80 гривен за княжих мужей, что составляет не «двойную» виру, как мы это обычно называем, а 40 + 40 [1], т. е. виру + головщину, так как обе шли князю, то, быть может, дело всего вернее будет так себе представить, что взыскания в пользу князя, выросшие в условиях его специального мира, распространились и на явления в области его роли как охранителя общего мира-наряда в земле-волости.

Не будем забывать, что первые две редакции «Русской Правды» в списках, какие знаем, представляют одно нераздельное целое. И это целое надо рассматривать как один памятник. Он представляет собою компиляцию из элементов древнего обычно-правового судебника и княжого устава Ярославичей о княжих доходах и княжих людях. Когда и как он составлен, не знаем. Время его возникновения — последние десятилетия XI в. Ничто ни в содержании, ни в характере рукописной традиции не дает повода связывать его с церковным обществом. Впрочем, этого и Ключевский не делает.

Третья редакция «Русской Правды» носит более сложный характер. Основной ее источник — первые две редакции, древнейшая «Русская Правда» и «Русская Правда» Ярославичей. Сливая те их статьи, какие поддавались такой операции, и обобщая — иногда неудачно — их конкретные нормы, она получает главный свой остов. На этот остов наросли, однако, значительные дополнения. И пользоваться ею надо с большой осторожностью. Ее текст требует тщательной критики. Неудачный редакционный прием видим сразу вначале, сравнивая ее первые три статьи с первыми тремя древнейшей «Русской Правды» и первыми четырьмя «Русской Правды» Ярославичей. Внося из второй 80-гривенную виру за княжа мужа или тиуна княжа, она из первой сохраняет 40 гривен за гридя и мечника. Можно ли заключать отсюда, что мечник — не княжой муж? Или следует заключить иное: что нормы пространной «Русской Прав-

---

[1] *Ср. Brunner*, Bd. II, S. 614.

ды» получались иногда вследствие неудачного приема компиляции и могут легко ввести в заблуждение? Ср. I, 55 и II, 9.

Четвертую статью обыкновенно весьма ценят как известие о втором (про первый см. вторую редакцию) съезде Ярославичей и их реформе уголовного права: отмене «убиенья за голову» и введении денежного выкупа взамен смертной казни. Сомнительно, чтобы слово «паки» указывало, как часто принимают, что составителю пространной «Русской Правды» известен был предыдущий съезд: он ясно говорит о суде «по Ярославе», причем одно только изменение и указывает в «суде Ярославлем» — «а ино же все, якоже Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша». Да и слово «паки» не означает обязательно «вновь», «опять». Тут оно связывает статью 4 с предыдущими тремя как добавление к ним и может быть переведено: «кроме того», а еще «в свою очередь». Ср. «паки-ль» в статье 5 III редакции.

Высокая ценность пространной «Русской Правды» как исторического источника зависит от того, что она содержит обильный материал, дополнивший данные старших редакций таким количеством новых, что их 50 статей тут тонут в числе 159. Кроме ряда статей процессуального характера, имеем тут устав Владимира Мономаха о «резах», целый «устав о закупах», с некоторым вероятием приписываемый тому же князю, статьи о наследстве и т. д.

Отличительная черта пространной «Русской Правды» та, что она в целом не стоит на княжеской точке зрения. Она вводит нас рядом черт в оборот гражданского быта. Но полноты отражения этого быта в компиляции такого сборного и несистематического характера мы, конечно, искать не будем. Естественно подойти к ней с другим вопросом. Именно о том, какие стороны быта всего больше вызывали потребность в более четкой, письменной формулировке регулировавших их норм права, какие из этих норм всего тщательнее собирались? Наблюдая пространную «Русскую Правду» с этой точки зрения, Ключевский нашел возможным отметить в ней «некоторую внутреннюю несоразмерность»: «воспроизводя правовое положение личности, она довольствуется простейшими случаями, элементарными обеспечениями безопасности, зато, формулируя имущественные отношения, ограждая интересы капитала, она обнаруживает замечательную для ее юридического возраста отчетливость и предусмотрительность, обилие выработанных норм и определений» [1].

Попробуем расчленить с этой точки зрения содержание пространной «Русской Правды». Интересы князя широко в ней представлены. Правда, специальную защиту княжих мужей она вводит как бы мимоходом, беря ее готовой из своего источника — «Русской Правды» Ярославичей, может быть, более полной, чем та, что до нас дошла [2]. Но зато мы именно в пространной «Русской Правде» находим последовательное проведение уголовных штрафов — вир

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, 2-е изд., стр. 301.

[2] См., например, статью 15 о «ремественице», где, судя по цифре 12 гривен, речь идет не о свободе человека.

и продаж, последних по скале 60 куп, 3 гривны (3,30), 12 гривен — в пользу князя со всяких преступлений. Кроме того, находим ряд статей, перечисляющих доходы, шедшие в пользу княжих чиновников: вирнику — (12) с отроком и метельнику, отроку — сметная при оправдательном приговоре с истца и ответчика по гривне (21), помочное — за содействие при исполнении приговора (21), пошлина при испытании железом (112) — «то ти железный урок» (который, повидимому, платили обе стороны: статья 113: один если ожегся, а «кто и будеть ял» — всегда), уроци судебные — пошлина от всех тяжь (139), ротные — при присяге, смотря по важности обвинения (141); наконец, «наклады» — княжому мужу с отроком и писцом, едущему для суда и расправы (99). Тут и более подробный перечень корма и платы городнику и мостнику (126—127). Быть может, все эти пошлины извлечены из одного источника — устава княжого. Но в пространной «Русской Правде» они разбросаны между разнородными процессуальными статьями и стоят в контексте скорее как указание на судебные расходы сторон, чем на судебные доходы князя и его людей.

Статьи, знакомящие нас с народной общиной — вервью — указывают, когда она должна платить виру (5) за убитого княжого мужа, как и «Правда» Ярославичей, но добавляют: «паки ль людин, то 40 гривен», и затем отмечают льготу-рассрочку и ряд случаев, когда вервь не обязана платить (6, 10, 11, 20). На ряде процессуальных статей останавливаться не буду: ими уже приходилось пользоваться. Отмечу только статью 110, где пространная «Русская Правда» подчеркивает роль общественного элемента в суде: «А тыя же тяже все судят послухи свободными».

Основное содержание остальных статей в общем удобно разлагается на несколько крупных групп: статьи об охране личности, об охране имущества—с особым вниманием к владению холопами и к вопросам кредита и торговых сделок, и, наконец, драгоценная группа в 21 статью (!), изображающая древнерусское наследственное право.

Разбирая вопрос, какое обычное право легло в основу статей «Русской Правды», Ключевский приходит к выводу, что в нем, «насколько оно служило источником для «Русской Правды», надобно видеть не первобытный юридический обычай восточных славян, а право городовой Руси, сложившееся из довольно разнообразных элементов в IX—XI вв.» [1] И действительно, внимательное рассмотрение пространной «Русской Правды» приводит к заключению, что она, кроме статей о верви и статей общего значения для всех слоев свободного населения, сосредоточивает преимущественное внимание на вопросах, ближе касавшихся не сельской массы, а социальных верхов древнерусского общества, выросших до значения руководящей социально-политической силы, опираясь на свою роль в городских центрах и на извлекаемую из этой влиятельной роли и деятельности экономическую мощь.

---

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, стр. 268.

Увлекаясь своей теорией «торгового» происхождения древнерусских городов, Ключевский называет «капитал — самой привилегированной особой в «Русской Правде», причем подразумевается, главным образом, капитал торгово-промышленный. «Легко,— говорит он, заметить ту общественную среду, которая выработала право, послужившее основанием «Русской Правды»: это был большой торговый город. Село в «Русской Правде» остается в тени, на заднем плане: ограждению сельской собственности отведен короткий (?) ряд статей среди позднейших (?) частей «Русской Правды». Впереди всего, по крайней мере, в древнейших (?) отделах кодекса, поставлены интересы и отношения состоятельных городских классов, т. е. отношения холопо-владельческого и торгово-промышленного мира» [1]. В этой характеристике есть большая доля правды при некоторой и весьма существенной односторонности. Разберем и то и другое.

Значение торговли для быта, отразившегося в пространной «Русской Правде», выступает в ее статьях 58—70 и 150. Статьи 58—59 определяют порядок решения дел по долговым обязательствам, а 60-я—упрощенное производство по делам о торговой ссуде, под чем можно разуметь и торговое товарищество. Статья 61-я трактует о недоразумениях по сдаче товара на хранение. Статьи 66—69 определяют правила конкурса при банкротстве неисправного должника с различением преступной и несчастной несостоятельности. При этом выступает особое значение гостиной торговли в признании преимущественного права на получение долга полностью для гостя «из иного города или чужеземца» сравнительно с «домашними» кредиторами. Причем речь идет и об иностранных купцах и о купцах из иного города или иной Русской земли. Статья свидетельствует о значительном развитии внутренней торговли, как и торговли иностранной. Второе, как известно,—явление очень древнее для восточного славянства. Мне уже приходилось отметить известия о разнообразии и интенсивности торговых и иных сношений с Западной Европой Киевщины, долго служившей передаточной станцией между Средней Европой и византийским Востоком. Киев XII и начала XIII вв. выступает перед нами крупным торговым центром с торговыми колониями новгородцев, латин, немцев, и именно эти известия составляют конкретный фон для разбираемых известий пространной «Русской Правды». Это указание на то развитие торговли в конце изучаемого нами периода, которое создало значение Смоленска, отразившееся в его договоре с немцами 1229 г., где имеются статьи о кредите, сходные со статьями пространной «Русской Правды», создало расцвет Новгорода, значение Волыни и Галича в XIII и XIV вв. Торговля с русской стороны велась и купцами и господскими холопами, как видно из статьи 150 (ср. статью 12 Смоленского договора), боярскими и княжими («Аже латинянин даст княжю холопу в заем или иному добру человеку...»). Статьи 62—65 и 70 составляют «устав о резах», быть может, целиком принадлежащий Владимиру Мономаху. Тут находим процессуальные правила для

[1] Там же, стр. 303.

спора о процентном долге (статьи 62 и 64) и связанное с именем Мономаха ограничение ростовщичества. Его постановление гласит: «уставили до третьего реза, оже емлеть в треть куны: аже кто возмет два реза, то то ему взяти исто; паки ли возмет три резы, то иста ему не взяти. Аже кто емлет по 10 кун от лета на гривну, то того не отметати». Статья 70 дает только неопределенную парафразу первой части этого постановления: «аже кто много реза имал, то не имати тому» (подразумевается — «иста»). А выше статья 65 говорит, что «месячный рез» можно брать только «за мало» (Карамзинский список: «за мало дни»), но отбрасывается (погренути), если «зайдуться куны до того же года»; в таком случае — «дадять ему куны в треть».

Владимирский-Буданов все это так толкует: рост различается месячный, третной и годичный. Месячный допускается только при краткосрочных займах; если же заем на год или не уплочен в течение года, то взыскиваются уже не месячные, а третные проценты. Третной рост дозволено брать только два раза: получивший его в третий раз теряет право на получение «иста». Очевидно, заключает Владимирский-Буданов, сумма третных процентов, уплаченных трижды, превышала значительно капитальный долг. И рядом отмечает, что годичный рост (стало быть, при долгосрочном займе) допускался, по статье 65 — не свыше 10 кун на гривну, что составляет при 25-гривенной куне 40% [1].

Ключевский толкует иначе: в треть — значит на два третий, т. е. 50%, и смысл статьи 65 в том, что при взимании роста в треть, то «брать до третьего реза»: дважды — 100%+исто, а за третий рез — кара: получил 150 процентов — теряешь «исто». Годовой процент при краткосрочном займе — «в треть», на год, а не месячный рез, при долгосрочном — 40%. В памятнике второй четверти XII в., в «Вопросах Кирика», рекомендуется «брать легко», сбавляя с условия: «аще по 5 кун дал еси, а 3 куны возьми или 4», — подразумевается на гривну: т. е. если дал по 20%—взыскивай по 12 или 16%. В одном поучении неизвестного точнее времени, как крайний предел допустимой лихвы, указывается «по три куны на гривну или по седми резан», т. е. 12—14%. Это — идеал, внушаемый церковной проповедью, в принципе отрицавшей всякую лихву, допуская ее в сильном смягчении, «аще не можете отстати».

Толкование Ключевского [2] ближе подходит к тексту, но при правильном понимании древнерусского денежного курса «Русской Правды», о чем ниже, результат тот же — 40% при долгосрочной ссуде, 50% — при краткосрочной (три реза значительно превышают исто). Неясным остается расчет месячного реза.

Устав Мономаха о резах, вошедший в состав пространной «Русской Правды»,—весьма крупное явление для истории княжеской власти. Ведь из памятников «уставной» деятельности князей мы для

---

[1] *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, вып. I, стр. 58, примечание 85.

[2] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, стр. 302.

времени до XII в. знаем только «Русскую Правду» Ярославичей, касавшуюся княжих людей и княжих интересов, стало быть, представляющую акт не общего, а специального законодательства, да церковные уставы, дошедшие до нас в таких позднейших переработках, что в них трудно выделить их подлинную старую основу, и представляющие, во всяком случае, акты столь же специального законодательства. Иное дело «устав о резах»; он регулирует отношения в области общего права городской общины. Возникновение его, естественно, ставят в связь с бурными событиями, разыгравшимися в Киеве после смерти князя Святополка Изяславича. Святополк оставил худую память в массе населения. Одно из сказаний «Печерского Патерика», о Прохоре черноризце, говорит, что «бысть убо в дни княжения Святополча в Киеве много насилие людем сотвори Святополк: домы бо сильных безвинных искоренив и имения многы отъим» князь составил себе большое личное имущество [1]. Ипатьевская летопись рассказывает, что о нем плакали его бояре и дружина, не упоминая о людях киевских, а «княгини же его много раздели богатство монастырем и попам и убогим, яко дивитися всем человеком, яко такая милости никто же может сотворити» [2]. Княгиня словно раздавала на помин души грешного князя неправедно собранное богатство. Упомянутый рассказ о черноризце Прохоре раскрывает завесу происхождения этого богатства, повествуя, как Святополк, начав войну с Володарем и Васильком, прекратил торг из Галича и Перемышля с Киевом, «и не бысть соли во всей Русской земли». Годы вообще были тяжелые: «Быша брани многы от половец, к сим же усобица бысть в ти времена, и глад и скудота велиа во всем в Русской земли». А продающие соль, «мневше себе в ты дни богатство много приобрести в соли», обратились к князю с жалобой на Печерский монастырь, который, по сказанию, даром раздавал соль, получая ее путем чудесного превращения в нее пепла. «Князь же, хотя им угодити» и себе богатство приобресть, стакнулся с купцами и «с вещав с своими советники цену многу соли, да, отъим у мниха, продавец ей будет». Едва ли можно отрицать реальную основу под сказанием. Тут след усиления торговой эксплоатации населения княжеско-дружинным слоем в союзе с купечеством. Немудрено, что по смерти Святополка «кияне разграбиша двор Путятин тысяцкого, идоша на жиды и разграбиша я; и послашася паки кияне к Владимиру, глаголюще: «поиди, княже Киеву; аще ли не поидеши, то веси, яко много зла уздвигнеться, то ти не Путятин двор, ни соцких, но и жиды грабити и паки ти пойдуть на ятровь твою и на бояры, и на монастыри».

Грушевский думает, что «монастыри притянуты сюда для большего эффекта» [3], но мы знаем нечто о кредитных операциях древнерусских монастырей, хотя бы по духовной новгородца Климента

---

[1] «ПСРЛ», т. II, стр. 275 и сл. под 1113 г.; *Яковлев*, Памятники русской литературы XII—XIII вв., СПБ 1872, стр. 152.

[2] «ПСРЛ», т. II, стр. 275.

[3] *М. Грушевский*, История Украины Руси, т. II, стр. 110.

XIII в., приведенной выше, где монастырю за долг в 20 гривен серебра достается земельное имущество завещателя. Да и само «чудо» Прохора слишком ли смело признать свидетельством об операциях монастыря с солью? Когда Мономах сел в Киеве, «вси людье рады быша, и мятеж влеже».

Приведенные обстоятельства, естественно, могли вызвать определение новых норм долгового права, которые потом вошли в состав пространной «Русской Правды».

Такова одна сторона социальной физиономии пространной «Русской Правды»; она обращена к нуждам торгового быта и долгового права, стремясь регулировать эти, все разраставшиеся отношения, смягчая нарастание социальной розни, ставя ее в законные рамки и тем создавая новое право, закреплявшее создавшиеся социально-экономические отношения, формулируя и упорядочивая их.

В приведенных чертах существенно отметить, что в них наряду с купцами, своими и иноземными, стоит княжеская и боярская среда, как представительница капитала.

К этой же среде обращено внимание пространной «Русской Правды» в других отношениях. Ключевский выдвигает внимание пространной «Русской Правды» к интересам «холоповладельцев». При этом отдельно стоящая статья 38 вызывает некоторое сомнение. Ее сравнение со статьей 15 древнейшей «Русской Правды» показывает, что перед нами обобщение статьи, указывавшей на определенный и притом для XII в. уже устаревший случай бегства челядина к иноземцу, варягу или колбягу. Обобщение, быть может, только книжное, а не запись нормы, обобщившейся в обычае. Статья 47 трактует свод при краже челядина. Остальные статьи (83, 87—89 и 142—155) — можно назвать, пожалуй, «уставом о холопах», так как тут целый свод статей, притом объединенных термином «холоп» в отличие от более архаического «челядина» статей 38 и 47. При этом то обстоятельство, что статьи 83, 87—89 попали в ряд статей о закупе и, с другой стороны, положение статьи 143, которую следует отнести к закупу, хотя он в ней и не назван, среди статей о холопстве указывает, повидимому, на связь между двумя уставами — о полусвободных и несвободных боярских людях.

Характерны здесь, с одной стороны, определения источников холопства; с другой — большое внимание к различным вариантам темы о беглом холопе.

Статья 142 гласит: «Холопьство обельное трое. Оже кто хотя купить до полугривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед самем холопом (Карамзинский список — «а без него»). А второе холопьство: поиметь робу без ряду; поимет ли с рядом, то како ся будет рядил, на том же стоить. А се третье холопьство: тивуньство без ряду или привяжет ключ к собе без ряду; с рядом ли, то како ся будеть рядил, на том же стоить».

Сводчик, повидимому, добросовестно понял это, как перечень видов «обельного холопства», не заметив, что тут отмечены не основные источники холопства (плен, рождение от холопа, продажа в холопы за преступление, за несостоятельность, и т. п.), а случаи наи-

более спорные: фиктивная продажа, женитьба на рабе, личное услужение, и разрешены с презумпцией в пользу порабощения.

Статьи о беглом холопе и о холопе-преступнике (144—155, 57, 83, 87—88) тщательно защищают интересы холоповладельца, предоставляя ему в последнем случае выбор между выкупом холопа и утратой его.

Иной тенденцией проникнуты статьи о полусвободных закупах (71—82, 84—87, 90, 143), о которых мне уже приходилось говорить раньше. Они стремятся сохранить грань, отделяющую закупничество от холопства. Что касается пресловутого спора о том, что лежит в основе закупничества—наем или задолженность, что я отмечу, что в пользу второго мнения говорит не только аналогия «закупов» литовско-русского права, подробно разработанная Ясинским, но и статья 143: «а в даче не холоп, ни по хлебе роботять, ни по придатьце: но оже не доходят года, то ворочати ему милость, отходит ли то не виноват есть». Эта статья конкретнее раскрывает суть того определения закупничества, какое дает ему, например, Ключевский: это «сельские рабочие, селившиеся на землях частных собственников со ссудой от хозяев» [1]. Надо бы только прибавить: и должники, отрабатывающие долг в хозяйстве кредитора. Оба эти явления могли в древнем праве подойти под одно правовое понятие, так как сутью отношений в обоих случаях считалась задолженность и временная кабала. Что касается теории о закупе — наемном рабочем, то она выросла на слове паймит статьи 80. Но что значило слово «наем» в языке XII в., видим из «Вопросов Кирика»: «а наим деля, рекше лихвы», и ниже: «не достоить ти имати наим», а если не могут воздержаться, то: «възмете легко; аще по 5 кун дал еси, и 3 куны възми или 4» [2].

Экономическая роль холоповладения и закупничества уже отмечена выше в моем изложении. Это два основных орудия крупного частного хозяйства, боярского хозяйства. Зная, какое крупное значение в позднейшем княжеском и боярском хозяйстве играли бобровые ловы и бортные ухожаи, мы можем, естественно, с той же точки зрения взглянуть на статьи, охраняющие частные права на эти промыслы в пространной «Русской Правде» (94, 95, 96, 97, 100, 101, 105), отметив и высокую кару за ястреба и сокола, как особо ценившихся охотничьих птиц (106).

Это приводит нас к самой любопытной черте пространной «Русской Правды» — к тому, что в ней мы впервые встречаем термин бояре. Пространная «Русская Правда» намеренно вводит этот термин в текст своих источников, вставляя «тако же и за бояреск» после статьи «о княжи муже», дважды упоминая «тиуна боярского» (3 и 89).

---

[1] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, 2-е изд., стр. 298; *М. Н. Ясинский*, Закупы Русской Правды и памятников западнорусского права, «Сборник статей по истории права, в честь М. Ф. Владимирского-Буданова», Киев, 1904.

[2] «Русская историческая библиотека», т. VI, стр. 24—25.

Что же нам разуметь под этими терминами? Одна из статей — 114-я по позднему списку — перечисляет классы населения так: «княжь боярин или купец или сирота» [1]. Я уже как-то указывал, что при всем желании не умею найти в древних русских источниках указаний на «земских» бояр, стоящих вне круга княжих людей. Но пространная «Русская Правда» дает одно весьма важное указание на то, что к концу изучаемого нами периода боярство добивается значительной эмансипации от княжой власти. Разумею статью «О заднице боярской и о дружьней. Аже в боярех любо дружине, то за князя задница не идеть. Но оже не будет сынов, а дчери возмуть» (III редакция, 119—120).

Эта статья отмечает шаг в развитии личной семейной боярской собственности, весьма существенный, если признать эту статью относящейся и к земельным владениям боярства. Заметим, что на Западе право наследования по женской линии получило раньше признание в крестьянской среде и дольше отрицалось в боярской среде. У нас оно, повидимому, развилось в этой последней раньше, чем на Западе. И для XII—XIII вв. нет оснований отрицать приложимость статьи 119 к земельным имуществам. В других списках эта статья переredактирована так: «Аже в боярех либо в боярстей дружине, то за князя задница не идеть». Или даже: «Аще в боярской дружине, то за князя задница не идеть». Это — позднейшие наслоения. Право боярское укрепилось. Центр внимания переносится на вопрос о наследстве зависимых от бояр людей, которых власть бояр-вотчинников начинает закрывать от княжей власти. Мы с этими фактами уже вступаем в атмосферу нового уклада жизни — удельного, того, который у Павлова-Сильванского характеризован «феодальными отношениями удельного времени» [2]. Их зачатки успели отразиться в поздних редакциях «Русской Правды».

Еще два слова о терминах: «тиун боярский» и «боярская дружина». По статье 89, боярский тиун — холоп, но отличенный в суде тем, что на него, как на закупа, «вскладают послушество», « по нужи» — в крайнем случае. Статья 3 заменяет этим же термином слово «ябетник» своего источника. Что же такое ябетник? Слово это германское — сравним северонемецкое ambaht, скандинавское ambàtt, где его этимологическое значение «преданный» (ergebener) слуга из челяди (северонемецкое manahoubit — menschen häupter) — слуга-челядин, слово, равносильное слову тиун готов (готское tius, северогерманское diu, современное — dienen). И в древнейшей «Русской Правде» видим упоминание ябетника княжего рядом с мечником. «Русская Правда» Ярославичей вместо ябетника называет тиуна княжа, выделяя его в ряд княжих мужей, или точнее ставя его рядом с ними, как 80-гривенную голову.

---

[1] О слове «сирота», как равном древнему «изгою» см. *Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, стр. 273—274. Это термин, позднее означавший зависимых монастырских крестьян (А. Э. I, № 5; № 7. Доп. к А. И. I, № 9). Распространение его на все крестьянство—результат «окняжения» всей земли в удельный период.

[2] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, СПБ 1907.

Пространная «Русская Правда», повторяя статью 3 древнейшей и сохранив в ней, думаю, ошибочно, мечника, исключила ябедника, заменив его тиуном боярским. Это такой же прием, как приписка «такоже и за бояреск» в статье «о княжи муже» (13—14), причем это сопоставление должно предостеречь от слишком буквального понимания последней приписки. Тут княжие люди распределены на три категории — за тиуна княжого огнищного и за конюшего 80 гривен, за отрока, конюха, повара — 40 гривен, за сельских слуг: урок — 12 гривен и 5 гривен, а за боярского тиуна — 40 гривен по статье 3. Что же он такое? Один из вариантов к статье 89 (Карамзинский список, статья 77) дает: «на боярска тиуна на дворского». Перед нами та же фигура при боярине, как тиун огнищный при князе. Это лицо—praepositus, advocatus—во главе хозяйства крупного землевладельца феодальной Европы тоже иногда называлось amtmann. Быть может, в этом лишний предлог для замены ябетника древнейшей «Русской Правды» именно тиуном боярским. Под этим термином перед нами выступает один из боярских людей, один из представителей «боярской дружины». Введение всех этих терминов в поздние редакции «Русской Правды» — слабо выраженный, но тем более ценный намек на усвоение черт княжого права и княжого быта средой бояр, крупных землевладельцев, в конце изучаемого нами периода.

Это наблюдение придает особо существенное значение вопросу о времени составления пространной «Русской Правды». Из нее самой можно извлечь только одно указание: она не старше времен Мономаха, так как пользуется его уставом о резах.

Ключевский считает «Русскую Правду» памятником, который получил «законченный состав во второй половине XII или в начале XIII в.» Свой окончательный состав «Русская Правда» в пространной редакции «получила позднее половины XII в.» Указание на это Ключевский находит в денежном счете, которого держится «Русская Правда». Денежные взыскания высчитываются в ней на гривны кун и их части [1].

В Карамзинском списке — вставка о прибыли скота и пр. (Карамзинский список, 50) дает: 90 112 коз по 6 ногат — 27 033 гривны 30 резан, т. е. 1 гривна=20 ногат=50 резан. Так и по предыдущей статье 49 о рунах — 1 гривна=50 резан [2].

Ключевский принимает по 25 кун на гривну, на основании расчета епископа Нифонта (в «Вопросах Кирика»), что за пять сорокоустов — гривна, а за один 6 кун, предполагая скидку при опто-

[1] Гривна — металлический обруч как шейное украшение. См. *Кондаков*, Русские клады, т. I, стр. 160 и сл.; *Толстой* и *Кондаков*, Русские древности в памятниках искусства, т. V, стр. 127 и сл. Для куны ср. *Казанский*, Исследования о древнерусской монетной системе, «Записки Археологического общества, т. III; «Четьи-Минеи», май, 28: «Связаша его двомя веригами и куну железную на выю возложиша». Ср. польское kuna — цепь, железный ошейник; украинская — куна, западнорусское — куница.

[2] *В. О. Ключевский*, Курс русской истории, т. I, стр. 265; *В. И. Сергеевич*, «Русская Правда», стр. 35; *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права, стр. 54.

вом заказе, и получает, что куна равна 2 резанам [1]. Это подтверждается сравнением статей о вепрях и о свиньях (списки: Карамзинский список, 52—53, Сергеевич, 4—5), где цена вепря раз дана 6 ногат, другой — 15 резан, и то и другое равно $7\frac{1}{2}$ кун (20 ногат = =25 кун =50 резан). Этот расчет, установленный еще Карамзиным, надо признать верным, но им не объяснить соотношения всех цифровых данных «Русской Правды» [2]. Дело в том, что пространная «Русская Правда» часто сохраняет цифры «Русской Правды» Ярославичей, заменяя при них резаны кунами (статьи 9 и 56, 16 и 106; цены на скот и птицу; статьи 24 и 12: в среду — резана; в среду куна оже сыр. Ср. Кар., 56, Серг., приложение 1 — цена сыра — резана) и в «уроках» и в продажах (статьи 15 и 104, 12 и 52, 22 и 53). Ключевский видит в этом сильное падение ценности денег, так что куна стала теперь покупать на рынке то, за что прежде платили резану. И «по привычке обозначать иноземную (?) монету туземными названиями равноценных ей мехов» — резану стали называть куной. Это толкование Ключевский поддерживает наблюдением над весом «гривен» в наших археологических находках. Гривны XI — начала XII в. — по две на фунт серебра, по 48 золотников. Гривны же конца XII и начала XIII в. упали в весе до $^1/_4$ фунта, так что и $^1/_{25}$ такой легковесной гривны стала равной прежней резане. Устав князя Святополка новогородскому Софийскому собору 1137 г. говорит о «новых кунах». Отражение этой пертурбации на денежном рынке древней Руси в пространной «Русской Правде» и заставляет Ключевского относить ее ко второй половине XII или к началу XIII в.

Грушевский, считая теорию Ключевского слишком гипотетичной, предпочитает относить пространную «Русскую Правду» к первой четверти XII в., допуская, что она позднее подверглась лишь второстепенным изменениям и дополнениям. Но в том все и дело, какие элементы пространной «Русской Правды» считать более поздними, чем времена Мономаха, и насколько. Впрочем, едва ли можно относить ко временам Мономаха компиляцию, в которую и его устав о резах вставлен, очевидно, не в первопачальном виде, а как элемент компиляции.

Однако если и по форме и по содержанию пространную «Русскую Правду» естественно относить к той эпохе, к которой ее приурочивает Ключевский, то сама его теория о свойствах денежного счета «Русской Правды» действительно вызывает некоторые сомнения. Была ли замена резаны куной следствием удвоения цен или только изменением монетной чеканки и системы — остается неясным. А между тем в самой пространной «Русской Правде» есть намеки на то, что ее составитель или какой-либо его предшественник понимал, что, переводя счет с резан на куны, надо изменять и цифры. Так, в статье 9 II редакции находим среди резанного счета цену

---

[1] *В. О. Ключевский*, т. I, стр. 302.

[2] *Карамзин*, История государства Российского, т. II, примечание 79; ср. «Русская Правда», изд. Сергеевича, стр. 36.

третьяка 15 куп, а в статье 56, III редакции — 30 кун. Повидимому, ясна ошибка: читай во II редакции 30 резан, а в III — 30 кун, если цифровая поправка не сделана, и 15, если она имела место. Или, например, ср. статьи 16 и 106 — во второй исчезла продажа 60 резан; не потому ли, что за нее составитель принял 30 кун, в которые, по недоразумению, вместо 15, обратился у него «урок» в 30 резан.

Конечно, эти намеки столь скудны, что на них ничего опереть нельзя. Но представляется недоказанным, что пространная «Русская Правда» не просто переводит устарелое слово резана (которого в ней нет) словом куна, а и сознательно сохраняет счет старый, давая тут нечто, имеющее реальное значение. Ключевский далек от такого сомнения. Для него пространная «Русская Правда» — памятник права, действовавшего в церковных судах. Но именно его главное основание, что эта «Русская Правда» встречается в составе вспомогательных статей к «Кормчей», наводит на сомнение в ее практическом значении, так как и целый ряд других элементов «Кормчей», извлеченных из византийских законов, едва ли мог иметь практическое приложение на Руси. Да и сам Ключевский отметил несогласованность между собой различных статей пространной «Русской Правды», подрывающую приложимость ее к практике. Но, во всяком случае, различие денежных систем само по себе несомненно, и одного этого обстоятельства достаточно, чтобы признать значительную разницу в возрасте между «Русской Правдой» Ярославичей и пространной и принять датировку, установленную Ключевским. Это — источник для изучения социальной истории древней Руси второй половины XII и начала XIII в., хотя и заключающий целый ряд элементов права предыдущей эпохи, отчасти для ее времени уже устаревших.

В общей сумме источников для изучения древнерусского права, кроме актов специального законодательства, «Русской Правды» Ярославичей о княжих людях, и церковных уставов, одиноко стоит указание на более широкое по значению законодательство Мономаха, его устав о резах, быть может, и о закупах. Но при ближайшем рассмотрении и это законодательство не текущее, не общегосударственное в полном смысле слова, а вызванное особыми обстоятельствами — моментом поднявшегося народного движения, и коснувшееся интересов тех слоев, которые близко связаны были, а в значительной степени и слиты с княжеско-дружинной средой социальных верхов киевского общества. И если мы видим, что тенденция этих уставов направлена к ограничению их эксплоататорских инстинктов, то это дела не меняет. Уставы Мономаха были актом самозащиты социальных верхов от народного раздражения. И недаром рядом и в связи с ними стоит устав о холопах. И не только дальше этого не пошло развитие княжого законодательствования, но и иных его созданий мы не знаем, кроме грамоты князя Всеволода церкви св. Иоанна на Опоках 1130-х годов, но это уже явление иного порядка.

ГЛАВА XVI

КНЯЖОЕ ВЛАДЕНИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII И В НАЧАЛЕ XIII в. (1132—1169—1240)

Приведенная выше характеристика княжения Святополка Изяславича, Мономахова предшественника, — хронологически первое в ряду дошедших до нас известий отражение тех социально-экономических противоречий в древней Киевщине, дальнейшее развитие которых отражается в особенностях социальной физиономии пространной «Русской Правды». В XII в. над народной массой вечевой общины стоит подавляющая ее сила общественных верхов, держащих в руках *нити торгового оборота и средства развивающегося крупного землевладения*. Верхи эти связаны с князем, опираются на его власть, составляя в то же время главную ее опору. Древний княжеско-дружинный элемент земли-волости меняет свой характер. Сохраняя свое военно-правительственное значение, он подводит под него новый социально-экономический фундамент, обращая его в орудие экономической эксплоатации земли-волости. Само княжое управление получает более фискальный характер. Если для предыдущего времени можно расценивать взаимное отношение княжой деятельности по защите внешней безопасности и внутреннего наряда, с одной стороны, и доходов князя и княжих мужей — с другой, как отношение цели и средства, характеризуя князя, по Ключевскому, как наемного защитника земли и порядка, то к концу изучаемого периода наблюдаем признаки обратного взаимоотношения управления и дохода. Один из этих признаков был уже отмечен. Разумею развитие вир и продаж в окладной сбор, подобный дани. С этой точки зрения представляет особый интерес и то, что разыгралось в Киеве в 1146 г. Мы уже знаем эту историю, как киевляне после смерти князя Всеволода Ольговича рядились с его братьями Игорем и Святославом, жалуясь на тиунов: «Ратша ны погуби Киев, а Тудор Вышгород; а ныне, княже Святослав, целуй нам крест и с братом своим: аще кому нас будет обида, то ты прави». Позднейший свод так передает уговор словами Святослава к Игорю: «аз, брате, целовал крест на том киянам, яко быти тебе князем во правду, а людем кому до кого обида будет, ино ти их судити во правду самому, или мне, а тиуном их не судити, ни продавати, а что были тивуни брата нашего Ратша и Тудор, а тем не быти, а коем будет быти, ино им имати с суда уроком, а в свою

волю им людей не продавати» [1]. Мысль ясна: перед нами протест против передачи полномочий княжого суда — с их характером мы уже знакомы — в руки тиунов-вирников и мечников (после соглашения с князьями киевляне, «устремишася на Ратьшин двор грабить и на мечьники»), роль которых должна ограничиться сбором уреченных уголовных штрафов, а не «в свою волю им людей продавати» [2]. Судебные полномочия, очевидно, становились в руках низших агентов княжой власти орудием вымогательства. Но вспомним похвалу свода XIII в. древним князьям, что они не вскладали на людей творимых вир и продаж, и тогда поймем, что усердие тиунов касалось не их только личных доходов, но и княжого прибытка, почему Игорь, когда вошел в Киев, «не поча до тому чинити, яко же людие хотяху» и «якоже обещася». С этим не мешает сопоставить значение слова «ябеда». Мы видели, что слово ябедник равносильно слову тиун. Слово же ябеда в позднейшем языке означает клевету с вымогательством, шантаж (ср. «Судебник Ивана Грозного»: бьют челом ябедою в великих исках, а мирятся на малом). На причину такой эволюции значения слова ябедник указывает, например, один привилей, полученный смоленскими гражданами в 1505 г.: «што ся тычеть ябедников, которые, ходечи по месту, людей соромотят и боем клеплют,.. а кто бою... оттяжется, от того пересуды великие на них наместники и окольничии в оный час бирывали». Ябедники искусственно создают процессы и тем увеличивают доход с судебных пошлин, платившихся, как мы видели, и оправдавшимся и с «творимых вир и продаж» в случае обвинения. Сама история слова ябедник и киевская история 1146 г. указывают на такую роль древнерусских ябедников-тиунов, сборщиков княжого судебного дохода.

Все это черты явных злоупотреблений. Можно ли им придавать более серьезное историческое значение? Но когда с ними сопоставишь обращение уже в XII в. вир и продаж в окладной сбор и превращение в удельный период суда в доходную статью княжого и боярского владения, с правом и обычаем отчуждения его как всякой собственности, то острое выступление указанных злоупотреблений получает характер симптома перехода от земской точки зрения по отношению к судебно-административному делу к другому — вотчинно-владельческому воззрению на нее. Это первое уродливое выступление фискальной практики — предвестник нового обычно-правового уклада удельного, владельческого — всей общественной жизни Руси.

Вторая половина XII в. — период резкого развития этого процесса перехода к новому строю. Его политическая сторона сказалась в усилении обособленности отдельных земель-княжений и нарастании признаков упадка центрального, объединяющего значения Киева. Его социальная сторона — в развитии землевладельческого боярства, которое, врастая все глубже в местную жизнь

---

[1] «ПСРЛ», т. VII, стр. 35 (Воскр.).
[2] Там же, т. II, 322.

той или иной области, подчиняя ее себе, разбивается на ряд провинциальных, областных обществ, замыкающихся в местных интересах. Его экономическая сторона—в упадке торговой гегемонии Киева и возникновении новых, независимых экономических центров на запад от Киева в связи с изменением направления торговых путей из Средней Европы к Черному морю; на север от него — с развитием прибалтийской торговли; на далеком северо-востоке — с развитием колонизации Суздальской Руси и ее обособлением в особый экономический район, связанный торговыми связями с инородческим востоком и Новгородским северо-западом. Начавшаяся на самой заре исторической жизни Киевской Руси борьба на жизнь и смерть со степью становится в этом переходном периоде особо острой и тяжелой. Половцы, отодвинутые за Дон в эпоху Мономаха, после смерти его сына Мстислава (ум. 1132 г.), снова надвигаются на южные пределы Руси, и с 60-х годов XII в. этот напор степных кочевников достигает снова огромной силы. Историческая жизнь древней Руси не удержалась на первоначальной территориальной базе, сдвинулась к северу, северо-западу и западу и, осевши на более ограниченной, но и более раскинутой территории, постепенно теряя прежнюю ориентировку на юг, стала группироваться вокруг новых центров, обособленных друг от друга, имевших уже не общерусское, как Киев, а местное значение. Идет процесс децентрализации русской жизни, но запасы культуры, накопленные Киевским государством, тем самым проникают в глубь народной массы, втягивая ее плотнее в движение новых форм быта, хозяйства, права, религии, господство которых утвердилось на социальных верхах древнего общества.

И этот процесс децентрализации русской жизни не ограничился обособлением отдельных крупных земель-княжений. «В XII в., — скажем словами Грушевского, — каждая земля — за немногими исключениями — обращается в целую политическую систему, с целой группой княжеств, с княжескими линиями, старшими и младшими, с бо̀льшими и меньшими политическими центрами, с разными системами княжеских отношений, — одним словом, земля, как микрокосм, повторяет в себе характер политической системы земель Киевского государства».

И далее: «Создавалась такая сложность жизни и отношений внутри каждой земли, что она начинает все больше жить своей жизнью, а интересы и деятельность ее князей, дружины, общества все меньше выходят за границы своей земли, и это, очевидно, ослабляло связи не только данной земли с другими, но и ее собственных частей между собой». Историческая жизнь, «разбившись на атомы, шла в глубь областей, в низы общества, замыкаясь во все более узком тесном пространстве, и, вместе с тем, мельчала, серела и вырождалась, потому что при такой децентрализации и партикуляризме не могли уже возникнуть центры, достаточно сильные, мощные, чтобы оплодотворять далее новыми запасами энергии, новыми течениями идей и сил этот процесс раздробления, рассеяния всего,

что было добыто политической и культурной эволюцией Киевского государства» [1].

Таковы, действительно, самые общие черты того процесса, каким завершился переход от строя Киевской Руси к новому удельному укладу русской жизни. Рассмотрим, прежде всего, его политическую сторону в междукняжеских отношениях второй половины XII и начала XIII в.

В междукняжеских отношениях предыдущего периода (1054—1132 гг.) мы видели борьбу двух тенденций: понимание каждой волости-княжения, доставшейся какому-либо князю, как вотчины его сыновей, и стремление князей, владевших Киевом, сохранить единство распоряжения силами всей Русской земли и судьбой отдельных ее частей. И это последнее стремление при господстве сперва трех старших Ярославичей (1054—1068 гг.), потом Святослава и Всеволода (1073—1076 гг.) и, наконец, Изяслава и Всеволода (1077—1078 гг.) имеет характер борьбы со всеми младшими князьями за соединение в руках киевских князей всего Ярославова и даже Владимирова наследства. Перелом в междукняжеских отношениях приносит княжение Всеволода (1078—1093 гг.), который идет на компромиссы с изгоями, постепенно признавая их права на отчины, окончательно признанные на Любецком съезде 1097 г.

Не говоря уже о Полоцке, земля Червенская и Черниговщина обособляются в руках местных линий отчичей. И в борьбе князей видим, с одной стороны, борьбу разных отчинных прав, переплетавшихся и скрещивавшихся, а с другой — стремление более сильных князей объединить возможно больше владений в своих руках. Во главе Русской земли стоят сперва Святополк Изяславич, захвативший, кроме Киевщины, Волынь и Турово-Пинскую область, вместе с Мономахом, который держит Переяславль, Смоленск, Новгород и Поволжье; а затем — один Мономах (1113—1125 гг.). Отодвинув фактически на второй план представителей старших линий Ярославова потомства — Изяславичей и Святославичей, Всеволодович Мономах делает решительную попытку укрепить владение Киевщиной за своей семьей, отстраняя другие линии Ярославичей и на будущее время. Тут нет еще и следа какого-либо нового принципа в наследственном праве: речь идет лишь о таком же сужении круга возможных наследников данного стола, какое уже произошло при Ярославе, когда полоцкие Владимировичи остались за общей чертой княжого рода. Сосредоточив в руках своей семьи, кроме Киевщины, Новгород и Смоленск, Ростов и Суздаль, Переяславль, Туров, Волынь, Мономах беспрепятственно передает свою власть сыну Мстиславу, который поддерживает и укрепляет Мономахову систему до своей кончины в 1132 г. Система эта, основанная на семейной силе и солидарности Мономаховичей, давала киевским князьям — Мономаху, Мстиславу — возможность возродить и усилить зависимость от Киева всех русских земель. По от-

---

[1] *М. Грушевский*, История Украины Руси, т. II, стр. 129.

ношению к младшим князьям они проводят начало гегемонии, требуя от них прихода на свой зов, во всем послушания, карая их, если те не «бяхуть в их воли» и уклонялись от участия в общих походах на защиту Русской земли, по принципу, который один из князей так выразил именно по поводу неявки одного князя в общее ополчение против половцев: «ряд наш так есть: еже ся князь извинить, то в волость, а муж в голову» [1]. Результаты Мономаховой системы были блестящи. Половцы оттеснены за Дон, усобицы прекратились, княжая власть окрепла, проявляя себя в уставном законодательстве, коим регулировались социальные отношения и ставилась в определенные рамки нараставшая социальная рознь. Но основы ее были непрочны и недолговечны. Отчинная тенденция расколола и Мономахово потомство, что привело к крушению всей системы. Мстислав, исполняя волю отца, передал Киев брату Ярополку, повидимому, связав его обещанием, что затем Киев перейдет к Всеволоду Мстиславичу. По крайней мере, Ярополк переводит Всеволода из Новгорода в Переяславль, поближе к Киеву, в город, который был «отним» городом для самого Мономаха и который он дал обоим старшим сыновьям, Мстиславу и Ярополку, вместе. Мстислав же, передавая в год смерти Киев Ярополку, урядился с ним с крестоцелованием, что тот Переяславль передаст Всеволоду Мстиславичу. Таким образом, Переяславль, преддверие Киева, должен был стать отчиной одних старших Мономаховичей Мстиславова потомства и притом «по отню повелению» (Лавр., стр. 286) самого Мономаха, установившего это соглашение между старшими сыновьями. И хотя в известиях об этих обстоятельствах есть некоторая неясность, но проявление резкой тенденции старших Мономаховичей к обособлению Киевщины в своих руках делают такое толкование вероятным; будем ли мы приписывать самую идею Мономаху или Мстиславу, — дело второстепенное. Перед нами любопытный пример развития идеи отчинности, состоявшего в том, что отчину стремятся считать по отцу, устраняя понятие дедины, которое создавало притязания ближайших боковых линий.

Применение начала отчины к золотому киевскому столу имело особое значение, так как с этим столом связывалось представление о старейшинстве во всей земле Русской, о руководящей роли во всей системе русских земель-княжений. Понятен острый протест, какой вызвала подобная тенденция. «И раздьрася вся земля Руськая»... «Сильно бо възмялася вся земля Руськая». Началась борьба старших и младших Мономаховичей. Юрий и Андрей Мономаховичи заключают тесный союз: Юрий со своим братом Андреем крест целовал на том, «яко кто ся наю останеть, то тый будеть обоим детям отец и волость удержати» [2]. Нельзя этих «дядей» считать защитниками старого принципа «родового» старейшинства: это борьба двух линий, из которых каждая думает о себе и своем

---

[1] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., стр. 603—604.
[2] Там же, стр. 488.

потомстве. Они заставили Ярополка вывести из Переяславля Всеволода, потом Изяслава Мстиславичей, заключив с ним новый договор вразрез намерениям Мстислава (или Мономаха). Снова старшие князья Ярополк, Юрий, Андрей, при пассивной роли второго брата Вячеслава, выступают против младших — Всеволода, Изяслава. Этот раздор дал возможность полоцким князьям вернуть себе отчину и независимость от Киева, черниговским и галицким — возможность играть независимую роль. Мстиславичи даже союз заключают с Ольговичами против дядей, воюют против Юрия суздальского, чтобы доставить Суздальщину Изяславу с помощью новгородцев. Ольговичи вырастают в большую силу, добиваясь возврата себе Посемья, что отнял у них Мстислав Великий, подрывают положение Мономаховичей в Новгороде, вырастающем за эти смуты в вольный город с самостоятельным строем, и после смерти Ярополка отнимают Киев у Вячеслава Мономаховича.

Тщетно Вячеслав настаивал, что Киев ему вотчина, а не Ольговичам: «аз, брате, приидох зде по братии своей Мстиславе и Ярополце, по отець наших завещанию», а Всеволод Ольгович «восхоте сего стола, оставя свою отчину» [1]. Летописные рассказы понимают этот шаг Всеволода как попытку его возобновить политику Мономаха, но в пользу черниговской линии: «Всеволод Ольгович седе Киеве и нача замышляти на Володимеричи и на Мстиславичи, надеяся силе своей и восхоте всю землю держати со братиею своею». Княжение Всеволода Ольговича (1139—1146 гг.) — сплошная и тщетная попытка создать такую систему. Тщетная потому, что у него не было двух опор, поддерживавших Мономаха: сочувствия киевского общества, которое, как мы видели, Всеволод оттолкнул хищениями своих тиунов, и солидарности своих родичей, с которыми Всеволод часто враждовал из-за черниговских волостей, иной раз опираясь против них на Мономаховичей. Но все-таки он сделал в 1145 г. попытку обеспечить преемство на Киев за своим братом Игорем, созвал па съезд братьев — двоюродного брата Давидовича Владимира и Изяслава Мстиславича — и заявил: «Владимир посадил Мстислава, сына своего, по себе Киеве, а Мстислав Ярополка, брата своего, а се я молвлю: оже мя бог поиметь, то аз по себе даю брату своему Игореви Киев». И заставил съехавшихся князей крест целовать, что они признают этот завет. Причем сделал и попытку определить содержание того старейшинства в Русской земле, какое предназначал Игорю как киевскому князю: Игоря заставил крест целовать, «яко имети братью в любовь», а других князей — крест целовать к Игорю, «что вы начнеть давати, по по воли, а не по нужи» [2].

Это встретило резкое противодействие. Игорю и Святославу Ольговичам пришлось исправлять дело Всеволода, уряжаясь с киевлянами, которые, хотя и признали их обоих, а не одного Игоря, себе князьями, но не утратили чувства, что не хотят быть у

[1] «ПСРЛ», т. VII, стр. 32.

[2] Там же, стр. 317—318.

Ольговичей «аки в задничи» [1]. С другой стороны, Мономахович Изяслав Мстиславич выдвигает начало отчины: «любо си голову положу перед вами, любо си налезу стол деда своего и отца своего».

Отчинное начало было уже слишком сильно для таких государственно-династических тенденций, какие носились перед Всеволодом Ольговичем. И сила его коренилась не только в воззрениях князей. Его главной опорой была тенденция в самом населении, чтобы иметь князем того, кого они себе «вскормили». Разбирая вопрос о компетенции веча, я уже приводил примеры того, как стремление тех или иных отчичей ограничить круг возможных наследников на данный стол встретило именно во второй половине XII в. отклик в настроении населения. Ряд случаев, когда вече, принимая князя, целует крест и на детях его, объясняет нам и заявление киевлян Изяславу Мстиславичу: ты наш князь, а Ольговичей не хотим.

Перед нами критический момент в историческом развитии древней Руси. Политическую суть его можно охарактеризовать как крайнее обострение борьбы тех же двух начал, какими определялись междукняжеские отношения и владельческое положение князей со времени Ярославичей: отчинного раздела и старейшинства в Русской земле. Начала, тенденции, стало быть, те же. Но их обострение настолько интенсивно, что ведет к явлениям нового характера уже по существу.

Прежде всего отмечу стремление к новому пониманию старейшинства, которое мы отмечали уже у Мономаха, а резче у Всеволода Ольговича. Оно не сознавалось князьями, его представителями как новое. Напротив, в праве старейшины на полное подчинение младших князей и на полное распоряжение волостями земли Русской видели возврат к временам Ярослава, восстановление отцовской власти над всеми членами княжого рода. Но это старейшинство, кто «в отца место», держится не в силу кровного права, а вследствие фактической силы, фактических отношений. В работе Я. А. Голяшкина «Очерк личных отношений между князьями Киевской Руси в половине XII в.» [2] найдете тщательный подбор наблюдений над условностью, с какой употреблялись во второй половине XII в. термины отец, брат, сын для определения отношений между князьями, как, например, в словах Вячеслава Владимировича к племяннику Изяславу: «ты мой еси отец, а ты мой сын, у тебе отца нету и у мене сына нету, а ты же мой сын, ты же мой брат» [3].

О праве на старейшинство и для этой эпохи нет основания говорить, так как нет указаний на существование каких-либо общепризнанных норм в княжеской среде. Князья заключают соглашения, причем один другого обещает «иметь в отца место и во всей воли его ходити», причем комбинации возможны самые разнообразные:

---

[1] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., стр. 323.

[2] В «Изданиях Исторического общества при Московском университете. Рефераты, читанные в 1896 и 1897 гг.», т. II, М. 1898.

[3] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., стр. 418.

племянник оказывается отцом дяде, князья разных поколений — друг другу братьями. Вся эта терминология выродилась в условный дипломатический язык при заключении договора о союзе, помощи, покровительстве. И это явление, быть может, особенно наглядно подчеркивается такими оборотами речи: «ты, брате, к нам крест целовал... дажь стоиши на том ряду, но ты нам брат, пакы ли... ступил еси ряду, мы ся в то не дамы». Быть братом тут равносильно сохранению ряда.

Эти черты свидетельствуют о том, что можно назвать значительной индивидуализацией княжеских отношений. Перед нами в конце изучаемого периода — не единый, органически связанный род Рюриковичей, а, скажем словами Голяшкина, «политическое общество самостоятельных владетелей, регулирующих свои взаимные отношения сообразно личной выгоде и пользе», и признаем, с тем же автором, что братьями князья называли друг друга, прежде всего, по равноправию независимых владельцев отдельных земель-княжений, или, как говорил еще Неволин: «все вообще князья, как равные в известном отношении друг другу по княжескому достоинству, называют себя взаимно братьями».

Но как ни далеко ушли в прошлое, как пережитые, семейные основы междукняжеских отношений, идея единого княжого рода уцелела. Даже более, именно в данную эпоху она как бы подчеркивается, и князья напоминают друг другу: мы единого деда внуки. Эта идея нужна как выражение равноправия князей, в княжом их достоинстве. И эту сторону дела удачно подметил Голяшкин, говоря, что одним из существенных условий для сохранения семейной и родовой терминологии при изменившихся вкорень отношениях было то, что князья «продолжали составлять один род, изолированный от общества и потому тем теснее захватывавший своих членов», и «в силу своего обособленного положения в обществе» этот род, хотя он не имел никакой организации, «никогда не был учреждением», сохранял весьма крупное социально-политическое значение для своих членов.

Размножившийся род Рюриковичей выработался в особую социальную категорию. Князь не только тот, кто княжит и володеет в определенной волости. Князь безземельный, какой-нибудь скиталец вроде Ивана Берладника, все же князь, с прирожденным княжим достоинством. Первое противопоставление князя остальному обществу в таком аристократическом смысле видим в известном ответе черниговского Олега Святославича: «несть мя лепо судити епископом, ли игуменом, ли смердом». В 1096 г. это, повидимому, произвело еще впечатление заносчивой гордыни. В XII в. гордое сознание княжого достоинства — бытовая норма. Виновный князь может быть наказан лишением волости, но личность его неприкосновенна. На божий суд призывают смоленские Ростиславичи Андрея Боголюбского за то, «аже еси с сякыми речьми прислал не акы к князю, но акы к подручнику и просту человеку...» В старину сказали бы не так, но «не акы к братьям...» А когда галицкий боярин Владислав в начале XIII в. захватил было княжение в Галиче,

то низложенный поляками и венграми, он «нашед зло племени своему и детем своим... вси бо князи не призираху детий его того ради». Солидарность в монополии на княжое достоинство — один из существенных моментов в живучести понятия о едином Рюриковом роде.

При таком характере русского княжья XII—XIII вв. «единство княжого рода», лишенного организации, не могло играть роли объединяющего русские земли элемента. Охарактеризованная выше внутренняя обособленность земель-волостей не только не встречала противодействия во влиянии княжого элемента, но, напротив, встречала в нем силу, которая каждой земле-волости давала возможность выработать себе законченный политический строй в соответствии с общим укладом древней политической жизни. Каждая волость-земля становилась волостью-княжением, стремясь упрочить свой политический быт укреплением у себя определенной княжой семьи.

Начало отчины встречало поддержку в тенденциях населения, кладя своим развитием начало новому удельному строю всего политического быта древней Руси. При таких условиях общее старейшинство во всей Русской земле, связанное по традиции с киевским столом, рисковало вовсе погибнуть. Уцелеть оно могло, лишь возродившись на новых началах.

И политическое сознание князей, владевших Киевом, самой жизнью воспитывалось к уразумению этой необходимости новых начал старейшинства. Их, как мы видели, намечают в отношениях к младшим князьям Мономах и сын его Мстислав, а затем Всеволод Ольгович; эти начала — династическая организация власти, обращенной в вотчину одной княжеской линии, и усиление зависимости младших князей от старшего, которого на севере называть станут великим, в послушание его распоряжениям относительно общих действий и распределения волостей.

Как выше уже сказано, это усиление старейшинства мыслилось как восстановление реального значения приписываемой ему отчей власти над другими князьями.

Изяслав Мстиславич, заняв Киев, так понимает свое положение: «а мне, — говорит он двоюродному брату, — дай бог вас, братью свою, всю имети и весь род свой в правду», а уступая Киев дяде Вячеславу, говорит ему: «ты ми еси отец, а се ти Киев; а се волость: которое тобе угодно, то возьми, а иное мне вдай». Такое право распоряжения волостями как атрибут старейшинства особенно резко подчеркивает Андрей Боголюбский. Андрей в 1174 г. заявляет Роману Ростиславичу и его братьям, которым дал Киевщину: «не ходиши в моей воли с братьею своею, а поиди ис Киева, а Давыдиз Вышегорода, а Мстислав из Белгорода, а то вы Смоленеск, а тем ся поделите» [1].

Все эти цитаты, особенно ярко последняя, показывают, с другой стороны, насколько узка и практически незначительна была реальная основа, на которой во вторую половину XII в. покоилось

[1] «ПСРЛ», т. II, 2-е изд., стр. 389 и 569—570.

старейшинство в Русской земле: она сводилась в смысле распоряжения волостями к границам Киевской земли. Все остальное было уже прочно освоено отдельными княжими линиями в особое владение, удельное. И тем не менее изменение тона отношений между младшими и старшими князьями, отмечаемое в этих цитатах, имеет свое значение. Оно свидетельствует о безнадежной и тщетной, но характерной попытке реакции более сильных князей против полного упадка объединявшего княжую Русь авторитета киевского князя. Та же тенденция сказывается и в появлении термина господин в обращении князей к старшему, более сильному: «Ты, господин; ты, отец», — обращаются рязанские князья к Всеволоду Суздальскому в 1180 г. «Отче господине», — титулует его же Владимирко Галицкий и просит: — «удержи Галич подо мною, а аз божий и твой есмь со всем Галичем, а в твоей воли есмь всегда». И это не только «северное» явление. В 1152 г. отец Владимирка говорил Изяславу Мстиславичу так: «ныне, отче, прими мя яко сына... ат подле твой стремень еждю, всими своими полки».

Теперь ясно, что я разумел под обострением проявлений обеих конкурировавших тенденций в сфере княжого владения древней Руси. Отчинное начало привело к полному обособлению всех областей русских, кроме киевской, во владение особых линий княжого дома и к распаду княжого рода на ряд равноправных, независимых князей, определявших взаимные отношения договорами. Старейшинство, связанное с владением Киевом, должно было или погибнуть, или переродиться в отношения политического господства, с одной, и служилого подчинения — с другой стороны. И пути этой эволюции были намечены в русской жизни XII в., в эпоху, в начале которой стоит деятельность Мономаха, а в конце — Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. И важно запомнить, что эта вторая тенденция не родилась на севере вновь и лишь дальше развивала там зерна, не воспринятые киевской почвой.

Ясно для нас, с другой стороны, и безнадежное положение Киевщины в эту эпоху.

В силу своего пограничного географического положения, так как из Переяславщины не удалось создать прочного оплота со стороны степи, а правобережная южная граница Поднепровья оставалась открытой и ее военную оборону пришлось организовать с помощью инородческой колонизации турецких племен, во второй половине XII в. часто оказывавшихся союзниками ненадежными, — Киевщина оказалась не в состоянии сыграть роль территориальной базы и материальной основы для объединения русских земель в одной и более прочной государственной организации. Ей не было суждено сыграть роль Московского княжества Даниловичей или Иль-де-Франса Капетингов.

С другой стороны, пробудившаяся и в Киевщине тенденция к обособлению в особое законченное целое, в живущую собственной жизнью, местной и замкнутой, землю-княжение, была решительно подорвана живой традицией киевского первенства. Традиция эта налагала свою печать и на политику всех киевских князей, будя

в них стремление к расширению своего влияния на дела всей Русской земли, не давая им сосредоточиться на местных интересах и замкнуться в них. Сказывалась она и в особом отношении к Киеву всех сколько-нибудь сильных князей, будя в них стремление овладеть почетным и влиятельным золотым столом киевским. Борьба за Киев продолжается еще долго после того, как он по существу дела потерял значение действительного центра всей русской земли, и в этой борьбе гибнут попытки старших Мономаховичей стать местной киевской династией, гибнут, несмотря на поддержку, встреченную ими в населении. Сама Мономахова линия Рюрикова рода, широко раскинувшаяся от Волыни до Суздальщины, раскалывается на враждебные стороны в борьбе за Киев. Не хотят отказаться от него черниговские Ольговичи, ревниво следят за ним, препятствуя его усилению, особенно соединению с Волынью, и галицкие князья.

В этом смысл всей борьбы за Киев после кончины Всеволода Ольговича (1146). Не вдаваясь в анализ ее перипетий, отмечу только существенные ее моменты. Такими можно считать: 1) стремление Мономахова потомства разграничить в свою пользу правобережное Поднепровье от Ольговичей черниговских; 2) отказ старших Мономаховичей от мечты основать в Киеве центр своего семейного владения и перенос его на Волынь; 3) отказ — после попытки Юрия Долгорукого — суздальских Мономаховичей от связи старейшинства с Киевом и переход их к политике, сходной с галицкой, политике ослабления Киевщины, которая перестает быть опорным пунктом для общерусского влияния князей, ведших более широкую политику, и 4) превращение Киева из центра в форпост южной Руси, пока его окончательно не сломило татарское нашествие.

Княжение Всеволода Ольговича в Киеве (1139—1146 гг.), хотя Мономаховичам пришлось признать его, и «иметь его в правду брата старейшего», пережито ими, как нарушение их отчинных прав на Киев. Но пока вопрос о Киеве осложнялся борьбой среди самих Мономаховичей, Ольговичи еще дважды овладевали Киевом. Прочным результатом этих усобиц оказалось отделение от Киева в обособленные отчинные владения Переяславля южного, где с 1155 г. прочно сидит Глеб, сын Юрия Долгорукого, и Турово-Пинской земли в руках Юрия Ярославича, внука Святополка Изяславича.

Победа Юрия Долгорукого, который и умер киевским князем в 1157 г., над старшими Мономаховичами привела к тому, что они осели на Волыни, обратив ее в свою семейную отчину.

Новая попытка старших Мономаховичей, имевших опору в вотчинах своих, Волыни и Смоленске, укрепиться в Киеве (Ростислав Мстиславович пробует передать в 1167 г. свою власть Мстиславу Изяславичу) вызывает новую усобицу, которой финал — разорение Киева в 1169 г. войсками Андрея Боголюбского.

Это событие получило в традиционной схеме русской истории весьма своеобразную оценку, мало соответствующую действительности: перенесения политического центра на север не произошло. Правильнее оценивает дело Ключевский, говоря, что «Андрей

впервые отделил старшинство от места». Старшинство признавалось за Андреем, а не за его городом Владимиром на Клязьме. А после его смерти создается своеобразное переходное положение — симптом резкого развития все усиливавшейся децентрализации русской жизни. Разумею то, что создалось в 80-х годах XII в. На юге видим соглашение Ростиславичей с Ольговичами на том, что Святослав Ольгович получает «старейшинство и Киев» и 13 лет (1181—1194 гг.) сидит на киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха, каким его рисует «Слово о полку Игореве», называет Всеволода суздальского «братом и сыном»; а на деле Киевской землей владеют Ростиславичи, признающие Всеволода старейшиной в Володимеровом племени, сам Святослав посылает сына с полком в помощь Всеволоду против волжских болгар (1181 г.), а собрав союзников для похода на рязанских князей, посылает к Всеволоду «просячися у него на Рязань», а когда «Всеволод их воли не сотвори», то «грозный великий князь киевский повернул с похода назад» (1194 г.).

Перед нами полное выделение сильной Суздальщины и полный упадок действия силы Киева при живучей традиции связанного с ним старейшинства. И Всеволод суздальский следил лишь за одним: чтобы Киевщина не усилилась, и ловко ссорил южных князей, чтобы не дать им сплотиться в силу. И ревнивое внимание двух сильных княжений — Галицкого, а особенно созданного Романом Мстиславичем Галицко-Волынского, и Суздальского нависло тяжелой тучей над Киевом. Еще при жизни суздальского Всеволода Роману удается превратить Киев в передовой пост галицких владений на востоке, а после смерти Всеволода в 1212 г. окончательно падает влияние северо-восточных князей на южные дела.

Так, первая четверть XIII в.—тот хронологический момент, когда древняя Русь окончательно распадается на ряд отдельных земель-княжений, о связи которых в одну цельную систему не может быть и речи. Старая Русь умирала, потому что умерло единство интересов, поддерживавших объединительную политику Киева: интересов южной торговли и национальной самообороны против степи. Тяжелее всего отражался этот распад объединения русских сил на южных областях — Переяславщине, Черниговщине, Киевщине. Все более предоставляемые самим себе, они не могут дать прежнего отпора половецкой силе. И южная Русь оставила нам горький плач высокого поэтического достоинства о своей гибели в «Слове о полку Игореве»: «Тоска разлияся по Русской земли. Печаль жирна тече средь земли Русской. А князи сами на себе крамолу коваху... А погани с всех сторон прихожаху с победами на землю Русскую...»

Никто не идет на защиту Русской земли. Великий Всеволод суздальский так силен, что может «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти». Будь он на юге, «была бы чага по ногате, а кощей по резане». Но: «Не мыслию ти прилетети издалеча — отня стола поблюсти». Не слушают и Роман с Давыдом Ростиславичи, отчичи смоленские, призыва: «Вступите господина в злат стремень —

за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святославича». И галицкий Осмомысл Ярослав «высоко седить на своем златокованном столе, подпер горы Угорскыи своими железными полкы» и, заступая пути королю венгерскому, затворяя ворота к Дунаю, суды рядя до Дуная, не слышит призыва: «Стреляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святославича».

И волынский Мстиславич — Роман, ум коего храбрая мысль носит на дело, и его племянники двоюродные, Ярославли дети, Мстислав, Ингварь, Всеволод, — все поглощены вотчинными делами, борьбою с литвой, ятвягами и между собою, и не слышат призыва загородить полю ворота своими острыми стрелами.

Всюду местные, разнородные интересы, ориентирующие жизнь в новых направлениях. И Русь отступает перед степью. Переяславщина уже не ищет опоры на Западе. Во всю вторую половину XII в. она держится суздальских князей, которые дорожат ею, пока дорожат влиянием на юге, и суздальская летопись зовет Переяславль отчиной потомков Юрия Долгорукого. Туда же тянет и все Посеймье. Но защита этой Украины, как именно Переяславщина впервые названа в Ипатьевской летописи под 1187 г., не по силам и северным князьям, и они с трудом и с перерывами держатся там в начале XIII в. против южных князей и половцев, разоряющих землю. И после татарского погрома замиравшая на Украине жизнь политическая обрывается. В Киевщине и Переяславщине княжеско-дружинный строй после татарского погрома упал совсем, и земли, по всей вероятности, распались на отдельные общины, где если иногда и появлялись князья, то в роли татарских подручников.

РЕЧЬ ПЕРЕД ДИСПУТОМ ПРИ ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ «КНЯЖОЕ ПРАВО В ДРЕВНЕЙ РУСИ» 19 апреля 1909 г. [1]

«Община старше государства, законодательная власть не создает ее, а находит». Эта формула французского муниципального либерализма старых времен могла бы послужить хорошим эпиграфом к древнейшей истории всякого народа. И у нас, конечно, община старше государства. Историк древней Руси едва ли может исходить из иного представления. В то время как то, что мы называем русской государственностью, растет на глазах истории, слагаясь из разнородных элементов, те или иные формы организации общинного народного строя исследователь встречает на заре исторической жизни восточного славянства как явление, прошлое которого не может быть изучено историческими методами в их чистом виде. Тут социолог, изучающий то, что немцы называют «этнологическим правоведением», оттесняет историка на второй план.

Община старше государства. И долго живет она своей особой жизнью. В Московском государстве, как и государстве Литовско-Русском, настоящей основой социально-политического строя, его фундаментом можно назвать волостную общину, во внутренний быт которой лишь постепенно, в вековом развитии, проникает вмешательство правительственной власти. Не мудрено, что исследователю княжеская администрация представляется лишь «зыбкой надстройкой» над общинным укладом жизни народной массы, а древняя государева власть лишь «наложенной сверху на органически сложившуюся самоуправляющуюся общину». И в XV—XVI вв. в северо-восточной Руси «наместник с его тиунами... сохраняет черты чужого наезжего судьи по уголовным делам, напоминая князя начальной эпохи, который для сбора дани отправляется с дружиной в полюдье, как бы военным походом в чужую землю, едва-едва признающую его власть». И в западной Руси еще в XVI в. находим с А. Я. Ефименко, как пережиток глубокой старины, замкнутую жизнь волостей литовско-русских данников, въезд в которые для должностных лиц «обставлен строгими юридическими определениями и ограничениями» и соединен с получением дара и корма в вознаграждение за принятый на себя труд.

Текущая жизнь этих народных общин — не только в сфере удов-

[1] Печатается впервые по собственной записи автора.

летворения частнобытовых нужд, но и в области охраны общественного порядка, суда и управления — долго остается вне систематического, планомерного воздействия органов правительственной администрации.

Стоит положить эти элементарные наблюдения в основу общей исторической конструкции, чтобы получить то дуалистическое представление о строе древней Руси, которое обычно воплощается в формуле «вече и князь».

Вот с этой формулы и начинаются те сомнения, которые привели меня к написанию защищаемой книги. Исторический смысл противоположения веча и князя, как двух самостоятельных факторов древнерусской жизни, требует выяснения. И, прежде всего, имеем ли мы основание видеть в деятельности веча высшее проявление и обобщение той самостоятельности общинного народного быта, которая старше государства и долго живет своей жизнью под более или менее внешним покровом даже более развитой государственности позднейших веков? Было ли вече представителем земли, народною властью в тех землях — княжениях, — на какие распадалась древняя Русь?

Данные источников, по которым мы можем судить об истории вечевых городов, ведут к *отрицательному* ответу на этот вопрос. Только в севернорусских народоправствах в эпоху полного развития их вечевой свободы видим мы сосредоточение правительственной власти над землей в самоуправляющейся общине главного города. Но и тут это не создало самоуправления земли Новгородской или Псковской, а лишь *владычество* вечевых городских общин над населением пригородов и волостей. Это *властвование* главного города над населением земли — основная черта строя древнерусских городовых областей. Но лишь в Новгороде и Пскове оно в руках вечевой общины и ее городских выборных властей. Для Киевской и других земель русских нет возможности указать какой-либо исторический момент, когда города земли и ее волости были бы правительственной властью вечевой общины. Управление ими, насколько оно было централизовано, остается в руке князя. И присматриваясь ближе к данным о первых проявлениях самостоятельности вечевых общин, видим в них вспышки местных городских сил, направленные против князя, как в Новгороде при старом Ярославе, в Киеве при Изяславе Ярославиче. Их последствия создают нечто новое, именно ограничение княжеской власти в Новгороде и необходимость для князей считаться с городским обществом на юге. Притом для самих местных городских сил этих характерно, что во главе их стоит боярство, т. е. наличный состав княжих мужей, должностных лиц княжой администрации, ставший самостоятельной общественной силой во главе вечевых общин. С таким представлением вполне согласно и то, что до первых выступлений веча источники не дают основания характеризовать древнерусский город, как самоуправляющуюся общину. Напротив, все данные, какими располагаем, указывают, что в основе древнейшего городского строя лежала организация,

созданная княжой силой. И я решаюсь утверждать, что *эта* сила создала древнерусский городской строй и подчинила городам волости-земли. В Новгороде и Пскове организация городского управления и властвования над землей перешла по мере упадка княжеской власти в руки вечевой общины, и то не вполне, а в Киеве суд и управление в городе всецело остаются в руках князя: тут о вечевом самоуправлении нет и речи, хотя князьям приходится считаться с волей городской общины в важнейших политических вопросах.

Эти наблюдения и вывод заставили меня сосредоточить внимание на условиях, определявших положение и значение князя в древней Руси.

К той же задаче вела меня и другая, не менее настоятельная, научная потребность: необходимость выяснить себе генезис той княжеской власти, какая выступает в следующий за киевским удельно-вотчинный период, так блестяще выясненный В. О. Ключевским. Эта вотчинная княжая власть выступает в обычном представлении нашем на историческую сцену как своего рода deus ex machina, с разрывом исторической традиции, и рассматривается притом как местная особенность северо-восточной Руси. Это побудило меня путем выяснения основных особенностей положения и значения древнерусских князей показать, что изучение этого вопроса позволяет выработать вполне органическое объяснение процесса развития княжеской власти с древнейших времен к удельно-вотчинному строю.

Таковы общие соображения, обусловившие постановку моей темы. Она естественно распалась на две задачи.

С одной стороны, изучение отношения князей к княжому владению со времени сосредоточения монополии на княжую власть в руках одного рода вскрывает господство семейно-вотчинных понятий в их воззрениях на свои княжеские права, что ведет к разделу отцовского наследства между сыновьями, к распаду Руси на ряд отдельных княжеских отчин. Торжество этой тенденции и привело к возникновению удельного раздробления. Но в течение так называемого Киевского периода оно развивается лишь постепенно, сдерживаемое наличностью интересов, требующих сохранения единства сил древней Руси. Эта потребность создает идею старейшинства киевского князя, выводить которую из начал семейно-родового княжеского быта можно лишь весьма условно. Фактические данные истории древней Руси не позволяют утверждать, чтобы княжой род усвоил себе сколько-нибудь определенную организацию своего единства. Устойчивого порядка преемства князей в старейшинстве древняя Русь не выработала, как не выработала и определенного содержания, ни политического, ни тем более владельческого, самого понятия о правах, связанных с этим старейшинством. Тем не менее именно в нем надо видеть публичноправовой элемент древне-русской политической жизни. И падение идеи старейшинства привело к победе

удельно-вотчинных воззрений на княжую власть, столь характерных для следующего исторического периода.

С другой стороны, опорой положения князя в его княжестве были не столько правительственные полномочия княжой власти, сколько те отношения, которые можно назвать социальной опорой князя. Ряд общественных элементов связан лично с князем особой связью, связью специальной княжой защиты и служения князю. Во главе этих элементов стоит дружина княжих мужей и княжих слуг, его княжой двор, развитие и расчленение которого создало на Руси боярский класс, давало князю личный состав его администрации. Постепенно приобретает князь и самостоятельное материальное положение в развитии княжого землевладения и в особых, независимых от веча правах на повинности части сельского населения — так называемых смердов. Этот строй отношений позволяет говорить об особом социальном организме княжого общества, стоящем рядом с народными общинами и обществом церковным. И это «княжое общество» не только обусловило первоначальное положение князя, но стало тою социальной силой, которая дала князьям возможность превратить в эпоху падения вечевых общин свои княжества в удельные вотчины. Таковы общие линии моих исторических представлений. Для полного их обоснования потребовалось бы обследование ряда иных явлений сверх тех, каких я успел коснуться в данной работе. Но я ограничил свою задачу лишь частью вопросов, вытекавших из общей концепции, именно тех, которые касались «отношений, выделяющих князя из народной среды, ставящих его не только во главе, но и вне их, в сфере особого княжого права». Под этой «сферой княжого права» разумею совокупность отношений, слагавшихся вокруг князей, по обычным нормам, независимым от обычного права народных общин. Историческим корнем, из которого выросли все эти отношения, представляется мне княжой дом, княжое огнище, с его княжескими и некняжескими элементами. Развернув свои династические силы, княжой дом Рюриковичей овладел княжеской властью на всей Руси; развернув свои дружинные силы и развив шире свое хозяйство, княжое огнище создало своеобразный социальный организм княжого общества. Совокупность относительно устойчивых и повторяющихся форм тех отношений, какие слагались между членами княжого рода, князьями и дружиной, а также зависимым от князей сельским населением, я определил, как область особого княжого права.

К выяснению этих отношений и свелась моя задача. Насколько удалось мне убедительно ее разрешить, судить не мне.

ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ПРОТОИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ [1]

(из «Яфетического сборника», V, Лнгр. 1926)

В наши дни усиленного внимания к новейшей истории стал на очередь так настойчиво, как давно не стоял, и так широко, как не стоял никогда, другой вопрос, резко противоположный в пространстве времен, но связанный с современностью в единой всеобъемлющей исторической перспективе: о начальных моментах русской истории. Этот вопрос — о характере и всей обстановке выступления восточного славянства на широкой арене Восточноевропейской равнины, выходит и по материалу и по методу исследования далеко за пределы одной научной дисциплины, а то состояние, в каком представляет его наличная литература, едва ли кого удовлетворяет.

Выступление это представляется как расселение славян, которое идет из юго-западного угла Восточной Европы по рекам и водоразделам, по стране как бы свободной от населения, до тех пределов, на которых славяне встречаются с финнами и литвой. Притом переселяются «племена» — летописные племена полян и древлян, волынян и дулебов, дреговичей и кривичей, северян, радимичей и вятичей, словен ильменских. Представление о том, что такое эти племенные единицы, что придает им единство и какое, остается весьма туманным, невыясненным. Конечно, летописный перечень племен восточного славянства отражает результат переселения и расселения. Однако и над всей картиной расселения господствует представление, что расселялись «племена» как «этнографические единицы», точнее не определяемые и неопределимые [2].

---

[1] По поводу трудов: *M. Rostowtzeff*, Iranians and Greeks in South Russia, Oxford, 1922; *М. И. Ростовцев*, Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических, Государственная Академия истории материальной культуры, 1925; *Ю. В. Готье*, Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы, т. I, Брокгауз-Ефрон, Ленинград, 1925.

[2] Так у лингвиста А. А. Шахматова («К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей», «ЖМНПр.», кн. 4,1899; «Очерк древнейшего периода истории русского языка», «Энциклопедия славянской филологии», вып. II, 1915; «Древнейшие судьбы русского племени, Пгр. 1919), так у археолога А. А. Спицына («Расселение древнейших племен по археологическим данным», «ЖМНПр.», кн. 8, 1899), так и у нас, историков, дело сводится к комментированию текста летописи.

В полном пренебрежении осталась та остроумная критика, какой подверг представление о древнерусских племенах С. М. Середонин [1]. Середонин убедительно отрицает за ними значение этнических групп и видит в них ряд группировок населения по местностям вокруг определенных культурно-политических центров в VII — VIII, частью в IX в., притом оказавшихся весьма неустойчивыми и недолговечными. И все «расселение славян» С. М. Середонин представляет, как движение «значительно меньших групп, чем племена», либо родовых союзов, а то и в одиночку, отдельными семьями, среди сравнительно слабо населенной страны, пока переселенцы не находили себе новых и безопасных мест: так «расползались» славяне по великой Восточноевропейской равнине. В этом движении «распадались прежние союзы, на их место образовывались новые, которые уже нельзя считать союзами лиц, связанных единством происхождения». Попытки связать этнографическую карту восточного славянства, как она намечена в летописи, с археологическими данными, дают трихотомию курганных древностей и населения по трем областям — юго-западной, северной и восточной, со значительной неопределенностью этой последней, т. е. то же, по существу, что получается и у А. А. Шахматова при установлении по данным исторической диалектологии разделения восточного славянства на южную, северную и восточную ветви в эпоху по «расселении».

Таковы в общих чертах исходные пункты наших обычных представлений о «начальном» моменте истории восточного славянства. Начинаем ее, собственно говоря, с пустого места, заполняемого актом «расселения» и попыткой дать себе отчет об его характере и последствиях, а затем организующей деятельностью пришлых варягов. Что славяне принесли с собой на эту новую для них историческую сцену, — это пробуем уловить в изучении «славянских древностей», и в них ищем то наследие, какое захватили с собой восточные славяне в языке, материальной культуре, общественном быту, верованиях и воззрениях из «славянской прародины», во первых, а затем из «прародины восточного славянства». Что же они нашли на местах своего нового поселения и в какую попали среду, — это выясняется на их сношениях, торговых и иных, с разного рода иноплеменными народами и культурными мирами, стало быть, на тех перекрещивающихся влияниях, каким они подверглись. За темой «расселения славян» следует вторая — «славяне и их соседи».

Недостаточность и крайняя схематичность такого подхода к выяснению корней восточно-славянской культуры давно ощутима. Отсюда ряд новых и новых попыток выяснить, что дает археология Восточной Европы для обогащения и углубления представления об этих корнях. Но результаты таких попыток до сих пор невелики. Смена доисторических и протоисторических культур рассматри-

---

[1] *С. М. Середонин*, Историческая география, 1916, изд. Арх. института.

вается, обычно, как смена народностей, если что и передающих преемственно друг другу, то весьма немногое. Обычно такое представление, что древние культуры и их носители сметены волнами «великого переселения народов», а тогда «с исчезновением оседлого населения и главных масс кочевников из южнорусских степей двинулись в них славяне» [1]; с этим движением история Восточной Европы началась как бы заново.

Над всеми схемами древнейших судеб Восточной Европы господствует представление о «племенах», обособленных друг от друга определенных этнических единицах, определенных культурно-исторических типах, каждое со своим языком или хотя бы наречием, формами материальной культуры и быта, особыми антропологическими чертами. Племена эти передвигаются, переселяются, расселяются, сохраняя, однако, основную этническую индивидуальность, заимствуют друг от друга отдельные слова и вещи в торговом обмене и культурном взаимодействии. Можно сказать, что мы с большой легкостью переносим на эти «доисторические племена» привычные нам представления о взаимодействии устойчивых национальных групп и культур нового времени. Этим проблема этногении отодвигается возможно дальше от исторического горизонта, в туманную даль «прародин», «праязыков» и «пракультур» как процесс, в основе законченный даже не в так называемые доисторические времена, а где-то на гранях между животной и человеческой жизнью, вне кругозора не только исторического, но и археологического изучения [2].

Между такой палеоэтногенией и исторической жизнью связь оказывается порванной. Один процесс должен был закончиться, чтобы начался другой. Для их изучения и материалы и методы принципиально различны.

Немыслимо устоять на путях такого антиисторического мышления. Очередная задача понять процессы этногении не как явление, законченное в период какой-то прадоисторической жизни человечества, а как непрерывную и бесконечную основу истории культуры, живую основу исторического процесса в его целом. Отсюда назревшая потребность уяснения связи между доисторической и исторической жизнью, вернее, устранение их противопоставления, как мнимого и условного, а стало быть, понимания истории культуры как единого во всем своем многообразии вековечного процесса скрещения и взаимодействия этногенических и культурных явлений и элементов. Усиленный интерес к связи «истории с доисторией» поставил, между прочим, на очередь попытки синтетического итога наших сведений о протоисторическом периоде в судьбах Восточной Европы. Московский историк Ю. В. Готье еще в 1916 г. подошел к археологии Восточной Европы с вопросом, что

---

[1] *М. К. Любавский*, Лекции по древней русской истории.

[2] Характерный пример — один вместо многих — убеждение М. С. Грушевского, что украинская народность вышла из славянской прародины в основных чертах своих готовой, как Афина-Паллада из головы Зевса.

она дает для понимания древнейшего периода русской истории. Исходный пункт ответа в том, что Восточная Европа «искони, от времени каменного века была страной торговых путей и культурных влияний»; эти влияния идут по речным путям из глубин Передней Азии к Балтике. Долгие и древние культурные сношения с внутренними областями Азии, а при их посредстве с древними культурными странами ее юга и юго-востока и через Кавказ с очагами древней Месопотамской культуры — вот что поражает в доисторических древностях Восточной Европы. Затем идет «греко-туземная культура русского юга», причем «возможно связать в одну непрерывную нить воздействие античной цивилизации на Восточноевропейскую равнину от времени путешествия Геродота до крещения Владимира и построения Софии Киевской и Софии Новгородской». Глубокая почва археологического прошлого Восточной Европы — восточная. А на этой почве археология застает славян на местах их позднейшего обитания, в Смоленщине и Черниговщине, и в той местности, которую слависты признают «прародиной» всего восточного славянства, — в Полесье и на Волыни, причем тут, судя по археологическим данным, нет «каких-либо указаний на смену культур или народностей, на какой-нибудь сдвиг населения: получается впечатление, что одно и то же население сидело здесь очень долго».

К этим вопросам Ю. В. Готье вернулся снова в общем курсе русской археологии, первый том которого недавно вышел в свет. Тут находим опыт свода наших сведений по истории материальной культуры Восточной Европы с древнейших находок, какие доступны археологу. Задача этого свода — задача историка: уяснить взаимоотношение исторических и археологических изучений и «установить между ними ту теснейшую связь, которая всеми чувствуется, но недостаточно сознается», тогда как «пора установить их очередные задачи при разрешении задач, одинаково интересных и для историка и для археолога». Оценка точности трактовки археологического материала у Ю. В. Готье вне моей компетенции: не археологи мы оба, а историки, и труд Ю.В. Готье есть общий курс, составленный на основании изучения наличной археологической литературы, самостоятельно проработанной историком в целях его специальных интересов. Остановлюсь несколько только на основных линиях его изложения, ради которых он и вел свой труд.

На первом плане, естественно, и тут — торговые пути и шедшие по ним влияния. Но Ю. В. Готье ставит с самого начала и вопрос, «уже поставленный в археологии», — именно «о преемственности различных племен в насиженных местах древнейших поселений Восточноевропейской равнины, т. е. вопрос, который можно формулировать так: были ли древнерусские города основаны русскими славянами, или же это были готовые гнезда, созданные кем-то и когда-то ранее, но которыми русские славяне воспользовались, когда коловращение племен привело их на эти места?» Вопрос этот имеет, как известно, особо яркую иллюстрацию в археологии Киева, место которого «было излюбленным местом человека еще в палео-

литические времена», как и местности по берегам Днепра к югу от Киева. Вообще обзор палеолитических стоянок ведет к заключению, что уже первые поселения, следы которых сохранились, намечали пункты, притягивавшие население в течение ряда последующих веков.

Полнее картина неолитического периода, когда «беспорядочные палеолитические стоянки заменяются более правильно организованными селениями». Памятники этого периода свидетельствуют о связях между очень отдаленными областями, а общий итог их обзора дает вывод, что «неолитическая культура была распространена по всей стране, от Урала до Балтийского моря, от Белого моря до морей Черного и Каспийского», впрочем, только по речным долинам, не овладевая сплошными территориями скольконибудь широких областей [1]. Притом, антропологические данные указывают на принадлежность населения к нескольким различным расовым типам, которые не только существовали рядом, но, по-видимому, и очень мало скрещивались. Отдельные гнезда расселения не велики и разрозненны, хотя между ними надо допустить сношения по водным путям. Пестроте антропологических черт неолита соответствует пестрота погребальных типов и вообще всего археологического материала. Восточноевропейская равнина еще далека от того, чтобы сложиться в единую хозяйственно-культурную область, как ни предполагать значительными для развития неолитических культур сношения по водной системе. И тут смена культурных форм, как и переход позднекаменного века в бронзовый, и дальнейшая эволюция свидетельствуют о ряде наслоений в вековой эволюции, причем все признаки говорят «о каком-то постоянстве, какой-то преемственности культуры», особенно Прикамья и Приуралья: «Как будто здесь не было насильственных переворотов, резкой смены племен, и все время, по крайней мере, с бронзового века, жило население одного и того же происхождения». Так и далее, обращаясь к «раннему железному веку на юге России», Ю. В. Готье подчеркивает, что ранние моменты этого периода свидетельствуют о «переходе здесь одной и той же культуры из стадии меди и бронзы в стадию железа», что смена культур не стоит в прямой, по крайней мере, связи со сменой населения. Если этот вопрос вызывает какие-либо сомнения, то потому, что археологические разыскания слишком исключительно вдохновлялись музейно-коллекционерским интересом к «вещам» и «находкам» при недостаточном внимании ко всей бытовой обстановке, так что, например, «систематическое исследование городищ раннего железного века как на северном, так и на юго-восточном рубеже леса и степей, есть дело будущего», и в силе остается замечание А. А. Спицына, что даже «к отысканию поселений скифов у нас пока не приложено достаточного внимания». Так, и от пестрого населения

---

[1] «Находки позднего каменного века, очень частые вблизи рек, вдруг резко обрываются, как только от них отходят».

Прикубанья и кавказских предгорий остались «многочисленные, но совсем не исследованные городища». В главах, посвященных югу России, Ю. В. Готье дает обзор попыток приурочить типичные «погребения» и «культуры» к определенным племенам, отмечая всюду условность таких приурочений. В этих очерках он многое усвоил из трудов М. И. Ростовцева, и потому на них не буду останавливаться. Отмечу только в заключение, что книга Ю. В. Готье дает цельный обзор своей темы; и как бы ни были оценены те или иные детали изложения им вопросов, спорных и в специальной археологической литературе, этот обзор отражает в основных чертах современное состояние наших сведений по археологии Восточной Европы. И тут, как и в отношении к славянским древностям, выступает ненадежность обычного приема — во что бы то ни стало связывать каждую культуру более или менее определенного типа с особым «племенем» как особой этнической единицей. А, вместе с тем, выясняется неизбежность иного подхода: сквозь многогранную призму распространения и смены, эволюции и скрещения форм материальной культуры присмотреться к иному процессу, — процессу возникновения новых и новых племенных образований, их разрушения и перегруппировки, в непрерывном антропологическом и культурно-историческом скрещении, процессу этногеническому по своей сущности и значению. Восточноевропейская равнина выступает с древнейших времен в значении огромного антропогеографического котла, в который из века в век вливались разнородные этнические элементы, и в котором они переваривались в ряд новых этнических групп, количественно дробных, качественно мало устойчивых, связанных по временам в более обширные группы и союзы внешними экономическими связями обмена, а также, особенно на юге, даннических отношений и политического порабощения одних другими. Притом и эти внешние связи лишь весьма медленно и с большими колебаниями осуществляли свою этногеническую функцию внутренней спайки охваченных ими элементов населения, так как одновременно и объединяли их взаимодействием и разрознивали борьбой и «примучиваньем» заставляли население замыкаться в отдельные мирки, которые уже не смогли бы существовать разрозненно, раз завязался и упрочился обмен, но и не сливались в какое-либо глубже спаянное и более широкое устойчивое племенное объединение. Итоги, подведенные Ю. В. Готье, тем особенно интересны, что, охватывая доисторические культуры с палеолита, вызывают такое представление о доисторической жизни Восточной Европы в ее целом, которое подготовляет к подчеркнутой оценке принципиальной значительности наблюдений и выводов М. И. Ростовцева.

М. И. Ростовцев решил дать историю южной Руси в доисторический, протоисторический и классический периоды ее прошлого [1] до эпохи «великого переселения народов» (а дал больше, так

[1] Получается поучительный словесный парадокс: «история доисторического периода»; это только свидетельствует о полной ненаучности термина «доисторический», материально пустого пережитка устарелого подхода к явле-

как захватил и образование Киевской Руси). Труду этому М. И. Ростовцев предпослал обзор всего, сюда относящегося литературного и археологического материала [2].

Руководящая мысль труда Ростовцева, что южная Россия древних времен — страна Востока, что корни ее культуры — на Кавказе и в странах Евфрата, Малой и Средней Азии. Эта культура сложилась на связях с восточным миром, из недр которого многое вынесено, и дальше на Запад с движением сарматских племен, готов и гуннов. А греческие, тем более западные и северные влияния и элементы имеют для этой культуры только второстепенное значение. Описания, классификация, датировка памятников этой культуры далеко не исчерпывают задач ее изучения. Надо понять ее как существенный момент в исторической жизни евразийского мира. Надо не только разлагать ее на элементы скифские и греческие, восточные и западные, иранские или иные, а понять данную культурную область как новое и цельное явление, как мир «смешанных культур», вернее, как мир скрещения и новообразований, мощно влиявший и на Восточную и на Среднюю Европу.

Русские степи, открытые со всех сторон, привлекали не только кочевников, но также охотничьи племена и земледельцев из средней полосы Восточноевропейской равнины и из равнины Дунайской, и эти племена оседали тут на ряд столетий. Древнейшие погребения со скорченными костяками уже знают хлебные зерна, и нет указания на смену населения, носителя древнейшей культуры, от времен неолита до появления киммерийцев и скифов. Этническая инфильтрация идет со всех сторон, но в массе население остается неизменным, и обычные представления о крайней неустойчивости быта в этой степной стране сильно преувеличены. Пришлые кочевники, лучше организованные и лучше вооруженные, немногочисленны и водворяют свое господство над местным населением. Сменявшееся господство киммерийцев, скифов, сарматов ложилось поверх массовой местной жизни и опиралось на «относительную зажиточность» местного населения и его культуру, «значительно развитую» и сложную, как результат скрещения элементов исконных и вновь вносимых пришельцами с Востока. Эти сменявшиеся господства сплачивали обширную страну, объединяли ее разбросанное население и создавали возможность устойчивых внешних сношений, прежде всего торговых; вносили в местный быт большую напряженность экономических отношений и производства своей эксплоатацией населения в форме сбора дани и втягивали страну в торговый обмен более широкого масштаба; осложняли культуру новыми элементами, занесенными из чужих стран; вводили ее в

ниям, предшествующим возникновению письменной традиции и национальной государственной жизни. Не лучше, правда, и термин «первобытная» культура, не отвечающий никакой реальности, научно определимой. Это ведь тоже наследие устарелого представления о быте «диких» племен в древнейших стадиях общественной эволюции, будто ему родственных.

[2] Волею судеб конструктивный труд вышел по-английски в Оксфорде и притом на три года раньше, чем обзор материала.

расширенный международный оборот. Южная культура развивалась под вооруженной обороной от ударов с севера, а греческие колонии Черноморья имели в этих варварских державах необходимый для своего процветания Hinterland.

Этническая инфильтрация и этнополитические наслойки характерны для этой страны с тех пор, по крайней мере, как носители неолитической культуры, характеризуемой спиральным и меандрическим орнаментом на утвари, господствовали над населением, оставившим после себя погребения со скорченными скелетами, чтобы затем подвергнуться в свою очередь поглощению новыми пришельцами.

В главе о «доисторических культурах» Ростовцев делает интереснейшую попытку установить два существенных вывода. Во-первых, об устойчивости местного оседлого населения, характеризуя его поселения (с неолитических времен), его утварь, его земледельческое хозяйство и скотоводство, с заключением, что «культурная жизнь никогда не прекращалась в западной части южной России, и в течение бронзового века население оставалось оседлым и земледельческим». А во-вторых, о сложном скрещении культур в совместном существовании разных типов погребения и пестроте вариантов одного и того же типа, или в сплетении и взаимодействии черт орнамента и форм утвари и оружия, переходивших с металла на камень, быть может, и обратно.

Весь этот местный процесс Ростовцев ставит в соотношение с широкими аналогиями в формах и типах других областей. Богатые центры металлической культуры — Элам, Месопотамия, Египет, Средняя Азия и Кавказ — создали культуры независимые и различные, но имеющие ряд ярких черт сходства. Объяснять ли эти сходства предположением общего коренного источника где-нибудь в Азии или общим состоянием психики, как это имеет место в культурах палеолита и неолита, создавших повсеместно одинаковые формы, вполне независимо и разве только слегка под влиянием незначительных сношений? Во всяком случае общий фонд культурных черт, сходных и сродных, облегчал и обусловливал возможность и даже неизбежность дальнейших скрещений по мере развития сношений.

А южнорусский мир сложных этнографических инфильтраций и скрещений организационно объединен и введен в ряд международных связей господством военной силы киммерийцев, затем скифов. Киммерийская держава создала условия для устойчивого торгового обмена русского юга с Средиземным морем. Этих киммерийцев, о которых Готье пишет, что они «в ожидании каких-нибудь новых данных остаются с точки зрения археологии темным и пустым местом», Ростовцев ищет по их следам в памятниках, видит изображение их борьбы со скифами на горшке Солохи, памятку по них в зверином орнаменте Михалковского клада, уже в сочетании с туземным геометрическим орнаментом...

В таком же господстве незначительного меньшинства над обширной территорией и ее пестрым трудовым населением сменили

киммерийцев скифы. Нельзя говорить о заселении юга России какими-то кочевыми скифскими племенами. Даже у Геродота, на которого Ростовцев слагает ответственность за обычай называть скифами население юга России, видно в описании Скифии, что собственно скифы были «правящей аристократией». Ее сила в строго выдержанной военной организации (как позднее у хазар, печенегов, половцев или татар) с царем во главе, который окружен войском, всегда готовым к бою. В мирное время скифы живут данью с покоренных областей и доходом от своих стад — коней, рогатого и мелкого скота. Кочевники—воины, скотоводы и охотники, они охраняют свои обычаи и свой строй сил и быта как залог своей обособленности и господства, кочуя между Доном и Днепром. В подчиненных областях, в долинах Днепра и Буга, в долине Кубани, на них работает местное земледельческое население, управляют им правители из скифов, присланные в каждую область с отрядом военной силы. Вся скифская держава поделена на 4 провинции, которые в свою очередь делились на области-участки. Отношения местных вождей, скифов-номархов, к царю можно себе представить как связь полунезависимых князьков с центральной властью в военном, а частью и в династическом отношении.

Ростовцев вновь и вновь настаивает на том, что расцвет греческих колоний в Черноморье VI в. обусловлен именно образованием на юге России устойчивой политической организации, подобно тому как расцвет малоазиатских греческих колоний опирался на связи с Лидийским и Персидским государствами. Торговля шла предметами дани с подвластного населения (хлеб, кожи, меха), ценными металлами, получаемыми путем торгового обмена с северо-востоком и востоком, наконец, рабами-пленниками, захваченными в соседних областях, в обмен на произведения южной культуры, создавала богатство скифов и их своеобразно пышную культуру.

Новые элементы внесены в культуру Восточной Европы напором сарматских племен, затем кельтским движением III и II вв. и движением германцев на юго-восток в I в. до н. э. и I — II вв. н. э. Но как бы ни были характерны эти новые элементы, их учет заканчивается выводом, что характерные черты южнорусской культуры и основные явления социально-политического уклада южнорусского быта остаются, по существу, те же, какие сложились в этой стране в «классическом» периоде. Мощный культурный район, созданный вековыми скрещениями, оказал сильное влияние и на Среднюю Европу и на среднюю и северную области Восточноевропейской равнины.

Поэтому ошибочно и русскую историю начинать девятым веком, следуя русским летописям, и отожествлять историю России с историей славянства. Основой культурного развития этой страны послужило наследие вековой жизни, спаявшей местные элементы и поставившей их в давнюю связь с отдаленными странами, не только культурного Юга, но и финского Севера, и Дальнего Востока через Сибирь, и Средней Азии по путям караванной торговли. «Вековое существование такой торговли под охраной военных

сил скифской державы, с одной стороны, усиливало производительность скифской страны и соседних областей, а с другой — вызвало развитие многих торговых пунктов городского типа по берегам рек». Это положение Ростовцев иллюстрирует ссылками на город геродотовых гелонов, на упомянутые Птолемеем города по Бугу, Днепру, Дону, Кубани. А затем Киевщина, Полтавщина, Черниговщина, «та область, где культурная жизнь достигла сравнительно высокого уровня в последнем периоде скифского господства, т. е. в IV и III вв. до н. э.», получила новое оплодотворение с отливом германских племен к Востоку в I в. до н. э., I и II вв. н. э. В археологических памятниках Поднепровья Ростовцев указывает следы пребывания германцев, которые принесли сюда греко-римскую утварь, стекло и римские монеты, встретившиеся тут с монетами боспорских царей: здесь грань германского движения навстречу сарматам.

Последняя волна германского движения — готы, прямые предшественники киевских князей в сношениях с побережьем малоазиатского Черноморья и фракийского Боспора. На два с лишним века — еще одно военно-торговое государство. Преемниками германцев выступили славяне, когда движение гуннов расчистило им почву. Иордан знает в VI в. о заселении славянами Поднепровья и Черноморских степей. Славяне, последние пришельцы, снова создали в этой стране государство того же военно-торгового типа. Киевская Русь — последнее звено древней исторической цепи и первое—новой. Она унаследовала от векового прошлого города, торговлю, культуру. Святослав борется за скифское наследство, прочищает пути восточных сношений. Но новый наплыв азиатских орд, господство в степи печенегов и половцев изменили всю ориентировку: Киевская Русь отрезана от Востока [1].

Итак, Киевская Русь унаследовала от векового прошлого южной России города, торговлю и культуру.

Ростовцев связывает свои наблюдения с теорией Ключевского о «торговом происхождении древнерусских городов» и подводит под нее как бы новый фундамент. Однако исторически мы не знаем древнерусских городов как торговых центров помимо и до господства в них варяжских князей и их дружин. Именно эти князья, действительно, повторяют схему скифской державы в своем гос-

[1] Для этого момента — перелома древней исторической цепи на киевском звене — М. И. Ростовцев, несомненно, недооценивает значение двух существеннейших обстоятельств. Ростовцев полагает, что «путь из варяг в греки» намечен уже в IV — III вв. до н. э.; несомненно, что Киевская Русь впервые разрешила задачу объединения земель по этому пути, проложенному сравнительно поздно (как правильно принимают и Арне и Готье), и тем приобрела новую базу для господства над Восточноевропейской равниной; что и сделало ее первым звеном новой исторической цепи — процесса более устойчивого объединения этой равнины, который и создал после вековой дальнейшей борьбы Европейскую Россию. В то же время господство в степи печенегов и половцев не само по себе подорвало отношения южной России с Востоком, а лишь в связи с глубоким кризисом, какой тогда переживали культурные страны Средней и Передней Азии; «скифское наследство», за которое боролся Святослав, потеряло свою цену с оскудением азиатских рынков.

подстве над туземным населением, на иной, впрочем, территориальной базе — новгородско-киевской.

Тип «примитивно-торгового государства» [1] или «военно-торгового» роднит с той же схемой и социально-экономические отношения Киевской Руси. В ценном этюде проф. П. Г. Любомирова о «Торговых связях древней Руси с Востоком в VIII — IX веках» [2] находим тщательно проверенную и разработанную (преимущественно по данным о кладах восточных монет) картину этих торговых сношений. Учет значительности этих сношений и выяснение их путей, реально использованных, «широты и глубины захвата Руси восточной торговлей» и «порядка и хронологии вхождения отдельных районов в эту торговлю» дают показательные результаты. «Еще в VIII в. захвачен торговым движением Днепр в среднем течении, примерно до Орши; оно успело перекинуться и на Западную Двину... одновременно Волгой арабские диргемы проникают в Ростовско-Суздальский край и через него до крайних на северо-западе — Ладоги и Пскова». Однако движение это скользит по стране, не захватывая массы населения. Торговые центры на главных речных путях и поселения по рекам и на переволоках, — вот кто видел диргемы и восточные товары, а верст за 50—100, а часто и гораздо меньше в сторону, и жители поселений, врезавшихся в густые леса, — вне этих связей при посредстве купца. Война и дань — таковы источники, доставлявшие в руки купцов товары, ценимые на Востоке. Эти купцы — элемент городского военно-дружинного строя. Выводы П. Г. Любомирова дают в общем ту же картину распределения и распространения культурных связей, какая знакома нам с каменного века, и ту же картину социально-политических отношений, какую Ростовцев раскрывает для времен скифской державы или государств сарматов и готов.

Относительно культурного наследия, воспринятого Киевской Русью, мы еще не так давно слышали утверждение Н. П. Кондакова о «бедности в древностях Киевской Руси на первое время всякой орнаментации из мира животных при преобладании геометрических форм и растительного типа украшений», а специально по отношению к «готским древностям», что «как будто вся эта характерная орнаментация была пронесена мимо и не дала отпрыска на север от Киева» [3]. Теперь М. И. Ростовцев имеет возможность дать не только интереснейшую характеристику очень сложной культурно-исторической картины Поднепровья (Киевщины и Полтавщины), где скифская культура встретилась с местным особым культурным укладом оседлого земледельческого населения, жившего в укрепленных поселениях и вооруженного тем же железом, что и пришельцы из степи, но и установить яркие черты дальнейших судеб культурной жизни в этой стране в эллинистическое

[1] Термин В. В. Святловского; см. «Примитивно-торговое государство как форма быта». II, 1914.

[2] В «Ученых записках Государственного саратовского университета», т. I, вып. 3, 1923.

[3] *Н. П. Кондаков*, Русские клады, т. II, 1896.

и римское время и позднее, восстановляя сплошную линию эволюции до периода, «особенно важного и интересного для истории мировой культуры», когда создался облик материальной культуры раннего западноевропейского средневековья в «готских древностях», возросших на скифско-сарматской почве. Теперь М. И. Ростовцев имеет возможность разъяснить и то явление, которое смущало Кондакова, тем обстоятельством, что основы стиля, господствовавшего в России в ту же эпоху раннего, а затем и позднего средневековья, зародились на той же почве, которая определила тип «готских древностей», но вне прямой зависимости от них, так как почерпнуты из общего с ними источника — иной культурной среды, сложившейся на сарматском юго-востоке, на Кубани и в Поволжье, чтобы затем разлиться в западном направлении и пережить дальнейшую эволюцию в плодотворном взаимодействии своих восточных черт и греческого мастерства пантикапейских мастерских, а дальше местных туземных культур и шедших с Запада новых веяний.

Последняя глава английского труда М. И. Ростовцева «О происхождении русского государства на Днепре» заслуживает дальнейшей проработки с точки зрения конкретизации черт и условий того преемства, какое она устанавливает. Такая проработка особенно важна ввиду вывода, к какому пришел Н. Я. Марр [1] о том, что «глоттогеническая эпоха», создавшая в их основах современные языки, им изучаемые, «территориально связана с скифско-сарматским районом юга России», и что отсюда вышли преемниками вековой этнической жизни не только языки Кавказа, но и «перешедший в стадию индо-европейского развития славяно-русский язык». Процессам миграции племен, их расселения и взаимодействия на путях торгового и военного междуплеменного общения Н. Я. Марр противопоставляет более сложные и органические процессы этногении. «Это, — говорит Н. Я., — не переселение готовых этнических образований племен или народов, а доисторическое расселение человеческого рода в эпохи его племенного формирования или этногении по всему Средиземноморью». Корни изучаемых Н. Я. Марром явлений «в доисторической расселенности не одного сложившегося уже какого-либо народа, а многочисленных племен различных этнических образований, независимо от возникших впоследствии в каждом из этих разобщенных исторических гнезд исторических народов и культур».

Эта «доисторическая расселенность» старше возникновения таких народов, старше даже образования особой семитической семьи языков и, тем более, «завершения особенно мощного процесса индо-европеизации», т. е. трансформации яфетических языков в индо-европейские.

Так, и у Н. Я. Марра процессы этногении как бы удалены в глубь первобытных времен, а исходным пунктом имеют доистори-

---

[1] *Н. Я. Марр*, Термины из абхазо-русских этнических связей «лошадь» и «тризна», Ленинград 1924.

ческую расселенность человеческого рода, уже состоящего из многочисленных племен различных этнических образований.

В этом отношении я позволю себе быть plus royaliste que le roi и предложить, хотя бы в виде рабочей гипотезы, два положения.

Во-первых, отрицание грани между «доисторической расселенностью» и «средневековыми переселениями», в которых Н. Я. Марр готов видеть «явление иного порядка». Во-вторых, сосредоточение внимания и изучения на связях раннего средневековья — в его материальной культуре и социально-политических отношениях с эпохой, условно называемой «доисторической», суть которой, по Марру, в процессах этногении и глоттогении.

Всякая расселенность есть момент в процессе расселения предшествовавшего и дальнейшего в непрерывном движении населения, этом субстрате этногенической эволюции. В доисторической расселенности не может быть принципиального различия с средневековыми переселениями. Напомню, что одной из крупных заслуг Фюстель де Куланжа [1] надо признать установку вывода, что в эпоху великого переселения народов раннего средневековья передвигавшиеся племенные группы были сравнительно весьма незначительны по количественному составу, и что обычное представление о переселении каких-то племенных масс — «народов» — сильно преувеличено. Притом в истории переселения германских племен племенные названия мелькают как в калейдоскопе, исчезают и появляются вновь в краткие промежутки времени, а более крупные племена, вроде франков, бургундов и др., являются сложными агломератами, объединениями целого ряда мелких племен, поглощенных новой военно-племенной организацией, творящей над ними свою не только организующую, но и этногеническую функцию. Да и эти относительно крупные единицы настолько не громоздки по составу, что проходят, как готы, лангобарды, франки и бургунды, сквозь ряд областей, не разрушая их населенности, а только постепенно растут в силе, увлекая за собой и вовлекая в свой состав части местного населения. Когда же они расселяются на новых местах, то занимают весьма небольшие территории или расселяются вперемежку с местным населением, захватывая чресполосно часть его земель, а затем через каких-нибудь два-три поколения этнически расплываются в нем. Средневековые переселения — форма сложного этногенического процесса, который создает ряд разнообразных комбинаций то романских народностей из элементов в массе кельтских и германских с пережитками доиндо-европейских, условно-яфетических элементов, то германских — в Средней Европе, где этническая подпочва была едва ли менее сложной и пестрой. Кристаллизируется этот процесс с большой постепенностью в образовании крупных народностей, уже на почве консолидации территориально-политических организаций и народно-хозяйственного районирования областного быта. То же надо сказать и о славянах, в частности восточных: племена — новообразования эпохи пересе-

[1] *Fustel de Coulanges,* L'invasion germanique.

лений, притом образования, переживающие ряд переломов, скрещений, распадов и новых объединений. Поэтому и термины «племенных» и «национальных» наименований часто носят, независимо от их первоначального значения, печать не этнического, а социального и политического смысла, как «франк» на западе, «русь» на востоке; они образуются перенесением на политически организуемую территорию и ее население имени господствующей центральной силы — франков, руси, болгар, ляхов-поляков и т. п., причем и сами эти-то имена имеют свою, иногда очень сложную «доисторию». Аналогична и судьба тех терминов, по существу этнических, которые стали терминами социального быта и семасиологическую историю которых так внимательно выслеживает Н. Я. Марр в ряде работ. Все это явления, близко знакомые раннему средневековью как западному, так и русскому в эпоху «великого переселения народов», и его результата — образования ряда «варварских государств». И самый процесс «великого переселения» медиевисты ведут не с IV в., а со времен Цезаря и первых веков христианской эры, как движение, уходящее в большую старину, на много старшую, чем самое раннее средневековье, тем более, что и германские передвижения времен Римской империи не отделимы от «доисторических» миграций тех же «германцев» или «кельтов» и более ранних, еле уловимых по данным не столько историческим, сколько лингвистическим и археологическим. Немудрено, что изучение европейских языков методами палеолингвистики вскрывает в них глубокие слои архаических пережитков, не только языковых, но и отложившихся в речи-мышлении представлений натуралистических, социальных и культурных. А эти «пережитки» далеко не только пережитки. Это живые элементы текущей жизненной эволюции.

Период протоисторической жизни создал богатое наследие не только языка, но и материальной культуры и социальных отношений. Изучение древностей великого переселения народов, по следам Стржиговского, и русских древностей, по следам Кондакова, должно примкнуть к этой общей концепции, раскрывающей широкие перспективы.

Присматриваясь к смене культур, М. И. Ростовцев, особенно наглядно в труде «Скифия и Боспор», выслеживает их скрещивание, взаимную инфильтрацию их элементов и, встречаясь с появлением новых типов, отступает перед легким соблазном объяснять сложный культурный процесс меной племен и народов. «Самым простым было бы и здесь применить этнографическую панацею», таково одно из его типичных замечаний, «но вряд ли это будет правильно и убедительно; пока что, будем довольствоваться констатированием факта». «Этнографическая панацея» племенных миграций уже не удовлетворяет исследователя. Значение этих переселений велико, но самое представление об их характере, об их технике, размерах и последствиях требует внимательного пересмотра с точки зрения их роли в глубоких этногенических процессах. А скрещение форм материальной культуры, свойственная им миграция и вся их эволюция, обусловленная изменениями бытовых условий, тех-

ники и материала, — незаменимый источник для изучения истории культуры в ее этногенических основах.

Не менее существенна и другая задача — изучение в социальном строе раннего средневековья и на Востоке и на Западе тех черт его общественного быта, которые надо признать «архаизмами», роднящими этот быт преемственно с предыдущим «протоисторическим» периодом. Подходя к ним с предпосылкой непрерывной эволюции быта, можно найти в них опору для уяснения основных черт социального строя более ранних эпох. Такое исследование не должно останавливаться перед огромной трудностью, состоящей в отсутствии, почти полном, материала для прямых наблюдений. Ведь и языки этих племен сами по себе нам недоступны, и только в широком охвате языкового материала всего европейского и — шире — всего средиземноморского мира достигает лингвистика выводов существенных, в частности, и для уяснения протоисторических судеб Восточной Европы, освещая их попутно на разработке более общих принципиальных и теоретических проблем. Социологическая трактовка таких явлений раннего средневековья, которые уже в первых исторических свидетельствах о них выступают с чертами архаизма, сложившегося результата долгой эволюции, либо вымирают на глазах историка в новых бытовых условиях, либо перерождаются и живут в новом быту как явные пережитки в обычаях, символах, формулах, утративших первоначальный смысл и осмысленных заново, может, с своей стороны, пролить свет на ряд условий общественного быта протоисторических эпох. Изучение с такой точки зрения дружины и верви, семьи-задруги и рода-племени, древнейших форм промыслового и земледельческого хозяйства, военного строя и организации общественной защиты, кровавой мести и виры-головщины, народного и княжеского суда, правового формализма и символизма и т. п. может дать немало существенного для освещения процессов этногении с социологической точки зрения.

Только совокупными и согласованными усилиями археолога, лингвиста и историка можно подойти ко всем этим проблемам и, в частности, к более отчетливому синтезу протоисторических судеб Восточной Европы, как части евразийского мира, в эпоху этногении, процесса не замирающего на пороге истории, а составляющего основу всего ее многовекового течения.

ВИЛЬГЕЛЬМ ТОМСЕН О ДРЕВНЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ[1]

В 1927 г. исполнилось пятьдесят лет с выхода в свет английского издания трех лекций Вильгельма Томсена, прочитанных им в Оксфорде в мае 1876 г., под заглавием: «Отношения между древней Россией и Скандинавией и возникновение Русского государства»[2]. Эта небольшая книжка имела свою весьма длительную историю, свидетельствующую о том, какое она получила устойчивое значение в литературе своей основной темы. В 1879 г. появилась немецкая переработка лекций Томсена, выполненная Л. Борнеманном[3] при прямом участии и согласно указаниям самого автора: кроме ряда дополнений и уточнений аргументации, лекции снабжены аппаратом примечаний, значительно пополненных сравнительно с первым изданием. В 1882 г. — авторизированное шведское издание, подготовленное Свеном Зёдербергом и Хансом Хильдебрандом[4]. В 1891 г. вышел русский перевод Н. И. Аммона[5] с борнеманновской немецкой переработки, но без использования шведского издания; заглавие Аммон сохранил борнеманновское: «Начало Русского государства» — «Der Ursprung des Russischen Staates»; шведское издание озаглавлено: «Основание Русского государства скандинавами», и то же заглавие имеет датское издание в составе I тома «Собрания исследований» В. Томсена[6],

---

[1] Напечатано в изданных Академией наук СССР «Очерках по истории знаний», IV, «Памяти В. Томсена. К годовщине со дня смерти», Л. 1927.

[2] The relations between ancient Russia and Scandinavia and the origin of the Russian state — three lectures delivered at the Taylor Institution, Oxford, in May 1876, in accordance with the terms of lord Ilchester's bequest to the University, by Dr. Vilhelm Thomsen. Oxford and London, James Parker and C°, 1877.

[3] Der Ursprung des Russischen Staates, drei Vorlesungen von Dr. Wilh. Thomsen. Vom Verfasser durchgesehene deutsche Ausgabe von Dr. L. Bornemann. Gotha, F. A. Pertes, 1879.

[4] Ryska rikets grunlägging gekom skandinaverna, mad författerens tillstand öfversatt af Dr. S v e n S ö d e r b e r g, jämte tilläg of Riksantiquarien Dr. H a n s H i l d e b r a n d, Stockholm, 1882

[5] *В. Томсен*, Начало Русского государства, три чтения, с просмотренной автором немецкой переработки д-ра Л. Борнеманна, перевод Н. Аммона, «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских», кн. I, 1891, и отд.

[6] Dat russiske riges grundlaeggeles ved Nordboerne в издании: V i l h. T h o m s e n, Samlede Afhandlinger, I bind, Kobenhavn og Kristiania, 1919. К этому изданию приложена статья В. Томсена «Bemaerkninger om Varaegerspörgsmalet»—ответ В.Томсена на критику шведского издания его чтений N. Höjer'a, Historisk Tidskrift, 1883, т. 3.

вышедшего в 1919 г. В окончательной своей редакции труд Томсена утратил форму «трех чтений» и получил построение исследования, разделенного на 10 глав с заголовками: 1) Введение. Славяне и их соседи; 2) Нестор и основание русского государства; 3) Русь и греки; 4) Русь и мохаммеданские авторы; 5) Названия днепровских порогов; 6) Русские личные имена; 7) Северные памятники и археологическое находки; 8) Имя русь, рус, рос; 9) Варяги, вэринги, варанги; 10) Скандинавский элемент в России. Эти заголовки четко характеризуют построение всего труда.

Труд В. Томсена невелик по объему: 135 страниц крупного шрифта «Чтений в Обществе истории и древностей российских» в русском издании, 181 страница в последнем датском издании, еще более разгонистого шрифта «Собрания исследований». К тому же труд этот задуман и выполнен не как монография по сложному и многоспорному вопросу, а как сжатый очерк в трех лекциях, прочитанных в Оксфорде, куда В. Томсен был приглашен для выступления в организуемых на средства, завещанные лордом Ильчестером, докладах по изучению славянского мира.

Такое, как бы случайное, происхождение труда В. Томсена лишь ярче выдвигает его внутреннюю значительность, которая обеспечила ему полувековую и, конечно, еще этим не законченную жизнь в составе научной литературы. А полувековые судьбы этого труда были подлинной живой жизнью. Сохраняя не только основу своего построения, но и неизменную устойчивость, в целом всего изложения, труд Томсена прошел через ряд изданий на разных языках и при участии разных ученых сотрудников, непрерывно освежаемый учетом новейших явлений научной литературы. Последнее издание, каким располагаем, 1919 г., делает книгу Томсена вполне современной. Здесь приняты во внимание и новейшие материалы по руническим надписям, и новые лингвистические примечания к названиям днепровских порогов, например Х. Пипинга и Торре Торбьернссона, опубликованные в 1910—1912 гг., и этюды по «варяжскому вопросу» Кольмодина, Софуса Бугге, Ф. Ионссона, Ст. Рожнецкого и др., а по данным археологии труд Арне «la Suède et l'Orient» (1914 г.); словом, труд В. Томсена в последней его обработке поставлен в уровень научной литературы по затронутым в нем вопросам к 1919 г., притом без изменения его общего построения и основных выводов.

Такой редкой устойчивостью труд В. Томсена обязан исключительным достоинствам формы и содержания. По содержанию лекции Томсена подводили четкий итог затяжным спорам «норманнистов» с «антинорманнистами», устраняя односторонности и увлечения обоих направлений. Споры эти вращались в кругу толкования отдельных текстов — русских летописных, арабских, византийских и западных латинских, производства и объяснения отдельных слов и имен, запутывались в мозаике деталей, осложнялись влиянием вненаучных тенденций и искажались большой примесью дилетантизма в приемах работы. В. Томсен внимательно пересмотрел весь накопившийся материал свидетельств и суждений, под-

верг его объективной научной критике, проверил каждое звено аргументации, отделил пшеницу от плевел и свел результаты работы в стройное, строго продуманное целое. Получилось изложение сжатое и ясное, удачно сочетавшее догматическую конструкцию темы с критическим обоснованием каждой ее детали и аппаратом конкретных данных использованного материала. Получилась в форме трех лекций «образцовая монография», которую немецкий переводчик рекомендовал своим читателям словами Цицерона: «nihil est in historia pura et illustri brevitate dulcius».

Томсен использовал для своих лекций обширную литературу, особенно труды А. А. Куника, и отметил, что «бо́льшая часть тех доводов, какие он имеет сообщить, отнюдь не представляется новостью», но то, как он их проверил, уточнил, дополнил и использовал, дало ему полное основание определить свою задачу как «новое исследование» вопроса о происхождении Руси «по принципам современной науки». Дело не только в тех «некоторых (весьма многих) частностях», относительно которых он считал нужным установить «новые, более правильные воззрения», но и в целом построении, охватившем совокупность лингвистических, исторических и археологических данных в их взаимной связи.

Отвергая, конечно, «шаткие фантазии» антинорманнистов, В. Томсен, однако, признал, что их критика, особенно С. А. Гедеонова, «сочинение которого по крайней мере производит впечатление серьезной обдуманности и больших познаний», пролила новый свет на некоторые частности вопроса, и принял как существенный результат полемики отделение вопроса о «происхождении руси» от толкования термина «варяги». Для первого твердо устанавливается как единственно возможное объяснение самого слова русь, его происхождение в славянской речи из финского названия шведов Ruotsi, с указанием, что это может быть заимствование финнами первой части сложного скандинавского слова, а потому и в косвенном падеже; что же касается греческого Ῥῶς, В. Томсен признает невозможным возвести его непосредственно к славянскому русь и, не предполагая иного происхождения, допускает турецкое посредство: «вероятно — хозар». Особый интерес представляет томсеновский анализ значения слова «русь». Мнение, высказанное еще в 30-х и 40-х годах норвежскими историками Кейзером (1839 г.) и Мунхом (1849 г.), что русь была «с древних пор основавшимся в России норманским племенем», Томсен признал «совершенно не состоятельным», потому что невозможно найти такое племя, которое бы носило это имя или само себя так называло, однако приходит путем сопоставления ряда лингвистических, исторических и археологических данных к выводу, что искать родину «руси» — и слова и его объекта — в Швеции — нет основания, и что скандинавы, которых славяне называли, вслед за финнами, русью, это — «шведские переселенцы, первоначальную родину которых следует искать на прибрежье, лежащем прямо против Финского залива, но которые уже прожили известное время где-нибудь по соседству с финнами и славянами, вероятно, при Ладожском озере»;

возможно, что отсюда люди племени рос, упоминаемые в Бертинских анналах, и что к этой колонии относится сообщение Джейхани о россах, живущих на каком-то «острове». Эти догадки В. Томсена получили дальнейшее развитие в построениях А. А. Шахматова. Имя «русь» связано только с этой «восточной ветвью» норманнов, и ранее с ними знакомые «финны должны были иметь на своем языке имя для скандинавов ранее славян». Далее, вполне учитывая основное затруднение, какое противопоставлялось северному происхождению имени русь, именно то, что оно «принадлежит преимущественно племени, господствовавшему в Киеве», В. Томсен разрешает это затруднение пояснением, что в Новгороде, сменившем, по его предположению, Ладогу в значении центра скандинавского властвования, эта «власть пришельцев не получила надлежащей крепости», и с переходом на юг Олега «имя руси исчезло из Новгорода и приурочилось исключительно к Киеву», причем Новгород, оставленный руссами, «в течение некоторого времени занимал вполне независимое положение, будучи соперником Киева».

Термин «варяги» В. Томсен производит от шведского vaeringi, от слова, древнейшая форма которого vârâ (древненорманское vâr-ar, англо-саксонское waer) со значением взаимного договора союза верности и защиты; основное значение слова vaeringi — «человек, положение которого обеспечено по договору», «пользующийся защитой, состоящий под особым покровительством». Слово это, поясняет В. Томсен, «возникло у скандинавов, с давних пор поселившихся в России, т. е. у того самого племени, которое славяне звали русью», для обозначения тех выходцев из Скандинавии, которые переселялись в Россию, увлекаемые оживленными сношениями этих стран, в качестве купцов и воинов; термин, который В. Томсен сопоставляет с waergenga = advena англо-саксонских текстов, характеризовал их особое социально-политическое положение. В местной славянской речи этот термин получил более широкое значение и стал названием всех обитателей скандинавской метрополии по ту сторону «Варяжского» моря. Это расширенное значение, с одной стороны, подготовило летописное отождествление варягов и Руси, хотя первоначально эти термины не только не были синонимами, но противополагались друг другу, а с другой — объясняет то определенно этнографическое, относимое к скандинавам значение, какое имело слово варяг, варанк, на всем Востоке. В этом своем значении слово варяги относилось, по замечанию В. Томсена, не столько к скандинавам вообще, сколько, в особенности, к шведам. Путем тщательного обследования до сотни «варяжских» имен, встречаемых на Руси, В. Томсен находит возможным установить вывод, что наряду с группой имен общескандинавских выделяется значительная группа имен, употребительных исключительно в Швеции, притом таких, «которые приводят нас в совершенно определенные части Швеции», а именно, в Упланд (к северу от озера Мелар), Зёдерманланд (к югу от него) и Эстергётланд (к югу от Зёдерманланда). Так выясняется В. Томсеном местное восточноевропейское происхождение терминов русь и варяги, свя-

занное с особой исторической ролью скандинавского элемента в судьбах восточного славянства; это термины особого «скандинавско-русского наречия», как и слово гардр (Гардарики) в значении «город», какое оно получило, быть может, под влиянием русского город, град. «Несомненно, — так заключает В. Томсен свои изыскания, — что в нравах и обычаях общественной жизни и государственных учреждениях России долго оставались признаки скандинавского влияния», но определение его размеров и значения — «вопрос в высшей степени трудный», требующий «многих предварительных изысканий», к которым еще и не приступлено; легче, полагает В. Томсен, указать следы скандинавского влияния в русском языке, и приводит для примера 27 слов, которые могут быть отнесены «с большей или меньшей вероятностью» к заимствованиям «эпохи викингов».

Труд В. Томсена подвел такой итог, четко продуманный и строго обоснованный долгим и страстным спорам о «происхождении руси», что вопрос представился окончательно решенным. Принятое им объяснение слова русь остается непоколебленным. Попытки иного объяснения слова варяги (например, у Ф. А. Брауна [1] — по смыслу, у А. А. Шахматова [2] — по производству) только укрепили признание томсеновского толкования как основного. Его общая концепция роли скандинавского элемента в древнейшем периоде истории Восточной Европы и попытка конкретно наметить основные моменты ее возникновения, развития и упадка наметили устойчивую схему дальнейшей разработки. Новейший итог — в этюде Ф. А. Брауна «Варяги на Руси» (1925 г.) [3] — развертывает в более широком изображении эпохи ту же основную схему.

Конечно, те или иные конкретные черты построения подверглись и будут подвергаться пересмотру. Впрочем, разработка археологических данных, богатый свод которых находим в известном труде Арне [4], усложняет и конкретизирует представления о восточных отношениях Швеции в древние времена, но не вносит существенных изменений в схему Томсена: он имел основание ограничиться упоминанием о труде Арне в примечаниях к последнему изданию своего труда. То же можно сказать о результатах изучения путей восточной торговли и оставленных ею археологических следов на пространстве Восточноевропейской равнины, как они сведены в этюде П. Г. Любомирова о «Торговых связях древней Руси с Востоком VIII—XI вв.» [5] Обзор отражения терминов «русь» и «варяг» в топографической номенклатуре Новгородского края, выполнен-

---

[1] Слово «варяги» в «Русской энциклопедии», т. IV; ср. *Ф. А. Браун*, Варяги на Руси, журнал «Беседа» № 6—7, Берлин 1925, стр. 326—328.

[2] *А. А. Шахматов*, Древнейшие судьбы русского племени, изд. «Русского исторического журнала», Петроград 1919, стр. 47.

[3] Журнал «Беседа» № 6—7, Берлин 1925.

[4] T. J. Arne, La Suède et l'Orient, Archives d'études orientales, vol. 8 (1914, livr. 1).

[5] Ученые записки Государственного саратовского университета, т. I, вып. 3, 1923.

ный Экбломом [1], не дал конструктивно существенных результатов.

Значительно важнее для пересмотра схемы В. Томсена труды А. А. Шахматова. В этом же 1919 г., когда появилось последнее издание труда Томсена, вышла в свет небольшая, но насыщенная большим содержанием книга А. А. Шахматова: «Древнейшие судьбы русского племени». Иначе ориентированная, чем лекции В. Томсена, книга А. А. Шахматова смотрит на Восточную Европу не из скандинавского угла, а охватывает ее древнейшие судьбы в более широком общем построении. По существу, только три положения, выдвигаемые А. А. Шахматовым, касаются вопросов, разработанных у В. Томсена: замечания о происхождении и значении слов «варяги» и «русь» и локализация первоначального «русского» государства. А. А. Шахматов отверг обычное толкование слова «варяги», опираясь на «быстрое исчезновение имени варягов на севере» и его значение—в форме Vaeringiar оно означает (в древнеисландских памятниках) только дружину на службе в Византии, и предположил в этом слове переделку греческого Βαραγγοι, а это слово признал «в результате специального изучения», смысл которого остается, к сожалению, вне изложения, за переделку имени франков, «повидимому в устах аваров». Это неожиданное заключение, лишенное аргументации за безвременной кончиной А. А. Шахматова, остается непонятным и не поколебало значения пояснений В. Томсена. Происхождение имени «русь» Шахматов признает «темным»; затруднение в его истолковании создается, особенно, греческой формой Ῥῶς, которому соответствуют эстонское Rôts, водское Rôtsi, а также невыясненностью происхождения форм с конечным ts (финское), ds (старошведское) и z (древненемецкое); решения вопроса об этимологии имени русь надо «искать в скандинавском языке, — заключает А. А. Шахматов, —«допуская, что в русский язык оно могло попасть через посредство финнов». Эти замечания А. А. Шахматова дали, как увидим, толчок к дальнейшим разысканиям. Наконец, в вопросе о месте первоначального укрепленного поселения скандинавов, утвердивших свое господство над восточными славянами, А. А. Шахматов принял толкование Вестбергом [2] известия, восходящего к географическому труду араба Джейхани, о руси, находящейся на «острове», в том смысле, что «русы образовывали на славянском севере военно-организованную, ведшую торговлю разбойническую колонию». Но, в отличие от В. Томсена, предполагавшего центр такой колонии в Ладоге, А. А. Шахматов наметил, основываясь на топографической номенклатуре, Старую Руссу, как историческую предшественницу Новгорода. Этот вывод А. А. Шахматова получил затем дальнейшее развитие в этюде С. Ф. Платонова, «Русь» [3], уточнившем представле-

---

[1] R. Ekblom, Rus et Vareg dans les noms des lieux de la région de Novgorod, Archives d'études orientales, vol. 11 (1915, livr. 1).

[2] F. Westberg, Beiträge zur Klärung orientalischer Quellen über Osteuropa, ИАН, 5 серия, т. XI.

[3] *С. Ф. Платонов*, Русь, журнал «Дела и дни», 1920 г., кн. I.

ние о «варяжском центре на южном берегу Ильменя» указанием, что название «Острова» и «Руси» относилось к целой области на юг от Ильмень-озера. Далее А. А. Шахматов, резюмируя выводы своих предыдущих изысканий по варяжскому вопросу [1], уясняет историческую обстановку прокладки днепровского пути «из варяг в греки» в IX в. движением скандинавов на юг к Черноморью и образования Русского государства в результате борьбы киевского юга и новгородского севера.

Норманнистическая теория происхождения Русского государства вошла прочно в инвентарь научной русской истории. Но охватила ли она своими построениями и разъяснениями весь материал данных, подлежащих учету и обобщению для цельной характеристики древнего периода русской истории, тех условий и отношений, в каких слагалась Киевская Русь? Главное препятствие к утвердительному ответу на этот вопрос составляют многочисленные указания на крайнюю сложность истории термина «русь», в различных его формах: русь и рос, в широком и весьма древнем распространении его на юге, в Черноморском бассейне, и невозможность охватить все эти данные выводом термина из какого-либо скандинавского слова, усвоенного восточными славянами при посредстве финского Ruotsi.

В основе всех колебаний и полемик, через которые проходил пресловутый вопрос «о происхождении руси», лежит эта антиномия северного и южного происхождения самого термина. Пользуясь — с достойной полного признания осторожностью — показаниями «Повести временных лет» по «варяжскому вопросу», Томсен видел в этой летописи отражение предания, жившего в киевской среде, предания, которое не могло «в течение каких-нибудь двухсот лет» оказаться до такой степени искаженным, чтобы «даже древнейшие летописцы находились в полном заблуждении». Но глубокий анализ древнейших летописных сводов, выполненный А. А. Шахматовым, показал с полной несомненностью, как много в них книжнической конструкции, домыслов и подчинения изложения определенным и определимым предпосылкам. В данном случае весьма показательно, что уже древнейшие летописные тексты не чужды колебания в вопросе о «происхождении руси»: в них находим рядом и признание руси варяжским племенем и утверждение, что варяги и словене, «прозвавшася русью», когда водворились с Олегом в Киеве. И все летописные тексты, говорящие о руси, о варягах, об их взаимоотношении и отношении к днепровскому славянству, полны следов редакционной работы, тщетно пытавшейся сгладить явные противоречия «предания».

Стародавняя антиномия южного или северного происхождения термина «русь» получила новую остроту в последние годы, когда вопрос о древности и распространении этого имени в Черноморском бассейне далеко вышел за пределы проблемы происхождения «днеп-

---

[1] *А. А. Шахматов*, Сказание о призвании варягов, ИОРЯС, т. IX (1904), кн. 4; Разыскания о древнейших русских летописных сводах, гл. XIII, 1908 г.; «Повесть временных лет», 1916, т. I.

ровской Руси» благодаря трудам Н. Я. Марра[1]. В этих трудах указаны обильные и бесспорные факты, свидетельствующие о широкой распространенности во времена для нас доисторические и в области не только Черноморья, но и кавказского мира и всего Средиземноморья племенных названий с коренным рос (в разных диалектических оформлениях: рус, руш, рош, рас, также лош; с исконным — «тотемическим»— значением: конь, Ross, лош-адь). Но дело не только в имени, издавна знакомом черноморскому югу. Ряд изучений в области южнорусских древностей выясняет глубокие связи ранней истории Киевской Руси с вековой экономической, этногенической и социально-политической эволюцией Черноморья. Н. Я. Марр уяснил значительность этих связей древней Киевщины с вековым прошлым черноморского юга указаниями на дославянское, идущее еще из «скифской» эпохи происхождение некоторых топографических имен в том числе и самого Киева и терминов социального быта; им же установлена связь летописного предания об основании Киева с древнейшими преданиями Закавказья[2].

Всеми этими достижениями научно-исследовательской работы старая антиномия северной и южной Руси вышла из узких рамок комментирования отдельных летописных текстов и толкования отдельных слов. Образование Русского государства на Днепре не только вопрос «о происхождении руси», или «варяжский вопрос», а крупнейшая проблема объединения новгородского севера и киевского юга как исходного момента в этом вековом процессе объединения Восточноевропейской равнины в одно народнохозяйственное и государственное целое. А для конкретной истории этого объединения севера и юга древней Руси крупное значение имеет весь вопрос о руси и варягах. Новейший опыт пересмотра этого последнего вопроса, результаты которого опубликованы только частично, принадлежит германисту В. А. Бриму. В. А. Брим[3] с одной стороны, доводит до определенного решения вопрос о скандинавском происхождении имени «русь», а с другой — предлагает новое разрешение антиномии этого происхождения и данных об исконном распространении того же имени на юге. Признавая производство слова Русь от финского Ruotsi «лингвистически безупречным», В. А. Брим находит то шведское слово, которое дало в финском произношении это Ruotsi, в термине, означавшем у скандинавов дружину, что представляет особый интерес для историка, так как вкладывает особый, уже не терминологический, а социально-политический смысл

---

[1] *Н. Я. Марр*, К вопросу о яфетидизмах и германских языках. Яфет. сб. I, 1922; Термины из абхазо-русских этнических связей, Ленинград 1924; К вопросу о происхождении племенных названий: «этруски» и «пеласги», ЗВО, т. XXV; Из переживаний доисторического населения Европы, именных или классовых, в русской речи и топонимике, Чебоксары 1926; Об яфетической теории, «Новый Восток», кн. 5 и др.

[2] *Н. Я. Марр*, Книжная легенда об основании Киева на Руси и Куара в Армении, «Известия Российской Академии истории материальной культуры», т. III, 1924.

[3] *В. А. Брим*, Происхождение термина «Русь», сб. «Россия и Запад» под ред. А. И. Заозерского, II, «Academia».

в смену терминов: рус — варяги. Но греческое Ῥῶς, арабское rus В. А. Брим признает термином иного происхождения, не связанным с северной Русью, а отражением древнего, столь распространенного в южном мире племенного имени. При встрече этих терминов на волжском и днепровском путях «случайное звуковое сходство сделало их слияние возможным». Появление на юге северной скандинавской руси «оживило на юге старую прочную традицию вокруг термина русь»: вероятно, поясняет В. А. Брим, этот термин «держался там и как народное имя, покрывая собой последовательно сменявшие друг друга мелкие народности у Черноморья». Это население Причерноморья византийцы называли и в X в. книжным словом: «тавроскифы», причем Лев Диакон поясняет: «рос есть простонародное выражение, означающее народ, который по настоящему должен именоваться «тавроскифы».

Так пятидесятилетие первого издания труда В. Томсена совпало с новым оживлением интереса к его теме на новой и более широкой основе. Труд этот носит все черты крупных научных работ, завершающих в четком синтезе целый период в развитии своего предмета и тем самым открывающих свободный выход к дальнейшей его разработке.

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Гос. Историч. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвент. №
" " 193 г.

Редактор
Н. РУБИНШТЕЙН

Технический редактор
П. КОШУТИНА

Художник
К. ЕГОРОВ

Корректор
А. НОВАКОВИЧ

Сдано в набор 26/XI 1937 г. Подписано в печать 25/II 1938 г. Формат $60\times92^1/_{16}$. Печ. л. 18. Уч.-авт. л. 20,892. Огиз № 2052. Заказ № 4589. Тираж 10.000 экз. Серия: Монограф. Цена книги 4 р. 20 к. Цена переплета 1 р. 25 к. Уполномоченный Главлита Б-13734.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

Дефекты книги:
Пометки чернилами стр. - 13, 45.
Ям.
25/XII-38г.